



«ВЕРТИКАЛЬ. XXI век»



Галина Таланова

ГОЛУБОЙ ОКЕАН



«ВЕРТИКАЛЬ. XXI век»
Нижний Новгород
2010

Галина Таланова

Т16 Голубой океан. — Нижний Новгород: «Вертикаль. XXI век», 2010. — 256 с.

Галина Таланова (Галина Бочкова) – автор пяти поэтических сборников: «Годовые кольца» (Н. Новгород, 1996), «Ожидание чуда» (Н. Новгород, 2001), «Подобие дома» (Н. Новгород, 2006), «Жизнь щедра» (Н. Новгород, 2007), «Душа любви открыта» (Н. Новгород, 2009).

«Голубой океан» – первая книга прозы поэтессы.

ISBN 5-85480-103-5

ББК 84 (2Рос+Рос)6

ISBN 5-85480-103-5

© Таланова Г. Б., текст, 2010
© АНО «Вертикаль. XXI век», 2010

От автора

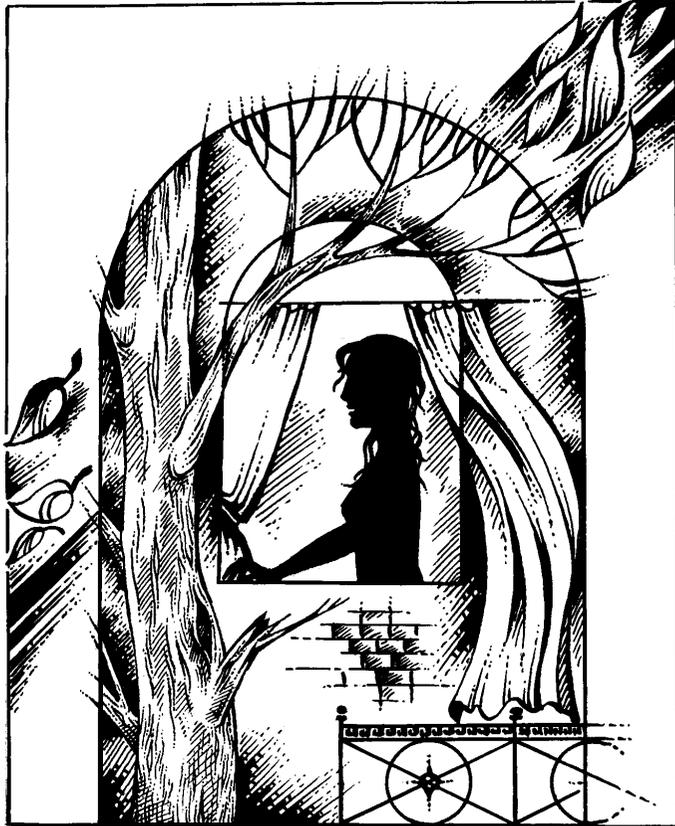
Полоса чёрная, полоса светлая... Свет и тени, обгоняя друг друга, создают свой постоянно меняющийся причудливый узор на стене, о содержании которого можно только догадываться по размытому тёмному отпечатку на шершавой стене комнаты, купающейся в лунном свете, или на занавеске, просвечиваемой изнутри мягким оранжевым светом, просачивающимся сквозь полупрозрачный абажур. Так было раньше. Так бывает и теперь. Только нынче в нашей жизни появились новые стены, на которых мы оставляем свои тени или дыхание, а то и вовсе чёткими правильными буквами пишем послания праздно гуляющим по Голубому Океану Интернета. Бросаем незапечатанные бутылки с электронным папирусом в тайной надежде на то, что кто-нибудь из бороздящих Океан их выловит. Либо тщетно пытаемся по обрывочным фразам и фотографиям прочесть чужую жизнь в поисках родной души. Это – книга об одиночестве: одиночестве вдвоём, одиночестве в толпе, кидающем нас в дальние заплывы по Голубому Океану. Но возвращенье на грешный берег всегда неизбежно. Это книга о невозможности любить, потому что на любовь просто не хватает сил — мы изматываемся в погоне за хлебом насущным в своём постоянном стремлении соответствовать образу успешного героя нынешнего времени, приспособившемуся цепкими корнями выживать

на любом грунте, безводном и густо обрастающем колючками...

Жить страшно!.. Постоянно сталкиваясь на земле с неразрешимыми проблемами, мы снова ищем защиту в безбрежном пространстве «отзывчивого» и убаюкивающего Океана.



Тени на стене



1

Светлана вышла из дома и, обмирая от удивления, увидела, что серая обшарпанная железобетонная стена, тянущаяся вдоль улицы, за пределами которой уже не первый год шло строительство какого-то нового, по-видимому, офисного дома, стена, чью серость давно перестали замечать, оказалась вся расписанной за три дня, как городецкая матрёшка, абстрактными картинками, смысл их очень хотелось угадывать. Больше всего её поразило то, что картины были весьма профессиональны. По-видимому, их рисовали либо студенты художественного училища, либо, по меньшей мере, начинающие оформители рекламных щитов. Её настолько ошеломило это открывшееся зрелище, что ей захотелось постоять около стены и подумать над тем, что хотели сказать эти столь разные по манере исполнения и своему восприятию художники. Некоторые из художеств были как ребусы, разгадать их было невозможно. Но их можно было истолковывать и так и сяк, вызывая из памяти, словно призрачных духов, давно отхлынувшие воспоминания, рождающие причудливые ассоциации... В других картинах было всё ясно и понятно, как в детском рисунке, – мама в красном платье во всю альбомную страницу, да серый папа размером с котёнка. Иным и вовсе суждено было остаться неразгаданными до конца, а поэтому к ним хотелось вернуться.

Светлана потом ещё долго ходила мимо этой стены, открывая каждый раз для себя что-то новое... Забавно было то, что на этой стене совсем не было движения теней от спешащих мимо прохожих. Вернее, они были, если солнце светило прямо напротив стены, но, дойдя до неё, не преломлялись ею, как обычно, а словно растворялись в том причудливом рисунке, дополняя его своим движением... И будто не тени это были уже вовсе, а сама жизнь, окрашенная во все краски радуги...

Затем Светлана уехала на неделю в командировку, а когда вернулась, то увидела вместо стены серый гладкий только что закатанный асфальт с аккуратными белыми тротуарными бордюриками, которые было заказано пересекать автомашинам, и новый огромный дом, похожий на корабль, плывущий по суше в никуда. У неё было такое чувство, что будто беззвучно обрушилась, как на экране, целая стена её жизни – как в том сентябре, когда, как карточный домик, сложился в руины гигантский небоскрёб, всколыхнувший всю непоколебимую Америку, и когда каждый думал о том, что никто ни от чего в этой жизни не застрахован. Иногда происходит и такое, чего не может быть никогда.

А после Светлана случайно встретила художника, руководившего уличной росписью безжизненного пространства. Росписи всё равно было суждено исчезнуть, как мотылька-однодневке. Это оказался её одноклассник. Светлана сначала восприняла его как ту ровную, затёртую, в выбоинах стену, мимо которой ежедневно ходишь и которую никогда не замечаешь... Но однажды его кивок вдруг всё переменял, будто отодвинул тяжёлые шторы, пропахшие пылью, – и открыл окно, впуская свежий весенний воздух, ещё пьяняще пахнувший только что сошедшим снегом. Лёгкий такой кивок. Её успокаивали, как ребёнка: «Ну что ты, не плачь. Ну, звонила мне женщина, которая долго жила в моём сердце. И в жизни жила. Теперь не живёт. Почти. Во всяком случае, мне хочется в это верить».

А интерес – это уже путь, путь к новой любви, когда в прошлом всё ясно, как в старом пожелтевшем чертеже, который чертили отточенным блестящим грифелем; но

если грифель был очень мягкий, его можно было нечаянно растереть рукавом – и тогда на чертеже оставался серый пятнами налёт, а потом растирали мякиш белого хлеба и чистили чертёж крошками этого хлеба, чтобы было ещё чище и яснее. Теперь чертежи не чистят. Их делают на компьютере, а затем распечатывают в типографии. Но всё равно с самого начала неясно: будет ли эта чёткая конструкция долго жить. Рушатся даже мосты, зимние аквапарки и многоэтажки. Иногда.

Светлана подумала, что может привязаться к этому человеку. Полюбить даже. Впустить в сердце, хотя давно знала, что мужчин туда не нужно пускать никогда.

Потом она минуту с неотчётливым страхом рассматривала себя в зеркале: вот и всё. Молодость миновала. Ей долго не давали её лет. И сейчас не дают. Но... Вот уже и гусиные лапки у глаз пробегают не только тогда, когда она смеётся; и кожа пористая и жёлтая, как пемза; и ощущение, будто весь день простояла на морозном солнечном ветре, хотя холод, он – только внутри, ветер – из будущего. Она давно одна. Шесть лет уже. И, пожалуй, ей уже никого и не надо. Во всём есть своя прелесть. Одиночество – это время подумать. Впрочем, о будущем лучше не думать: там пустынно и холодно, как в ноябре в дачном посёлке. Ни души. Сырость, слякоть, вырубленное электричество, вывернутые пробки, заткнутый корявой палкой водопровод, скребущиеся на душе мыши и мир без света и теней. Без теней, так как солнце, мягко катясь по укороченной дуге, незаметно ушло за горизонт до следующего лета...

Она не завела детей. Но ведь и у некоторых, у кого они есть, их – как и нет. Только это ещё больше. Когда цепляются за детей, как за якорь, а дети – не якорь, им плыть хочется, и они рвут цепи. Ау... Кричи, как в лесу... не дозвёшься. Только собственное эхо и услышишь, свой искажённый и усиленный, как в рупор, голос.

«Я меньше всего одинок, когда я в одиночестве», – сказал Рильке. Так и она. Жизнь с ощущением одиночества в толпе, в набитой телами маршрутке в час пик, когда все тесно соприкасаются, но никак не пересекаются, и поскорей хочется вырваться на свободу...

Это одиночество было и когда Света была молодой, любимой, казавшейся всем счастливой и летающей на крыльях. Её и тогда не слышали. Как тетерева, токующие на току, жили они с мужем. Слышали лишь себя самих. И жили с чувством, что в любой миг можно всё переписать и начать сначала. Это ощущение непрочности и ненадёжности конструкции было все двенадцать лет её брака. Всегда казалось, что вот сейчас сорвётся резьба какого-нибудь маленького незаметного винтика от постоянного притирания друг к другу, винтик этот вылетит с лёгким стуком об пол – как сигнал, догадка: услышьте, оглянитесь, но нет, куда там – закатится в какую-нибудь щель – не найти. И рухнет вся годами укрепляемая и всё равно расшатывающаяся конструкция. Но конструкция не падала, скрежетала несмазанными шестерёнками и заржавевшими деталями, скрипела разошедшимися половицами, звенела треснувшим стеклом, хлопала листьями кровельного железа, которые собирался снести ветер, но стояла, не падала.

А упала, когда и не ждали. И совсем в другую сторону.

Эта была дивная весна. Дивная, потому что лето началось в марте. Настоящее лето, когда снег почти сошёл за трое суток. Деревья стояли беззащитно голые и совсем не готовые к летнему припекающему солнцу. Возвращения перелётных птиц ещё не ожидали. Все катившиеся из глаз слёзы высохли, а непролитые – спрятались до поры. По уже сухому асфальту весело бежали проворные ручьи. Люди перепрыгивали, перескакивали, перепархивали через них на вновь образовавшиеся сухие островки. Это были весьма забавные пешеходы, не успевшие снять ещё своих высоких, доходящих почти до колен кожаных сапог, но уже нарядившиеся в пёстрые джемпера и кофты. И от этого своего странного вида людям было весело. Они блаженно улыбались, подставляя лицо этим случайным, щедрым по-летнему лучам, хотя и хорошо понимали, что до лета ещё так далеко, что зима может внезапно вернуться... Но ход жизни к летнему теплу набирал скорость. Назад если и повернёшь, то ненадолго – возвращение в тепло впереди. Эти солнечные лучи были – как тепло любимых ладо-

ней на лице, на лбу: «Нет температуры? Голова не болит?» Эти ладони изучали и запоминали твоё лицо.

Эта весна была изумительная ещё и потому, что они собрались в Сочи. Они никуда не ездили несколько лет, что делали раньше до перестройки ежегодно, а тут мужу предложили на работе путёвки на пару недель в пансионат, и они заняли денег – и решились.

Та неделя была как сказка. Нет, они снова не видели и не слышали друг друга. Но неделю било в глаза яркое солнце; у ног равнодушно плескалось море, холодное и заораживающее своей бесконечностью; на деревьях шелестели не только зелёные, но уже и запылённые листья, а аллеи источали горьковато-нежный аромат мимозы. Шёл дурманящий запах от какого-то огромного куста, усыпанного розовыми цветами, слегка напоминающими наш шиповник...

Им казалось, что будто вернулась юность, что они снова молоды и глупы, полны иллюзий о «прекрасном далёко» впереди и тешат себя надеждами, которым потом будет суждено медленно растаять, как следу от реактивного самолёта в пронзительной синеве. Будто и не было этих серых, похожих на доски в дачном заборе, лет... Снова, как в забытом своём прошлом, они ходили по полупустынной набережной, взявшись, как подростки, за руки, и можно было никуда не торопиться, процеживать минуты, будто густой ликёр, катая его во рту, – и не спешить проглотить. Можно было просто сидеть, обнявшись, на лавочке, притулившейся на набережной, счастливо жмуриться от солнечного света, бьющего тебе, будто фары встречной машины, в глаза, и смотреть, как катается море по отшлифованной им гальке. Ощущение чудесной нереальности было настолько сильным, что хотелось потрясти головой и проснуться от наркотического рваного сна с забытьём. Она даже сказала, грустно смеясь, мужу: «Ущипни меня. А то я сладко сплю и боюсь проспать станцию, на которой выходить».

С этим ощущением праздника они вернулись в Москву, в которой снова началась зима. Сыпала ледяная крупа, жёсткая, как дробинки града; сшибающий с ног ветер сквозь лёгкие плащи пробирал до костей; деревенели ноги в лёгких ботинках, – и уже почти верилось, что сказка приснилась.

Ещё оставались дни от отпуска, и три дня потом Светлана просто отсыпалась дома от этого волшебства. Муж уже пошёл на работу. На четвёртый день она услышала в полдень поворот ключа в замке – и вздрогнула от испуга: слишком рано для прихода супруга. Но это был он. Он почувствовал себя плохо и пришёл: давление, наверное. Давление было повышенное, но ведь так часто было. Лучше не стало ни к вечеру, ни к утру. Муж бледнел, его тошнило, кружилась голова. Она вызвала «скорую», приехали, сделали укол – и уехали, сказав, что ничего страшного. В жизни вообще всё не очень страшно. Всё проходит. Человек привыкает ко всему, смиряется, притупляется любая боль. Но мужу становилось всё хуже. Она позвонила его другу-врачу. Друг к ним заглянул, посмотрел мужа, тихо лежащего с лицом, очень похожим на гипсовую маску, снова вызвал «скорую» – и мужа увезли. Приятель говорил очень-очень спокойно, настораживающе спокойно, что всё пустяки, но, возможно, открылось внутреннее кровотечение. Надо сделать анализы.

Потом товарищ позвонил и срывающимся голосом сказал, что мужа оперируют, так как кровотечение подтвердилось.

Затем Светлана сидела в реанимации и держала очнувшегося от наркоза мужа за ледяную, неживую ладонь. В реанимацию не пускают, но её пустил старый жалостливый санитар – и она схватила мужа, как ребёнка, за руку, и муж сказал: «Не отпускай: пока ты держишь, я держусь за жизнь». Но вскоре пришёл врач и, повысив голос, произнёс: «Что Вы здесь делаете? Здесь находиться нельзя». И Света ушла. Когда она шла по коридору, ей попался навстречу очень юный санитар, совсем ещё мальчик, с каталкой, накрытой простынёй. Потом ей всё казалось, что если бы она не уступила врачу, не ушла тогда из реанимации, то всё было бы иначе. Сказка снова вернулась бы. Она очнулась бы ото сна в светлой и солнечной комнате, где солнце проридается сквозь фигурные прорезы в занавесках. Впереди был выходной – и можно было никуда не спешить.

Но мелодично зазвонил телефон – и сглатывающий хриплый мужской голос выговорил: «Не плачь. Не кори

себя, сделать ничего было нельзя. Он прожил бы ещё от силы месяц. Зачем вам был нужен этот месяц? Для долгого и трудного прощания? А так он перелетел из одной сказки в другую, не успев понять, что произошло. Совершенно здоровый, ещё молодой, сорокалетний человек («До сорока все мальчики, все дети...» – Горбовский), полный сил и надежд». Она тогда и не плакала, она просто не понимала, что произошло. Остаток какое-то, от таблеток, наверное, от тех, что в неё впихнули.

2

Потянулись дни без запаха, цвета и вкуса. Она больше не была тетеревом на току. Себя она тоже слышать перестала. Все желания исчезли. Она просто тупо переползала изо дня в день.

Вдруг оказалось, что её зарплаты хватает только на оплату жилья и телефона. Но в квартире текли краны, издавая нудный звук капли о жёсть, наводящий тоску (в Древней Греции пытка была такая); ломались и весело журчали круглые сутки сливные бачки; под трубами скапливались огромные лужи конденсата и росла мохнатой порослью сизая плесень; засорялась канализация – и вода из раковины на кухне шла в ванну, запуская в неё мелких красных червячков (кажется, в детстве она такими кормила золотых рыбок в аквариуме); лопались сифоны; переставала зажигаться колонка – и приходилось поливаться, как на садовом участке, черпая воду алюминиевой кружкой из кастрюльки и покрываясь гусиной кожей; розетки и вилки искрились, как бенгальские огни; выключатели щёлкали вхолостую; холодильник исправно морозил, но закрывался только приставленным стулом; стиральная машина издавала жуткий, выворачивающий всю душу скрежет и отказывалась прокручивать в барабане бельё; на сапогах ломалась молния и отрывался каблук; очки падали на кафельный пол и бились; зонтик не открывался, а если приложить очень большие усилия, раскидывал свой купол, одним боком вывернувшись наизнанку, а

другим, – болтаясь мокрой тряпочкой, наброшенной на стальной каркас, – напоминал о том, что вот так однажды взяла и переломилась пополам её отутюженная жизнь.

Она внезапно поняла, что наличие свободного времени – это опасность позволить тоске зачастить в гости. Слезы подступали внезапно, остановить их было невозможно, она захлёбывалась от сожаления о своей провороненной молодости и бессилия что-либо исправить. После очень жгло глаза и всё становилось безразлично. Чем больше было свободного времени, тем чаще она цепенела и часами сидела, уставившись невидящим взглядом в пространство.

Если она и была ещё к чему-то небезразлична, то это к своей работе. И сейчас это, пожалуй, было единственной отдушиной в её жизни. Работа не занимала много времени в её жизни, Светлане сочувствовали, и она могла даже иногда не появляться в институте по нескольку дней. Зато на службе было общение, здесь она забывала то, что помнить не хотелось, но что всё время стояло перед её глазами. И всё же зарплаты «неостепенённого» преподавателя ей теперь явно не хватало даже на необходимое.

Так она оказалась на заводе. Теперь она вставала в половине шестого утра, заводя по несколько будильников, чтобы не проспать: сначала звенел один, который стоял на тумбочке у кровати, она его спокойно стучала по шишке на макушке и продолжала спать дальше; затем трезвонил другой, который расположился на кухне: тот захлёбывался от визга, пока не начинал хрипеть и «кашлять»; затем – электронный, тот, что воцарился на письменном столе: этот издавал кукушечный крик – его мог остановить только её бросок с кровати или разрядившаяся батарейка. То, что батарейка может сесть, поднимало Светлану с постели, из заволакивающей мути сна, где было так уютно и мёртвые были живыми.

Неторопливо, в полусне одевшись, а потом наспех выпив чаю, заглывая кусок чёрствой булки, Светлана вдруг обнаруживала, что надо бежать, так как опаздывает на служебный автобус. Опоздание на служебный автобус сулило недопустимое опоздание на работу на два часа. Тут ей приходила в голову мысль о том, что это хорошо, что у неё нет ма-

леньких детей, которых надо тащить ещё и в детский сад, когда они вдруг захотели какать. Она резко захлопывала входную дверь, запирала сначала внутреннюю деревянную, затем – железную, внешнюю. Внешняя дверь почему-то всё время проезжалась по её левому сапогу, от чего тот был весь исцарапан. Вприпрыжку она бежала по лестнице, на ходу застёгивая пальто, выбрасывала пакет с мусором в помойку, втискивалась в маршрутку, подталкивая руками влезющих туда ещё не проснувшихся людей. И начинала задыхаться от нехватки воздуха. Упасть тут – не упадёшь, но от выхлопных газов и запаха бензина может начать тошнить. Только бы не это! Потом она скакала на перекрёстке, выглядывая ПАЗик с зелёной полоской на боку и жёлтыми занавесочками на окнах, и энергично махала руками, выловив его в уносящемся потоке транспорта. Только бы заметил её и не проехал мимо. Иногда не замечал – и тогда приходилось добираться с двумя пересадками на городском транспорте, а потом полчаса ещё идти по бездорожью среди новостроек и вырытых котлованов, обмотав сапоги полиэтиленовыми пакетами, а они быстро становились свинцовыми от налипшей на них глины. Ноги скользили и разъезжались. Как при Сталине, за опоздания на Колыму не ссылали, но депремировали, и пропущенные часы приходилось отрабатывать.

Она работала в микроцепочке конвейера по закупорке бутылочек с лекарствами. Высшее образование здесь не требовалось, но платили сносно, так как работа была сделанная: сколько часов проработаешь, столько и заплатят. Флакончики надо было вовремя поставить в автомат, надеть на них крышку и вовремя успеть снять. Автомат зажёвывал пузырьки и перекашивал колпачки, потом эти изуродованные и смятые флаконы надо было раскручивать и выкидывать. Иногда автомат принимался стрелять крышками, и она очень боялась, что крышка ударит по очкам. Завинченные флакончики приходилось докручивать руками, иначе растворы вытекали при транспортировке. От завёртывания пузырьков руками пальцы и ладони стирались в кровь. Чтобы этого не происходило, на ладони товарки наклеивали лейкопластырь, но это помогало слабо. От стояния на конвейере по двенадцать часов у Светланы

стали отекают и болят ноги. Желание вытянуть ноги и положить их на подушку выше головы не проходило и к утру. Ещё приходилось таскать двадцатилитровые ёмкости и ящики с пузырьками. Правда, не с этажа на этаж, а только по длинному коридору. Иногда от мелькания диска у автомата, стояния на ногах и духоты у неё начинало резко темнеть в глазах и кружилась голова так, что стены и потолок медленно менялись местами, а потом возвращались на место, чтобы продолжить ход маятника... Тогда она глотала таблетку, находящуюся всегда в кармане халата. Очень мешала тугая матерчатая шапочка на голове, волосы были мокрыми от пота и становились за день соляными. Шапочка обручем сжимала голову, и часто от этого и от стука закупорочного устройства возникала мигрень. Мигрень таблеткой не снималась.

Жизнь теперь была такой же конвейер труда и быта. Свободное время исчезло. Она приходила домой – и не в силах была разогреть себе еду или пойти в душ. Она садилась в кресло, осторожно помещала гудевшие свинцовые ноги на журнальный столик и сидела, уставившись в пространство. Без мыслей, без желаний, без сожалений. Некий вспомогательный механизм к конвейеру. Сначала она перестала смотреть телевизор, а потом прекратила читать. Смотреть телевизор – не было ни времени, ни сил. Читать – желание было. Иногда она даже брала в руки книгу, но, пробежав пару абзацев, проваливалась в небытие. Среди ночи просыпалась, пугалась, что проспала, но, посмотрев на часы, потихоньку приходила в себя и, обнаружив на часах этак половину пятого утра, шла в душ смывать с себя грязь после работы перед новым походом на неё.

В сущности, она даже не была недовольна такой жизнью. Втянулась. Жизнь текла и текла. И зачем вдруг всплыл этот мальчик из её детства, у которого давно была другая, отличная от её конвейера жизнь? Мальчик тот давно утонул в круговерти жизни, лежал на дне её памяти с камнем на шее. Он не мог всплыть даже мёртвым. В её жизни не было места этому мальчику, жизнь была заполнена до предела всякой шелухой, и вакуума в ней не было.

Они случайно столкнулись в городской маршрутке, набитой, как банка кильками. Светлана и была, как килька дохлая. В полусне передавала тяжёлые монетки, опасаясь, что они выскользнут из затёкших ладоней. Ронять можно только своё, не чужое. В её руку легла очередная монетка, и кто-то вдруг сжал её пальцы в кулак тяжёлой большой ладонью. Она возмущённо вскинула свои покрасневшие глаза – и увидела ещё молодое лицо, сквозь папье-маше которого проступали когда-то промелькнувшие детские черты мальчика из параллельного класса.

«...Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя...». Эта была песня её детства, и они пели её, гуляя на выпускном вечере по откосу. Душно пахло сладким жасмином и скошенной травой. Вся жизнь была впереди, полная иллюзий и несбывшихся надежд. «Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб друзей мы своих не теряли, постарайся себя не терять...» Первый тайм ещё сыгран не был, и себя ещё они даже не нашли. Это потом они начнут терять. А тогда они просто пели – чужую, взрослую песню, бередящую их душу тем, что взрослая жизнь – не за горами...

Она не видела этого мальчика долгие-долгие годы. Она даже ходила на встречу выпускников и на юбилей школы, но он не пришёл. Он сгинул, исчез, говорили, что даже за пределами «закромов нашей Родины». Его имя входило в справочник «Кто есть кто?» как члена Союза художников России, но дозвониться до него не смог никто. А она дозвонилась, но мальчик этот не пришёл. Перерос их всех, наверное. Оглядываться на своё детство ему не хотелось. Она никому не сказала, что дозвонилась до него. Даже его лучшему другу, который уже был доктором наук и ждал профессорского звания. Все обсуждали, куда он пропал, а она молчала. Она рано ушла с этой встречи, так как оказалось, что все они давно чужие люди и говорят на разных языках. Впрочем, возможно, просто никто не понимал её «птичьего языка». Все трубно, радостно ржали и весело били ко-

пытами. Одна из самых примерных её одноклассниц пила «из горла» водку, сбив с неё крышку о сиденье в автобусе, и дико смеялась. И все пошли за ней гулять на откос, всё так же одурманивающе пахнувший в это время жасмином и травой, подстриженной наподобие ковра газонкосилками. Она долго плакала после этой встречи – так же сладко, как и после выпускного вечера. О том, что молодость миновала, ничего из намечтанного ею уже никогда не сбудется, синицу из рук выпустила, а журавли в наше время не летают. Она и после выпускного плакала от предчувствия того, что многое не сбудется и станет перекручивать горло спазмом, а в сердце втыкать заржавевшие иголки.

«Светик, привет!» – маска вдруг ожила. И она почему-то испугалась. Испугалась, что уже не молода, не верит в «прекрасное далёко» впереди, испугалась новых разочарований и потерь. Нельзя совместить солнце, что было в прошлом, и луну. Бывают, конечно, дни солнечного и лунного затмений. Можно взять закопчённое стекло и увидеть, как луна заслоняет солнце. Но ведь это давно в прошлом. Теперь же предчувствие страха потерь оказалось сильнее жажды любви и самой любви. И разве может солнце теперь заслонить луну – холодную, безжизненную, льющую бесстрастный свет? Солнце может только заслонить этот свет своей тенью, но не своим светом. Просто набежит тень, как набегаёт на лицо, и только по тени можно догадаться, что промелькнула печаль. Время света миновало. Молодость улетела, сгинула – и понимание это пришло не в реанимации, когда она сидела и держала мужа за руку. Гораздо раньше. Хотя ей и сейчас иногда кажется, что всё ещё впереди. Смешно. Возраст – это груз несбывшегося и несбыточного. Возраст – это то, что все уже знают, а ты ещё не догадываешься. Но её узнали. И это через столько лет...

...И всё-таки жизнь удивительна! Когда казалось, что ждать в этой жизни уже нечего – и остаётся только кукситься на выгоревшем лысом берегу, где обсыхает всякий сор, выброшенный на сушу, память вдруг накатила неожиданной волной и смысла в море. Как тайфун. Как отлив. Как цунами. И оказалось, что она не тонет, хоть и чуть не захлебнулась несколько раз солёной водой...

В жизнь снова вернулся солнечный свет, хоть и был он рассеянным, будто сквозь дым горящих лесов лился. Она стала ждать телефонных звонков. Говорили почти всегда ни о чём. Долго. Просто делились событиями текущих дней. Голосами не играли, оттенков и полутонов не искали, а просто выплёскивали всё, что накипело и бурлило, как в чайнике, надо было, чтобы кто-то приоткрывал крышку, чтобы можно было выпустить пар. Иначе крышка начинала брэнчать, издавая металлический эмалированный стук пустоты о наполненность.

Когда он пропадал надолго и не звонил, она с удивлением обнаруживала, что скучает. Затем не выдерживала – и старательно крутила телефонный диск, засовывая указательный палец в его дырочки. Она не приобретала новых телефонных аппаратов, которые с кнопками и трубками, что можно класть даже под подушку, и говорить, сидя не на жёсткой табуретке в прихожей, а лёжа на диване.

Пожалуй, больше всего, чего ей в последнее время не хватало, – это жилетки, чтобы выплакаться. Теперь такая жилетка появилась. Но Светлана с удивлением для себя открыла, что она говорит на каком-то другом диалекте, который истолковывают по-своему. Не на другом языке, нет. Язык был тот же. Диалект другой. Когда произнесённое слово принимает противоположный смысл. Но чаще ей просто ничего и не давали говорить. Она стала понимать, что это она – жилетка. «Ты не плачь, не плачь, не плачь, куплю солнечный калач». Почему солнечный? Почему нам всем чудится солнечный калач, а вместо этого луна пускает в окошко ледяной безжизненный свет, и от него тянет плакать о том, что не сбылось. Несбывшееся вырастает в своих размерах, заполняет тёмное пространство комнаты и мучает воспоминаниями. От этого лунного света ветви рисуют на стене живые узоры. Они, как лёт облаков и бег времени, никогда не бывают постоянны. Беги – не беги, не поймаешь, улетело, сгинуло или осталось обрастать мохом на дне памяти, тщательно схороненное от чужих глаз. В юности она любила по этим теням гадать и предсказывать своё скорое и нескорое будущее. Что привидится воображению среди этой игры обугленных но-

чью ветвей и безжизненного, как в операционной, света? Суженый, дом, пожар, дорога... Ветер перечёркивал причудливое примерещившееся очертание будущего. Иногда это радовало. Иногда пугало. Теперь гадать не пыталась. Гадание вызывало страх, когда озноб начинает сквозняком пробегать по позвоночнику. Знать ничего не хотелось. Да и что знать? Лотерейная шапка пуста. Все билетки раскручены и прочитаны... Ан нет... Оказалось, что не все...

Разговоры длились часами. Они мерно перетекали из одной темы в другую, обходя всё больное стороной. Она интуитивно чувствовала, что её слабый голос не услышат. Это – как писк птенца сквозь токование тетерева. Поэтому она старалась слушать. Слушала, как погружалась в тёплую морскую воду, наслаждаясь голосом и волнами настроения. Когда же оказываешься на гребне пузырящейся и искрящейся пены, то ухаешь с головой под воду. Ухала под воду она часто внезапно. Как на водоворот какой-нибудь натыкалась. Чувствовала, что воронка начинает стремительно засасывать и того гляди, утянет в смертельную глубину, из которой не выбраться. Это пугало своей непредсказуемостью, и она начинала с печалью думать, что луну и солнце в одном обличье всё же не соединить. Что за человека я встретила в том трамвае? Нет, не того мальчика из юности... «Как молоды мы были... как верили в себя...»

Впрочем, в себя мальчик верил и сейчас. Он был, несомненно, талантлив. Она чутко отличала внутренним глазом ювелира подделку от подлинника. Пожалуй, и привлекло-то её то, что он резко отличался от остальных. Одна нестайная птица заметила другую нестайную птицу и радостно замахала крыльями. Мальчик всё ещё верил, что он не только кем-то станет, а об этом узнает хотя бы вся наша огромная страна.

Мальчик жил с мамой, больной диабетом. Он успел жениться, завести двоих сыновей-погодков, развестись, уехать стажироваться на дизайнера в Германию и вернуться обратно к маме, похоронившей мужа, отца этого талантливого мальчика.

Жить с мамой в таком возрасте, когда пуповина давно перерезана, а помочи стесняют грудь, когда безумно тя-

нет взлететь, было тяжело. Нет, как она поняла, мама никогда не лезла не только в его жизнь, но и в душу. Он, в сущности, жил как хотел. Но до срыва на окрик раздражала его своим почти не пересыхающим потоком старческих разговоров; жалобами и просьбами, вьющимися, как комары над его непокрытой головой; болезнями, которые росли, как снежный ком, грозя обрушиться с горы; словоохотливыми и любопытными соседками, оккупирующими их кухню, когда ему хочется сварить кофе; в который раз за день потерянными очками со сломанной дужкой и позеленевшей от окислов оправой, как будто залепленной тиной; уколами, которые ей постоянно надо было делать, тщетно ища неинфильтрованное, не вздутое плотным бугром место, и ожидая очередного жалобного вскрика; своей слоновьей неповоротливостью и одышкой; постоянной необходимостью покупать в специальном магазине и варить диетические безвкусные продукты на ксилите; тем, что переминалась с ноги на ногу, стоя у него за спиной, когда он рисовал; шарканьем дырявых шлёпанцев, из которых вылезали огромные лиловые шишки на больших пальцах, напоминающие сизый виноград; своей глухотой, не подчиняющейся слуховым аппаратам, – и приходилось кричать, надрывая голосовые связки, закашливаясь от крика, поднимая себе давление, внезапно замирая от сжавшего обруча мигрени и подступающей тошноты.

...Разговаривая по телефону, украдкой наблюдали друг за другом. Было что-то в нём такое, что подсознательно пугало её. Он чувствовал это. «Я тебя не понимаю», – как-то сказал он ей. Да она и сама себя не понимала.

Её пугала его резкость, ей постоянно казалось, что она смешивает в хрупком прозрачном стеклянном стаканчике несколько неизвестных смесей: гранёная стекляшка начинает медленно нагреваться у неё в руке, рождая одурманивающий эфирный запах, генерируя предчувствие какой-то ещё непостижимой беды; стаканчик становился горячим, обжигал подушечки вцепившихся в него пальцев, и росло, как надуваемый воздушный шарик, ощущение того, что стаканчик сейчас взорвётся – и разлетится вдребезги, рая и уродуя всё, что попадёт по ходу траектории разлетающихся

осколков. Потом воздушный шарик съеживался, терял в объёме, но не в весе, оставляя запрятанный на доньшке души и в глубине сердца осадок от той взрывоопасной смеси.

Это не были какие-то серьёзные откровения, но иногда случайно прорывалось, как водопроводная труба, затопляя дорогу, то, что разносило их всё дальше друг от друга. Ноги замачивать не хотелось, брезгливо подгибалась подол, осторожно ступая и боясь промахнуться и не попасть на сухой островок. Один раз, например, он сказал: «... Как все женщины, любимое занятие которых – жить на деньги мужчин. Я купил бы ей сапоги, я ей всё бы купил, но, когда она сказала: «Ты мне купишь сапожки? Мне совсем не в чем ходить, мои стали страшные», мне захотелось бежать. Когда я вообще такое слышу – я убегаю». Её природная интеллигентность и порядочность вставали на дыбы, услышав подобное: хотелось прекратить эти необременительные встречи и не вспоминать о нём больше. Но проходила неделя – и она начинала скучать. Ей снова хотелось услышать его бархатный голос, она грустила и потихоньку начинала собирать дровишки для очага. Он говорил, что хочет семью, ребёнка, что ему очень нужна женщина, которая его ждёт и радуется, когда он возвращается домой, но он не хочет себя связывать какими-то печатями и обязательствами. Он художник – и, когда видит, что кто-то накладывает на него по-хозяйски лапу («Это моё!»), срывается с места.

Как-то он сказал ей: «У тебя нет недостатков: ты красива, очень умна, весьма тонкий человек и внимательный собеседник, интеллигентна. Но ты «не остановишь коня на скаку». Это – не недостаток, это продолжение твоих достоинств». Но она решительно не хотела ни «останавливать скачущих коней», ни «входить в горящую избу». Она совсем не понимала, как можно желать, чтобы женщина была такой. Всё ещё по девической наивности думала, что сила женщины – в её слабости. Да и самой ей хотелось «на ручки», чтобы была спина, за которую можно было спрятаться от «ветров жизни», чтобы была широкая грудь, дабы в неё можно было уткнуться и выплакаться, если на душе штормит, а на берегу ломает деревья. У неё всегда в жизни была такая спина. А сейчас она сто-

яла на пустыре, открытом всем ветрам, сложив руки на груди и обнимая саму себя руками...

Её пугали и некоторые его поступки. Например, такой. У него не было мастерской, и он снимал какую-то конуру для работы маслом; однажды хозяйка этой кладовки попросила освободить её по причине того, что она выходит замуж, а жить с мамой, взрослым сыном и с её новоиспечённым мужем вместе не было никакой возможности. Он возмущённо стал говорить, почему он живёт с мамой, а эта фифа не может, и наотрез отказался съезжать. Почему это он должен искать какую-то новую комнату, что он, разве за эту не платит? Да и где найдёшь за такую цену? Опять же надо тратить время и силы, которых у него и так нет. Он искал у Светланы искреннего сочувствия и очень желал, чтобы его пожалели. И она это почувствовала... Но почему-то представила эту разведёнку, которая вдруг нашла свою судьбу, может, на год или два всего, но нашла, и вот даже этих месяцев, отпущенных жизнью для счастья, она может лишиться из-за его беспардонности, нахальства и упрямства. Она вообще не понимала, как это можно не съезжать с чужой квартиры, качать свои права, которых у тебя нет, и ещё требовать сочувствия, пусть даже тебе и придётся искать новую площадь в ущерб своим творческим полётам и созданным шедеврам. Но он тогда так и не съехал. Видимо, та женщина испугалась, что её хрупкое счастье будет разбито его начищенными ботинками, и сама сняла на получаемые от него деньги квартиру, разумеется, с доплатой, в отдалённом от центра районе, зато с горячей водой. Потом художник несколько раз напоминал Светлане, что она не посочувствовала его ситуации, и называл это «дистанционной отстранённостью», говоря, что она себя выдала. Этот его поступок тоже оседал окислом на гремучей смеси в её сердце и душе.

Её настораживало его ежемесячное бегство в столицу с его походами по друзьям и подругам, это его проветривание и накопление новых впечатлений. Сама она была существом очень домашним, если когда-то в молодости ей и хотелось «вспорхнуть», то бывало это нечасто, раз в год или даже в два. Потом она понимала, что жить в гостях

неделями, не стесняя и не раздражая своим присутствием, можно только у близкой тебе женщины, тем более отвечать весёлым голосом по телефону, что он стирает свои вещи, чтобы пойти на встречу в Союз художников, поэтому вот уже три дня не выходит из дома.

«Искусство давно не проповедует нравственное. Только авантюрист побеждает в искусстве». Ох, как она была далека от этого! Её-то воспитывали по-иному, в понятиях, что искусство «сеет разумное, доброе, вечное». Он очень хотел стать известным. Пробивал всякие выставки, организовывал презентации, устраивал встречи с «народом», выбивал по крохам деньги из многочисленных спонсоров. Но выставки он устраивал не для того, чтобы люди смотрели на его картины и проживали жизнь, которую он пытался передать, а чтобы продать. Не продал – значит, выставка не удалась. Этого она понять не могла никогда. Да, за труд надо платить, но картины – это всё равно что твои дети... А как можно продавать своих детей, даже неудачных?

Она лежала ночью одна в своей мягкой постели с хрустящими, пахнущими стиральным порошком и так приятно ласкающими кожу простынями, смотрела на тени на стене, которые плели свой диковинный зловещий узор, перерезающий отсвет от фар заблудившихся и запоздавших машин, и вязала свой рисунок из странных и горестных фантазий, осторожно обвивающих тот осадок в душе и сердце, превращая его в кокон, закрытый до поры.

Её пугали его беспомощность и непрактичность во многих бытовых делах наряду с каким-то прожжённым умением вовлекать на обустройство своего быта всех своих знакомых, учеников и соседей, которые были почему-то ему должны.

Её пугали его деньги: по её понятиям, должно быть гораздо меньше. Она отгоняла от себя мысль о том, что, вероятно, нерадивые и неталантливые студенты архитектурного факультета, где он преподавал «Графику» и ещё вёл какие-то практические занятия, приносят тощие конверты. Но эту мысль снова, как грязную пену, выносило из подводных холодных течений её подсознания и пригоняло к берегу в очередную сессию и во время переэкза-

новок – затем он срывался куда-нибудь в жаркие заграничные страны. Она же была воспитана в представлениях, что брать взятки – преступление, пусть даже ты трастишь силы, здоровье и талант на коврики для ног студентов-футболистов. В ней всю жизнь теплился испуг, что человек, которого её отец спустил с лестницы за то, что тот позвонил к ним в квартиру под Новый год, держа в руках коробочку, завернутую в золотистую фольгу, напоминающую золотую рыбку, переломает себе хребет и останется лежать навтыжку всю оставшуюся свою жизнь.

И, тем не менее, она по-своему привязалась к нему. Они могли говорить по телефону часами. Она скучала по его странному голосу, напоминающему крик какой-то маленькой птицы. Это как-то незаметно стало неотъемлемой частью её жизни, потерять которую становилось уже страшно. Потерять страшно, а слить независимое русло своей жизни с его судьбой – казалось ещё страшнее. Какое-то ощущение возникало, что тогда – падать этой воде с горных хребтов с оглушающим шумом водопада, уносящего за собой скользкие угловатые камни, сметающие многое на своём пути.

Как-то он сказал ей: «Я как будто нахожусь под рентгеном. Ну, нельзя же так...» Тогда она поразилась его сравнению. Когда-то в пору, о чьей явственности уже стираются воспоминания, когда она была девочкой с обесечёнными волосами, забранными в жидкий конский хвост тугой аптечной резинкой, усердно носившей очки с роговой коричневой оправой, ей очень нравился один человек. Молодой человек этот был робок и нерешителен, вся жизнь тогда была впереди – и он не торопился связывать себя «любовью до гроба». Она очень хорошо помнит это своё ощущение, что она находится под каким-то жёстким излучением, что пытаются сделать снимок с её внутреннего мира. Она тоже тогда сказала: «Не просвечивай меня».

Всё чаще в их гармоничный разговор вривалась канонада его злобы на коллег, бывших друзей и женщин. Всё чаще объектом этой канонады становилась она.

«Катаешься, как сыр в масле. Живёшь для себя, как хочешь; создаёшь дутые проблемы, ничего тебе не надо...» Это

обижало до слёз. Она почти никогда не жила для себя. Сначала родители болели, потом муж... Да, обстоятельства её жизни сейчас сложились так, что она осталась одна. Но как она могла что-то поправить? Она-то считала, что она молодец: как может, выкарабкивается из нищеты, барахтаясь, как та лягушка в молоке, из последних женских сил. А у него именно это и вызывало раздражение: «Ты же получаешь удовольствие от работы!» Знал бы он: какое это удовольствие – таскать тяжёлые ящики по лестницам и находиться постоянно в состоянии стресса от того, что ты чего-то не успеваешь сделать, а то, что успеваешь, – то делаешь всё равно «плохо», и всегда виновата, хотя выматываешься так, что приходишь домой и ходишь по полу босиком...

«Я бы удавился, если бы работал каждый день больше трёх часов. Это – не жизнь!» Да, это был конвейер труда и быта, но ведь большинство так работало, пытаюсь прокормить семью и чуть-чуть приподняться над уровнем плитуса. Это был образ жизни нормальных порядочных людей, не мнивших себя талантливыми свободными художниками.

Однажды он рассказывал о своей бывшей жене... О том, как его раздражали её ученики, приходившие к ним в дом, чтобы брать какие-то уроки. Вдруг всплыло, придавленное заилненным камнем воспоминание, что его жена – из тех женщин, которые заработать не могут, и «любимое занятие которых – жить на деньги мужчин...» Почему с деревьев осенью облетают листья и ты остаёшься в голом чёрном лесу, где сквозь кроны полысевших деревьев льётся серый бесхитростный и безжизненный свет, который натывается на капли измороси, зависнувшей в воздухе, и делает мир снова полупрозрачным?

Всё чаще их разговоры кончались... нет, не ссорой, а какой-то перебранкой, когда она должна была почему-то оправдываться сбивающимся на извинения голосом. «Ты – абсолютный ноль в мужской психологии...» Она не была нулём – она знала, что хочет от неё. Хочет, чтобы его жалели; положили его голову к себе на колени, погладили по образовывающейся плешине, тщательно прикрываемой редкими жидкими седеющими волосами; чтобы поселили

у себя в квартире и варили наваристые борщи, заправленные сметаной и свежим душистым укропом, чтобы заглядывали в глаза и перемежали поцелуи с уверениями, что он – самый, самый... Любимый, умный, талантливый... Но она почему-то не могла его пожалеть: руки леденели, словно на морозе, становясь деревянными...

В квартире будто жила тень мужа, совсем не похожего на Командора, но ей казалось, что, если бы её муж был Командором, то ей было бы сейчас легко изменить свою жизнь и впустить в неё человека, который уже вломился в её душу, словно подгулявший пьяница, потерявший равновесие и навалившийся на приоткрытую дверь, – оставалось только просто ввалиться в её обитель.

«Я хороший психолог...» – твердил он. А она думала о том, почему этот замечательный психолог не видит, что она слабая и хрупкая женщина: ей тоже хочется, чтобы её пожалели, чтобы цветы дарили и защищали от всех сквозняков. Ну, какая она стена? Так, шалаш, который надо утеплять засушенными букетами и ворохом прошлогодних листьев. И почему она должна «останавливать коней на скаку», если она гуляет по лужайке, где трепетные лани нюхают невытопанную траву? А он цветов ей не дарил, так как считал, что она – умный человек и в букетах не нуждается.

Очень часто она натывалась в их разговорах на какие-то ежиные колючки: они прокалывали до крови подушечки пальцев, когда она пыталась ощупать шероховатую поверхность и погладить. Никто в клубок не сворачивался, бархатная пуговица носа не пряталась, но колючки торчали. От неё хотели соучастия и понимания, но никто не собирался становиться для неё жилеткой, чтобы впитывать в себя солоноватую водицу, оставляющую некрасивые белёсые разводы, от которых жилетка стояла колом и становилась брезентовой. Она пыталась заставить его посмотреть на мир и ситуацию философски, но слышала: «Мне наплевать на мир и на тех, кто в нём. Мне плохо, и со мной поступили скверно. Почему я должен думать о других?» Этот, по её мнению, неверный звук резал ей ухо, запускал в сердце булавки: их никак не вытолкать обратно, а если и получилось вытащить, то долго потом саднило и кровоточило. И

она старалась не слышать этого звука железа по жести, нарушающего состояние её гармонии. Она отсекала этот звук всеми возможными фильтрами, чтобы не пропустить в своё сердце его тревожные частоты.

«У тебя всё – или чёрное, или белое. Жизнь не такая...», – говорил он. А у неё даже сны цветные были, не чёрно-белые, хотя у большинства людей – чёрно-белые... И только скелеты ветвей на стене чёрные на сером лунном квадрате. А потом – клавиши вот тоже бывают только чёрные и белые, а сколько разных звуков из них можно извлечь... Да что звуков! – вальсов, сонат, симфоний, рекемюв... А у него было либо всё чёрное в тон полосы, в которой он пребывал, либо красное. Цвет зарева, пожара, заката, крови, похорон.

У него и рисунки все были какие-то тревожные. Либо скачущее по ветвям пламя, скручивающее ярко-рыжие и бурые листья в причудливые трубочки, заворачивающе полыхавшие и сгоравшие на ветру; обугливающиеся ветки в весёлых языках пламени; чёрные головешки и чёрные большие птицы; бушующее, всё пожирающее пламя сквозь листву.

И всё же ей уже не было так одиноко, как раньше. Теперь у неё был человек: и, если уж нельзя было вывернуть душу наизнанку, то хотя бы перед ним можно было расстегнуться на пару верхних пуговиц или одеть душу даже в мягкую махровую пижаму без режущего белья под ней и чувствовать себя легко и свободно. У неё был человек: по нему она скучала и, пожалуй, даже начинала любить. И уже мерещился семейный очаг. Тёплый дымок над крышей, тихие вечера, когда можно мирно смотреть телевизор, уютно устроившись на плюшевом диване и положив голову или ноги милому на колени. Зачем солнце, когда ветки на стене сплетали в ночи, купаясь в лунном свете, свои узоры?

Почему мы видим жизнь так, как нам хочется её видеть? Рисуем её образ по своему подобию, удобно подгоняя под себя. И злимся на себя и окружающих, когда она не подгоняется. Тень может быть короткой, может быть длинной, может быть косою и искажённой, может совсем пропасть, когда из жизни исчезает свет, а человек, он всег-

да одинаковый. Какой есть, а не такой, каким мы его нарисовали, исходя из нашего опыта и представления о чёрном и белом. Разве что время нас меняет. И не всегда в лучшую сторону. Даже чаще не в лучшую. Почему, приобретая опыт, человек становится хуже? Злее, расчётливей, безнравственней? Казалось, что должно быть наоборот. Ан нет. Неужели потому, что перестаёт видеть в жизни чёрное и белое, как в юности? А понимает, что существуют и другие цвета и оттенки спектра?

Однажды, ещё до того, как её окликнул художник, когда уже прошло немало времени после смерти мужа, в один из выходных вдруг накатил такая тоска, справиться с которой не было никаких сил: болело под лопаткой и в груди, а на зрачки налипала мутная белесая слизь отслаивающейся роговицы, раздражённой плохо вымытыми пальцами и платком, вытирающими то слёзы, то жидкость, – она зарегистрировалась на нескольких весьма популярных сайтах, где можно было встретить людей, казалось, навсегда исчезнувших из твоей жизни, а, может, если повезёт, даже обрести новых друзей. Это давало иллюзию того, что ты не одинока, что тебя слышат и понимают, и в любой момент можно перекинуться с кем-нибудь парой ничего не значащих и ни к чему не обязывающих фраз и накапать немного краски в серые будни. Так, лёгким воздушным мазком, где лишь по наитию угадываются цветная дымка на горизонте или светящийся ореол... Ей всё труднее было молчать и вспоминать свою жизнь, чувствуя себя замурованной среди груды камней и железобетонных обломков, в которые превратились недавние стены после внезапного землетрясения... Она просто пыталась нащупать хоть какую-то связь с внешним миром, в котором продолжалась жизнь...

Иногда она листала чужие страницы, старательно щёлкая «мышь» по серой спине и пытаясь высмотреть среди чёрно-белых строчек родную душу, но такой души не было даже на необъятных просторах Интернета. Может быть, дело в нас самих? Мы просто не способны бываем иногда увидеть людей, которые нас окружают. Смотрим, как сквозь бронированное стекло, на чужие лица...

Чтобы выжить – надо строить иллюзии, она и пыталась. Иногда она перебрасывалась двумя-тремя дежурными посланиями и на несколько недель или даже месяцев забывала об этих страницах. Бывало, если попадался умный собеседник, переписка затягивалась, пока она не узнавала о нём что-то такое, после чего писать больше не хотелось. Порой Светлана читала чужие дневники, что были выставлены на всеобщее обозрение и к которым можно было написать свой убийственный комментарий. Случалось, попадались тонкие и изящные записи, сквозь них проступала боль, словно пятна от ягод, засунутых в карман. Это жонглирование фразами напоминало ей игру в бадминтон. Каждый старается не поймать, а побыстрее и половчее отбросить от себя воланчик. Хорошо хоть не волейбольный или даже футбольный мяч. Многие здесь как бы «садились на иглу» и уже не могли жить без виртуального общения. Она тоже была бы рада кого-нибудь тут встретить, кто бы мог заслонить собой умершего мужа. Будто жила в некоем постоянном затянувшемся ожидании солнечного затмения. Только ей очень хотелось, чтобы затмение не проходило. Стало постоянным. Тогда она не будет глядеть на небо сквозь закопчённое стекло. А так смотрела – и видела, как луна медленно наплывает на солнце лишь на минуту, временное помрачение, иллюзия замены человека человеком – и снова всё хорошо видно: где солнце, где луна.

С тех пор, как она оказалась придвинута в маршрутной давке к бывшему однокласснику, она бродила по чужим страницам лишь изредка. Просто ей там стало неинтересно: насколько все были скучны, бесцветны и примитивны по сравнению с ним. Любое болото засасывает. И хотя Светлана, как отважная лягушка, усердно дрыгала лапками, пытаясь сбить масло – и не утонуть, она понимала, что все кочки и островки, на которых она пыталась спастись, – медленно погружались в мутную жижу. Не получалось даже диалога. Диалог получался только с ним, хотя и трудный, с эмоциональными всплесками, как у переполненной кастрюльки, плюющей на раскалённую плиту, пока не переключат газ; с недомолвками и откровениями, о которых

хотелось не знать, и после такого «диалога» чувствуешь себя совсем без сил, будто выпотрошенная.

Её приятель опять уехал в Москву, где пытался пробить себе выставку, вновь бегал по многочисленным богемным друзьям и подругам, таким же талантливым, как он: черпал вдохновение для своих будущих полотен, наверное. Она подумала, что, живи она с ним, ей от этого было бы невыносимо больно. Ей и сейчас больно.

Она подошла к подаренной им картине, что висела у неё на стене в гостиной. Это была странная картина. На ней была изображена сказочно огромная луна, от луницы сбегала широкая люминесцентная дорожка, похожая на ледяное зеркало, раскатанное прохожими на заснеженном тротуаре. Эта дорожка падала на увеличительное стекло круглого окна, напоминающего иллюминатор, странным образом преломляющего эту дорожку и фокусирующего её в рыжие языки пламени, лизавшие уже половину дома. От пламени бенгальскими огнями летели искры в направлении серебристых деревьев, закованных в ослепляющую корку льда...

Это ощущение фантазмагии сгорающего дома и жизни, полыхнувшей, как спичка, причудливо изогнувшейся перед тем, как обратиться в пепел, который кто-то свыше просто разотрёт пальцем и смахнёт с ладони, хотя пожар, шутя, растопит оледеневшие души, готовые к долгой зиме, было настолько реальным, что она приложила холодные ладони к своему пылающему лицу.

Отходя от картины, она включила компьютер, собираясь написать письмо подруге, вышедшей замуж за чеха, и остановилась. Из всплывшего внезапно окна с веб-страницы на неё смотрело знакомое лицо «ясновидящего» художника, предлагающее предсказать судьбу, «заговорить на любовь», прочитать сны, составить астрологический прогноз и вылечить от запоя.

Неужели все наши розовые сны и смутные надежды, просачивающиеся, как свет в непролазном лесу, где деревья, поднявшиеся из семечек, заброшенных штормовым ветром, оказались столь тесно прижатыми друг к другу, – лишь цирковой трюк специалиста «белой и чёрной магии»,

зарабатывающего на жизнь смятением людей, у которых почва вдруг ушла из-под ног?

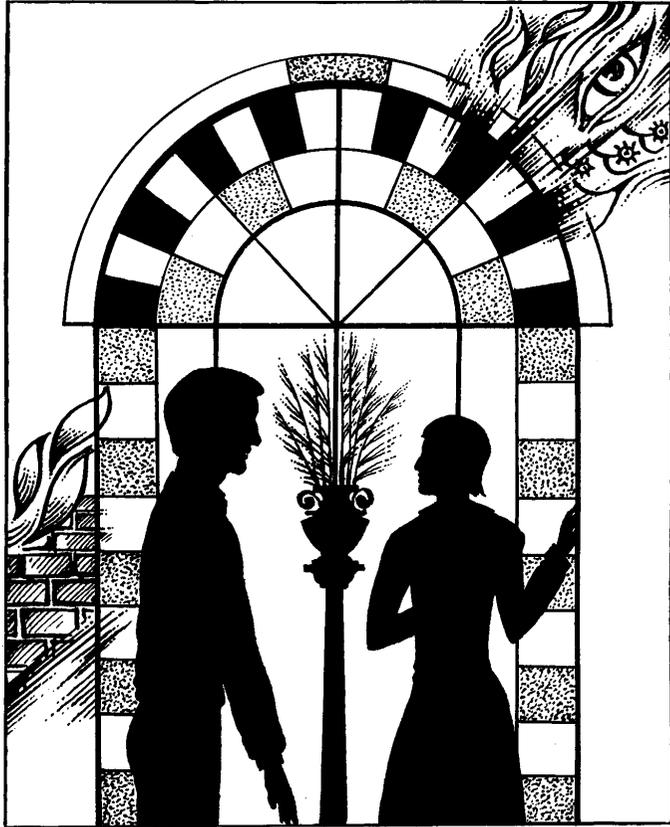
Такой цинковой пустоты у неё не было даже, когда умер муж. Там было оцепенение от таблеток, которыми её накачали; ощущение, как будто всю её обложили синтетической ватой, как ёлочную игрушку; и сознание непоправимого, налетевшего, как цунами, – и в одночасье смывшего все береговые постройки, среди которых был и её дом. Была невесомость внутри, как при резком спуске в самолёте, и желание проснуться. Надо было начинать жить с нуля, но жить. Самолёт со скрежетом выпустил шасси и катил по взлётной полосе.

Теперь же она сидела у компьютера парализованная, с неловким чувством, что внезапно раскурочила дорогую и уже любимую игрушку, пусть со своими видимыми, но уже стёртыми для глаза изъянами, – и неожиданно нашла там опилки, ржавеющие пружинки из незакалённой стали и грязную вату, свалывшуюся серыми комочками. Починить игрушку было уже нельзя. Игрушка перестала существовать, хотя была в её руках, и её можно было потрогать и даже погладить. Слезы потекли ручьём, остановить их было невозможно. Ощущение такое – как будто разгрызла орех – а вместо крепкого ядрышка нашла там большого и жирного червяка, который лежал в мохнатой черноте. Она промочила насквозь пять носовых платков, нос распух, как вываренная свёкла с облупленной кожурой, в горле першило, ноги сделались ватными и заныли, и больше всего на свете она хотела, чтоб она жила с плотно завязанными глазами.



Тени на занавесках





4

Но это не правда, что нам никто не нужен. Конечно, можно убежать в книги, в работу, в путешествия, но человеческого общения и живого тепла не заменит никто.

«Котика что ли завести?» – подумала Светлана. Сейчас у одной женщины на работе как раз окотилась кошка, и она всем предлагала котят, показывая их фотографии. Кошка была персидской, предполагаемых отцов потомства было семь. Котят было четыре: один пятнистый рыже-чёрно-белый; один чёрный, как маленький чёрт; один серый, как варежка из кроличьего пуха; и один, как двуликий Янус – половина кошачьей мордашки была белизны первозданного снега, а половина серая.

Да только куда этого котика девать, когда надо будет уехать куда-нибудь? Потом ему же скучно будет, когда она на работе...

Светлана до сих пор помнит котёнка на даче, что, заблудившись, пришёл к ней однажды на участок. Тот котёнок был домашний. Совершенно ручной и очень испуганный тем, что потерялся. Он так обрадовался, что её нашёл, что почти не давал ей жить. Она не могла ни лечь, ни сесть, чтобы котёнок тотчас не забирался к ней и не устраивался где-нибудь на животе или коленях. Даже, когда она, чувствуя, что он безобразничает и мешает работать, садилась вплотную к столу, приликая к нему животом так, чтобы котёнок не мог запрыгнуть к ней на

колени, он забирался на стул сзади неё и тесно прижимался к ней, даря своё тепло и сам греясь о неё. Он не отходил от неё ни на шаг. Она даже не могла в сад выйти: он тут же пулей летел за ней, видимо, пугаясь, что потеряется снова. А ведь он только что опять обрёл дом. Просто пришёл к чужому человеку, как к себе домой, и заставил себя полюбить... «Посмотрите: какой я маленький, смешной, ласковый, милый, очень пушистый и совсем как грелка. Я уже научился ловить мышей и даже танцевать около своей добычи...» Это не она приучила его к тёплым рукам, которые гладили его по шёлковой шёрстке... Если он, увлечшись охотой на мышей, оставался в саду, когда она запирала изнутри на ночь дом, то (и откуда у этого крохи хватало соображения?) подбирался по тонким балконным перилам к окну снаружи и начинал царапать стекло лапой, истошно мяукая до тех пор, пока его не впускали в нагретую постель...

Когда она уходила на реку поплавать, ей приходилось его закрывать в доме. Она боялась, что этот, привязавшийся до ненормальности, увяжется за ней и будет орать на берегу в то самое время, когда она будет наплавывать привычные километры. Когда же она возвращалась, то он кубарем кидался ей навстречу... Однажды перед отъездом в город она ушла купаться в мелкий дождь, понимая, что отпуск заканчивается и дней для её летних заплывов почти не остаётся. Плавала она долго, наслаждаясь лаской воды и свободой от суеты, а этой свободе скоро должен был наступить конец. Потом она медленно возвращалась по размытой глиной дороге, тяжело вытаскивая галоши из засасывающей их жижи и смакуя пейзаж – и вдруг увидела нечто, похожее на окровавленное тело какого-то зверька в глубокой колее, заполненной мутной рыжей водой, по которой только что проехал, видимо, какой-то «вездеход»... Она, зажмурившись, прошла мимо. На даче из окошка была выбита сетка (её вставляли от комаров). А её любимца не было... Даже перед животными мы бываем виноваты... После того дачного происшествия она в зародыше подавляла в себе желание завести кошку или собачку.

Она всё время торчала на сайте «Одноклассники». Все переписывались со своими бывшими друзьями, одноклассниками, сокурсниками, любимыми. Писали о том, кем они стали и кем они не стали; сколько завели детей; сколько раз развелись; кого похоронили и в каких странах побывали. Делились своими впечатлениями, показывали фотографии своих семей, демонстрировали себя на фоне заграничных достопримечательностей... Так она нашла свою лучшую школьную подругу. Подруга жила теперь в Иркутске, родила троих детей, у младшего был порок сердца, имела парализованную слепую мать и сбежавшего мужа, которого когда-то очень любила. Светлана всегда втайне завидовала их любви. Да и не только она. Все им завидовали. У этой пары были очень романтические отношения; они друг друга всегда жалели; он носил постоянно, а не только по праздникам, цветы; она баловала его всякими сюрпризами. Маленький вечный моторчик, пытающийся крутить булыжник и высекать из соприкосновения с ним искры. Они даже смотрели только друг на друга и никого вокруг не видели. Она и потеряла эту подругу из-за него. Подруга поехала за ним в Сибирь, где были снега и жуткие морозы. Нет, он не был декабристом, он был просто военным. Уехала – как растворилась во времени и пространстве. Первые годы Светлана даже пыталась ей писать, но письма эти то ли где-то пропадали на необъятных сибирских просторах, то ли, наоборот, пространство, в котором теперь жила подруга, было сужено до размеров квартиры, в которой жил он, а затем и их дети.

Теперь бывшая подруга (а друзья разве бывают бывшими?) была уже на пенсии как химик, поработавший на вредном химическом производстве, получила второй диплом психолога и возглавляла частную «Службу доверия». От той робкой романтической девочки у подруги не осталось ничего. Надо было выживать и кормить детей. О своём благоверном она больше ничего не хотела слышать, она его ненавидела: «Этот стал совершенно другой человек, озлобленный и меркантильный. Он сломался, когда потерял работу. Я боролась, но сделать ничего не могла. Он думал, что я не выдержу материально. Я ни о чём не жа-

лею и благодарна судьбе, что любила и была любима, что приобрела большой опыт». Подруги снова разговаривали, как будто и не было этих 25 лет молчания, будто расстались только вчера, а сегодня им о многом снова нужно рассказать друг другу. Они переписывались целый месяц, правда, не ежедневно... Свою новую работу иркутянка любила, она ещё в юности хотела быть психологом или сексологом. С сексологом не получилось, а вот со «Службой доверия»... Что может быть благороднее, чем выслушивать людей? Подруга дала свой телефон и обещала позвонить сама – и они снова расстались во времени, пространстве и в виртуальной реальности, пообещав друг другу обязательно ещё увидеться где-нибудь в настоящей жизни.

Светлана переписывалась с ещё двумя сокурсниками. Ей интересна была их жизнь, но у них у всех тоже был свой цейтнот и свои трудно разрешимые проблемы... Они радовались, что встретились через столько лет, пусть на сайте, а не в жизни (хотя давно можно было взять телефонный справочник и спокойно поговорить по телефону). Но, видимо, «серому экрану» монитора мы теперь доверяем больше, чем разговору «тет-а-тет». Она даже была очень удивлена тем, ЧТО и КАК её бывшие сокурсники теперь писали. В студенческие годы было ведь очень поверхностное общение. Круги на воде... А тут открывались какие-то потайные подводные течения, о которых раньше и не догадывались. Но видели лишь придонные тени рыб и причудливое колыхание водорослей. Времени на плавание с батискафом не было – и все переписки в скором времени высыхали, как причудливые медузы, выброшенные штормящей волной на скользкую гальку. И ничего от этих медуз не оставалось. Как не было. Только воспоминания о том, как плывёшь в бирюзовой почти прозрачной воде, раздвигая руками большие морские звёзды, страшись, что они внезапно тебя обожгут, и наслаждаешься свободой и тёплым течением.

Иногда она смотрела на фотографии из жизни своих сокурсников и их друзей. Это было – как подглядывание в замочную скважину. Но ведь их никто не заставлял вы-

ставлять на веб-страницах фотографии своих детей, партнёров по браку, любимых и родных; рассказывать о своей работе и досуге. И она пыталась прочитать по нечётким фотографиям чужую жизнь и чужие судьбы, ища в них неожиданный резонанс со своей. Это – как струны перебирать у гитары... Один неуверенный звук, другой, но вот – и щемяще зазвучала та струна: о том, что сердце заходится от боли, что молодость миновала, а любви – как не было, так и не будет...

Однажды Света наткнулась среди фотографий «друзей друзей» на чёрный, как парящая птица на лазурном небе, профиль мужчины. Этот профиль был, как тени у неё на стене посреди лунного света. И хотя он был статичен и никуда не летел, как тени ветвей, изломанные заходящими в ознобе ветрами, ей почудилось, что он дышит и готов сорваться в лёгком беге навстречу померещившейся любви. Этот профиль был ей знаком, впрочем, он имел вполне реальное, а не вымышленное имя. Его звали Одиссей. Светлана когда-то работала с ним в одной организации, потом он ушёл на кафедру в университет, потом познакомился со своей будущей женой, про которую говорили, что она очень экстравагантная особа. Света видела её однажды. Особа имела ярко-рыжие крашенные волосы, в них вкраплялись чёрные и красные пряди, волосы развевались на ветру и напоминали бушующее пламя, в котором он потом, должно быть, и спалил свою судьбу. Была она в красном обтягивающем ажурном пуловере с вырезом, открывающим два розовых персика, и чёрной майке, которая криво вылезала из-за ворота этого пуловера; на тоненькой шейке её болтался ядовито-зелёный в бурую крапинку, напоминающую крокодилью кожу, шарф. В общем, дама в синей кожаной мини-юбке с жёлтыми звёздами, имитирующими ночное небо, туфлях с большими рыжими бархатными бантами, в которые стекали ноги в ажурных чёрных колготках, напоминающих рыболовную сеть, запачканную илом или мазутом (в эту сеть она, наверное, и поймала его в один из вечеров...) Особу не заметить было нельзя. Она цепко держала его под руку, вернее, почти повисла на его руке. Говорили, что он

уехал с этой особой в Подмоскowie и преподавал в школе, где работала она. Учил детей компьютерным премудростям.

Светлана всегда тайно симпатизировала этому человеку. Это был глубоко интеллигентный человек, немного «ушибленный» увлечением тогда только что входившими в жизнь компьютерами, которые имелись не на каждой работе. О том, чтобы иметь компьютер дома, тогда ещё никто вообще не помышлял. У него была больная левая рука, ладонь была сухая, узкая-узкая, почти женская, пальцы были – как сломанные повисшие деревянные палочки. Он старался прятать эту руку где-нибудь под столом, под коленом, в кармане мешковатого пиджака. Он был по-своему красив, с правильными одухотворёнными чертами лица и очень застенчив.

Она просмотрела информацию, которую он давал о себе на сайте. Из этой информации она узнала, что он восемь лет уже – не в Подмоскowie, а в университете её родного города, что у него взрослая замужняя дочь, что он стал доктором наук, что любимые его писатели Борхес, Гессе и Бунин. Особенно сразил Светлану Борхес. Ну кто же не из литераторов будет зачитываться «Маленьким лордом» в нынешние-то времена? Про семейное положение данные отсутствовали.

Потом Светлана разглядывала его альбом. На одной фотографии он гулял с двумя девицами по набережной города, на другой вообще были какие-то дети и подпись «Прохожие» – эти фотографии он поместил сам. Пять других ему были присланы. На первой картинке он стоял в обнимку у Эйфелевой башни с какой-то девушкой, похожей на монголку или татарку, – её прислала особа по имени Дора Шарафутдинова. На другой фотографии была эта же Дора в купальнике и чёрных очках, а рядом с ней некто, голый по пояс, голова и лицо его были завязаны рубашкой – её тоже отправила эта Дора. На третьей он изображался с девушкой, как две капли воды, похожей на него, – они смотрели друг на друга влюблёнными глазами. Эта фотография была чёрно-белая. Под ней стояла оценка, данная Дорой: «Страшненькая какая!» На четвёртой он

возвышался за кафедрой, под фото находилась подпись: «Гуру в Вашингтоне вещает страшные глупости, которые завтра оказываются реальностью». На пятой он сидел в ресторане за ядовито-жёлтой скатертью; на соломенных салфетках стояли тарелки с каким-то помидорным салатом и мясом, бутылки и бокалы с янтарным вином, оранжевые салфетки в жёлтом бокале; и красные ветки то ли сакуры, то ли крашеного сухоцвета отбрасывали тени на его задумчивое лицо. Откуда-то из-за угла падал тревожный красно-оранжевый свет. Тени, блуждающие по лицу, были размыты и расплывчаты в этом красном свете. Лицо – сама тень. Под фотографией значилась подпись «Гуру в библиотеке». Оба изображения прислал какой-то Mark Snider.

Ей внезапно захотелось отправить мужчине сообщение. Какое-нибудь. Вступить в контакт с этим «гуру». Желание было настолько ясное и сильное, что она его испугалась. Она дрожала от нетерпения, открыв «Word» и набирая ему послание:

«Бывает иногда такое внутреннее состояние, когда всплывают в памяти лица, вызывающие сожаление, что прошёл мимо них. Приглядывались, присматривались, искали полутона и полутени, здоровались, но издали. Потом «лови-не лови» – не догонишь, всё усвистело безвозвратно. Вот я и подумала, а почему бы нет, коль уж я наткнулась на «всплывающее» иногда в проруби памяти лицо. Рискнула написать. Вы вернулись в наш город?»

5

Света с удивлением обнаружила, что с нетерпением ждёт вечера, когда можно будет посмотреть: ответил ли Одиссей. Он написал. Он её помнил! Он писал, что перебрался в их город, развёлся, похоронил мать, преподаёт и играет во всякие образовательные игры. Она задала вопрос – он снова ответил; на её вопрос «Что за игры такие?» он дал ссылку на свои веб-страницы и сайты, где он бывает. «Я же живу в сети», – его усмешку она как будто видела. Живущих в

сети Светлана инстинктивно боялась, и это его сообщение расстроило её почти до состояния, когда слёзы наворачиваются, как сок из прокушенной солёной помидорины. Ну, вот ещё один орешек, который разгрызать, наверное, не стоит, чтобы не было разочарования...

Но орешек разгрызен пока не был, он манил своим белым молочным крепким тельцем, оперённым в зелёную юбочку папуаса. Орешек хотелось попробовать на зуб и вкус. Тоска налетала внезапно, как летний ливень, приносящий ветер перемен.

И она с удивлением для себя обнаружила, что стала ходить по этим веб-страницам, на которые он ссылался. Она никогда не жила в сети и чувствовала там себя довольно неуютно. У неё рано или поздно от всего тамошнего мельтешения, похожего на пущенный по ветру конфетти, начинали краснеть и слезиться глаза; голову сдавливало тугим обручем, вызывающим тупую боль; незаметно подкрадывалась тошнота, сопровождающаяся серой пеленой или роем чёрных и блестящих мушек в глазах, которые плотной завесой застилали экран монитора. Она мало там поняла, на этих веб-страницах. Разговоры были на профессиональном сленге и часто на английском языке. Она узнала, что Одиссей пишет книгу об использовании сетей для образования, ищет спонсоров, работает экспертом в сетевых сообществах «Google» и «Intel». Переводит какие-то «скетчи», выбивает – и успешно – гранты, бывает на конференциях в Америке, Англии, Германии, Канаде, Японии, Мексике.

Однажды она попала на веб-страницу, полную завораживающих фотографий, сделанных им. На фотографиях находились природа, родной город, города и страны, в которых он побывал. Все фотографии были либо сумеречные, в лучах западающего солнца, оранжевого, как спелый перезревший апельсин, или розового, как налив, или пурпурного, как залежавшийся гранат, либо по ним скользил, прокладывая таинственные мерцающие дорожки, лунный свет. Но тревоги в них не было. От них веяло какой-то романтикой из юности, когда заходящее солнце было ещё не для нас – просто хотелось бежать по этой ро-

зово-перламутровой морской дорожке куда-то за горизонт, туда, куда ныряет огненный шар, плыть в неизвестность долго-долго – пока не иссякнут силы, а сил тогда было ещё достаточно, чтобы горы свернуть. Свет лился сквозь листву на его фотографиях – такой мягкий, чарующий, завораживающий, и казалось, что луч солнца утирается у тебя на лице, сушит дорожку от слезы на нём. Если и ложились на лицо тени, то это были тени от листвы, и отражали они только бег твоих пока ещё, как облака, лёгких мыслей. Вся жизнь лежала впереди. Она не была прекрасна, но она была впереди и была удивительна, многое можно было успеть, надо было суметь кем-то стать. На фотографиях серебрился серый шифер океана, который она никогда не видела живьём и который, наверное, уж никогда не увидит.

Светлана послала свой вопрос о том, что он делал у этого океана. Одиссей ответил, что там был симпозиум, поездку на него финансировали люди, с которыми он общается через Интернет, а для них он делает необходимую им работу. «Там было очень холодно и одиноко, а потом приехали мои старые друзья – и стало тепло». Это было сказано так, что она будто почувствовала его сиротство в чужом городе, в чужой стране, где говорят на чужом языке, который ты хоть и понимаешь, но твой-то «птичий язык» не понимает никто. Ты бродишь невидимый в разноцветной толпе, где на ходу жуют сэндвичи, пьют кока-колу и потягивают сигары. Твоя страна далеко, но ждёт тебя там только дочь, да и то – их встречи обычно скомканы, обрывочны и редки. Распахивать душу дочери он не мог и права даже такого не имел, наверное... Родители умерли.

Теперь Света знала некоторых его друзей в лицо. И даже некоторые его мысли, которыми он делился с этими друзьями.

Следующим её открытием стала цитата Набокова в его «Живом журнале» с ремаркой: «А Набоков, Набоков-то каков! Как пишет!»

«Теперь язычки пламени карабкались по ступеням, по двое, по трое, цепочкой краснокожих, рука об руку, воин за воином,

быстро переговариваясь и распевая... Окно захлопнулось с такой силой, что стёкла разлетелись дождём рубиновых осколков, и он понял, задыхаясь, что буря снаружи помогает пожару внутри. Он ещё попытался выбраться вон, но с этой стороны здания не было ни балконов, ни карнизов. Он был уже у окна, когда длинный язычок с лиловой каймой, пританцовывая, остановил его изящным жестом одетой в перчатку руки. Через рушащиеся деревянные оштукатуренные перегородки до его слуха донеслись человеческие крики, и одно из его последних ошибочных представлений состояло в том, что это возгласы людей, спешащих ему на помощь, а не вопли товарищей по несчастью... Разноцветные вихри кружились вокруг него, напомнив ему вдруг страшную картинку в детской книжке...»

Другим откровением среди полупрофессиональных разговоров на сленге или иностранном языке стала его запись: «Никому не интересен мой глубокий внутренний мир, кроме двух офицеров госбезопасности, но я подозреваю их в неискренности».

Она послала ему коротенькое послание: «Ну что Вы, Сева! Мне Ваш внутренний мир даже очень интересен. А что Вы делали в Париже?»

Одиссей: В Париже у моей Доры – студенческие друзья: подружка замужем за французом, который здесь какое-то время учился. Мы у них жили. Там было довольно тепло и зелено.

«Кто же эта Дора, любопытно было бы знать?» Она зашла сначала на одну страничку этой Доры, потом на другую, потом на третью.

Ей было всего 27 лет, ему 50. Сначала она думала, что это подруга его дочери, в графе «семейное положение» у неё стояло «помолвлена», и его дочь числилась у неё в подругах. Потом решила, что это и его подруга.

Она узнала, что Дора эта училась в школе сначала в каком-то городке с бурятским названием, потом в Красноярске, закончила в Москве заочный юридический факультет и поступила на другой, платный: туризма и гостиничного бизнеса; что она неплохо знает английский и

немецкие языки, а также иврит. Дора читает детективы и фэнтези, предпочитает иностранные комедии и боевики. Увлекается футболом, хоккеем, игрой в бильярд и сетевыми сообществами, а также танцами и разной музыкой. Любимым её изречением было: «Все суки, кроме маман». В графе «о себе» стояло: «энергичная и сильная». У неё также была указана ссылка на её страничку в «Живом журнале».

<http://www.odnoklassniki.ru/>

Светлана: В Новый год тепло и зелено?

Одиссей: Ну, относительно тепло. Но снега до Нового года не было, и трава лежала зелёной.

Светлана: Просто у Вас, наверное, было эйфорическое романтическое настроение. Сказочный чужой город, карнавал, молодая любимая женщина, ожидание чуда, всё – в пёстрой мишуре, мигающих разноцветных лампочках и бегущих строках (как иногда и в жизни), от которых принималась вращаться улица – начинали прорастать крылья, казалось, что вся лучшая жизнь впереди, а ты молод и глуп...

Одиссей: Да нет – не было у меня романтического настроения ;)

Светлана: Я плохо разбираюсь во всех этих схематических обозначениях оттенков человеческих настроений. Смайлик Ваш, он что обозначает: улыбку сквозь печаль, печаль сквозь улыбку или что-то иное? Что же Вам мешало радоваться? Рюкзак жизненного опыта за плечами? Сознание, что пытаешься вскочить с перрона на подножку уходящего поезда – и не запрыгиваешь? Поезд всё набирает и набирает скорость, и ты опять неловко пытаешься впрыгнуть в последний вагон. Бег от внутренней дисгармонии и разобранности? Чувство, что говоришь как сквозь бронированное стекло: твои слова отражаются – и тебя не слышат, даже если ты пытаешься кричать очень громко? А у меня вот всё равно от поездок возникает какое-то чуть эйфорическое чувство праздника, хоть и знаешь, что скоро придётся возвращаться.

Больше писем не было. Она каждый вечер заходила на свою страничку с сообщениями. Увы... И опять возникло странное чувство потери, хотя и приобретения-то никакого пока не было, а было ощущение – как будто утренний густой туман рассосался... Думала, что встретишь яркое, пусть и не очень тёплое солнце, а вышла в хмурый осенний день. Она прождала две недели и зачем-то опять послала сообщение.

Светлана: Ну вот! Я Вас, кажется, напугала. Или Вы испугались сами себя. Не пугайтесь. Я птица вполне безопасная, сродни белой вороне. Чужих гнёзд не тревожу и листву с ветвей для полноты обзора крыльями не сбиваю. Но иногда радостно машу крыльями, увидев птиц, возвращающихся домой с юга...

Одиссей: Да нет, просто замотан, загнан и очень устал за последние дни – вечером в Москву и там четыре дня каких-то лекций.

Что она вообще о себе надумала? Что ему интересно общаться с какой-то старой коллегой, с которой они и в юности-то только встречались в широких коридорах – никак не пересекаясь и даже не соприкасаясь рукавами? Смешно! Но она всё-таки зачем-то стала искать в сети «Живой журнал» его дочери, которая училась в Москве, как она узнала из её странички на тех же «Одноклассниках».

Даша: У меня всё замечательно. Это самый счастливый год в моей жизни. Я Вас всех люблю. Пишите. Вот только компьютера у меня нет и денег.

«Ну, всё, – решила Светлана. – Хватит чужих тайн – и так всё ясно. Не надо ворошить незнакомые гнёзда, пусть даже и наспех слепленные в каменной скале». Она всё-таки ещё зашла на какую-то страничку этой Доры с её обширной подборкой фотографий; посмотрела на её многочисленную родню в Красноярске, выяснила, что Дора – из многодетной семьи, которая почему-то фотографировалась исключительно в застольях; поглядела

на её друзей – в основном молодых и весёлых, на саму Дору в обтягивающих мини-юбчонках, некрасиво распираемых полноватыми ляжками, и незатейливых маечках на бретельках, под которыми бугрились две мягкие груши. Светлана вдруг подумала о себе, стареющей: «Тебе ли тягаться с молодостью, с её нынешней наглостью и бесцеремонностью, с молодостью, что спешит устроиться в жизни любой ценой – и, наверно, права? Жаль, что мы такими не были. Боялись собственной тени. А мужики они и есть мужики – даже самые интеллигентные». Но решила, что всё-таки ответит. В последний раз.

Светлана: Да уж да. Состояние замотанности и загнанности – по-моему, это вообще давно уже обычное состояние, с которым, если не срослись, то смиряемся. Конвейер труда и быта, когда остановиться и оглянуться (а уж тем более посмотреть по сторонам) некогда. Ваша хандра – это просто затянувшаяся осень, когда кажется, что весна наступает – с её состоянием авитаминоза, истощения и депрессухи, когда кусты вдруг буйно начинают цвести не в срок, чувствуя ветер с юга, но... не время.

*«...Ноги – гири. И крылья срослись.
Нитку пульса никак не нащупать.
Мы – часы... Коль едва завелась,
Не дотронься:
Возьмутся всё путать...»*

Это пройдёт, как проходит всё. Всё встанет на свои места. Скоро рождественские каникулы, отоспитесь, отдохните. Работа у Вас любимая, а это – главное; искра божия – есть; ну не то время сейчас для самореализации, а когда оно было то? Ну не жить же, просто переползая изо дня в день? Всё у Вас будет хорошо. Даша окончит институт, встанет на ноги – и перестанете чувствовать подспудно свою вину за то, что не всегда в силах в нынешние времена ей помочь. К подруге привыкнете, окончательно притрётесь, шероховатости сгладятся; а без романтики, когда держит или страсть, или быт, или рассудок,

иногда даже лучше. Она Вас от себя не отпустит и, наверное, попытается связать и привязать к себе поскорее маленьким: скитаться по чужим квартирам в наши-то времена и чувствовать своё сиротство, свою неустроенность, свою неуверенность в «прекрасном далёко»? Да и привязалась она уже. Все эти перемены – скорее к лучшему. Будете хвалиться её молодостью и лить бальзам на возрастные болячки. Не грустите. Всё образуется. Если я могла бы как-то помочь Вам выйти из Вашего состояния загнанной лошади и «воспарить над суетой» хотя бы своими посланиями, я была бы рада. Да только я ведь сама такая лошадь, да ещё с зачатками крыльев...

Ответа она не получила, да и не ждала его.

6

Не рвитесь в запертые двери, не подглядывайте в замочную скважину, не высматривайте тени на занавесках, проступающие, как пятна протёкших чернил на изнаночную сторону! Не играйте с огнём, даже если этот огонь – лишь отсвет закатного солнца, фокусирующегося на прозрачных пресных каплях после грозы и отбрасывающего шальные блики на стёкла. Это нехорошо, неприлично, опасно, чревато изнуряющей бессонницей, печалью на лице и непреодолимым желанием перемен!

Окно изнутри мягко подсвечено лампой с оранжевым абажуром, видны тени от кистей этого абажура, на занавеске проступает то женская тень, то мужская. Это окно как мягкая ладонь, просвечиваемая солнцем. Женская тень маленького роста: она широка и спокойна, как равнинная река в половодье, но и энергична, как река, дарящая свою воду всяким другим мелким руслам, которые пока что только журчащие ручейки по весне; но как знать, не все же хилые ручейки усыхают в знойное лето, некоторые успевают проложить, пробурить в податливой глинистой породе к этому времени свои новые маленькие русла, уже наполняемые другими звенящими ключами.

Мужская тень – полёт птицы, натыкающейся на стекло, но не разбивающейся, а пытающейся пробить эту невидимую ей стену снова и снова, чтобы вырваться из ответственного ей пространства.

Иногда за окном проступают обе тени, которые вдруг сближаются и сливаются в одну, чтобы потом отпрянуть...

«Что же это всё-таки за Дора такая? Забавно», – подумала Светлана и аккуратно поставила курсор на синий шриффт ссылки «<http://aisedora.livejournal.com/>».

<http://aisedora.livejournal.com/>

12 февраля 2005

Мужчина камень точит

А я не кремень. Вообще по православному календарю нынешняя неделя пасхальная, и соблазнам поддаваться нельзя, а я как-то поддалась. Но, во-первых, я не православная, а, во-вторых, я ведь и раньше об этом думала.

15 апреля 2005

Если бы моя бабулечка могла меня сегодня видеть, то она была бы очень довольна моим внешним видом – я выгляжу, как настоящая еврейская девочка, ну очень-очень скромно. Правда, линялые потёртые джинсы её бы не порадовали, как и символика панка на футболке, а в остальном я – прямо сама прилежность. Особенно она любит, когда я ничего не делаю с волосами, то есть не выпрямляю их, и они крутятся, как хотят и куда хотят. Странно, что я её вспоминаю часто, но не скучаю. Я думаю, что это одно и то же почти. Раньше она всегда заплетала мне две косички или укладывала одну косу короной, а я так ненавидела это. Это было каждое лето, когда мы приезжали с родителями в Норильск к ней. Я думаю, у меня и глаза-то растянулись таким образом. Что бабушка, что мама, они так туго всё время плели косички, что мои глаза просто растягивались на всё лицо, и вовсе они не большие, просто кожа так натягивалась!

Поэтому я так любила, когда мама уезжала на гастроли, и меня водили утром заплетать косы к соседке-уйгурке, которая просто наматывала мои волосы на ленты, и это всё распалось, едва я успевала дойти до школы; я не говорю уже о первой перемене, после

которой я прибежала на второй урок либо без фартука, либо с оторванными манжетами. А когда мы не успевали к соседке, то папа брался заплетать мои волосы: я просто ложилась ногами вверх на диван, головой вниз к полу, он собирал все волосы где-то на лбу – и это был весёлый конский хвост, который держался почти до обеда, и затылок совсем не болел! Я скучаю по тому времени, когда папа заплетал мне волосы; я чувствовала, что он любит меня, потому что просто старалась долгие годы держать это в памяти сердца и до сих пор держу!

20 апреля 2005

Вчера ночью сбился кошмар, преследующий меня с детства. Мои волосы после ванны должны были быть подвергнуты экзекуции по их выпрямлению феном и кучей всяких муссов. У меня есть такая странная расчёска, я закрутила её в волосы – и забыла. Когда, умирая от смеха, я стала её раскручивать, то раскрутить её уже не смогла! Это был такой ужас! Я старалась не паниковать, аккуратно распутывая, но ничего не помогло. Я вырывала, разматывала, мочила водой, ломала щетку; взяв огромный нож, пыталась её разрезать, но всё тщетно. У меня до сих пор пальцы болят, как я вырывала эти волосы. В результате пришлось резать – теперь у меня милая чёлка на макушке! Хорошо, что всё кончилось плохо, иначе я бы так и не поняла, что, наверно, кудряшки лучше! С головной болью легла спать. Мне так повезло, что у меня нет рядом соседей – и я могу слушать музыку в любое время суток, включая на полную громкость. Утром заставила себя улыбнуться, видя в зеркало мою чёлку на макушке, надела платье, чем поразила всех на работе.

5 мая 2005

Странная апатия. Много бегала и много чего делала, но проблема в том, что сделанного оказалось очень мало, и я опять не могу определить все важные и срочные дела. Встретить родителей обязательно! Не забыть связаться с бандой из Москвы – до понедельника! Раскидать вещи; убрать двор; помыть машину; купить всё, что сломалось; и, может быть, даже помыть окна (ненавижу окна!) – до вторника! Завтра определиться всё-таки с поездкой в Казань, но не очень-то хочется ехать. Договориться о встрече в Москве с Германом, Алексом и Виржинией. Не поругаться с мамой до отъезда! Оплатить счета за свет, телефон и отопление – завтра, прямо с утра! Я

НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА, И МНЕ ТОЖЕ НЕ ДОЛЖНЫ. Хочу спать. Сейчас всё брошу – и буду плохо спать, так как совесть-то не спит. Ну что же так всё складывается? Может, в ванне посидеть? У кого бы совета спросить? Позвоню Вовке, может, не спит? Если дрыхнет, то отругает и дальше спать будет.

8 мая 2005

Ура, у меня опять каникулы, я довольна, как ребенок! Всё так легко получается. Я ничем не расстроена, ни о чём не думаю, просто мне нравится жить! Солнце светит, пахнет орехами и корицей.

2 июня 2005

Я как-то просто убабрю темп жизни. Вчера мама сказала, что она только через десять лет начала понимать, с кем она живёт, а её брак поспешным назвать сложно. И Мишель сказал, что не надо всё открывать сразу, а надо постепенно, чтобы почувствовать вкус; не надо кидаться на мужчину, думая, что это последний шанс быть счастливой или хотя бы казаться себе таковой... Надо его влюблять в себя понемногу и не кокетничая; надо дозировать – но я-то оторви и брось! Уфффф, сложно как, ведь я же могу придумать выход! Только пока плохо вижу, что и куда надобно передвинуть и переместить, чтобы всё сложилось в правильную мозаику.

27 июня 2005

История одного дня, которой смог изменить жизни двух людей и замедлить ход вселенной

И началось всё в день, когда я была благодарна Богу.

28 июня 2005

На заметку тем, кто пускается в путешествие навстречу медведям и морозам (для сведений: у нас сейчас +34°C – и это обычная погода для этого времени года). Я за всю жизнь из Красноярска в Москву два раза ездила, но это было студенчество, и мне всё тогда было по плечу, а сейчас я капризная и с кучей претензий. Не покупай у бабушек ничего ни в коем случае: ни пирожков с котятами, ни картошки. Разговаривать с проводницами можно, но не обязательно; разговаривать с пассажирками нельзя, но ты всё равно будешь болтать... Если я тебя не встречаю, то звони мне, значит, я сплю, у меня же первый день отпуска будет. Никуда не уходи с вокзала и сообщи мне номер вагона!

Комментарий. Одиссей: *И с чего это ты взяла, что я с попутчицами буду болтать? Я спать буду. Долго и качественно. Проснись – а уже и Красноярск. Кипяток-то можно пить?*

7

Доре совсем не хотелось ехать в Казань. Так было хорошо и весело в Москве у подруги-сокурсницы. Подруга была помешана на обменных программах. Она и мужа себе во Франции нашла по объявлению, а вот у Доры почему-то не получается. Может, из-за её национальности? Она ведь тоже уже побывала и в Англии, и в Дании, и все вновь обретенные друзья перебивали у неё в Красноярске. Но вот почему-то никто в неё не влюблялся никогда по-настоящему. А она ведь искусством флирта овладела целиком и полностью, только не всегда его использовала, потому что не хотела. В неё были чуть-чуть влюблены двое недоразвитых коллег, на два года её моложе, совсем сопляки. Они её называли «Ёжик». Она нравилась Сашке, соседу по дому. А вот все эти Джеки, Скоты, Смиты и Чарльзы почему-то не хотели ничего серьёзного. Вовчика она любила, зная, что у них нет никакого будущего. Смит и Чарльз ей тоже очень нравились, но им почему-то не нужна была жена из заснеженной Сибири. Посмотреть страну снегов – это им интересно было, а чтобы навсегда связать свою судьбу с девочкой из страны больших сугробов?

Но она ведь не всегда жила в стране снежных заносов. Она здесь всего двенадцать лет. А раньше они жили в Чечено-Ингушетии, почти у Каспийского моря, а ещё раньше в Бурятии. А потом папа уехал в Таджикистан, к себе на родину, а мама вышла замуж за дядю Володю – и они переехали к нему в Красноярск. Мама туда летала на гастроли, где и заадрала дядю Володю. Мама у неё танцевала в ансамбле «танцев народов мира», а потом, когда ей стало уже тяжело выступать на сцене, стала вести кружок в «Доме детского творчества». С дядей Володей они родили двойняшек: братика и младшую сестричку.

ку. А так у неё ещё старшая сестра была. У сестры уже есть дочка Алиса. Ей пять лет. Но муж сестры в прошлом году погиб в автокатастрофе: гололёд был – его легковушку и повело... Сковырнулась под откос, а там дорогу новую строили, с КАМАЗом поцеловались. И сестра в ту катастрофу тоже попала, но выжила, а её муж через две недели умер в больнице от воспаления лёгких, но он ещё и покалечен сильно был. А сестра даже царапины не получила, только шок. До сих пор чёрная вся ходит, улыбаться перестала, будто губы парализовало. Сестре все говорят, что это хорошо, что умер, а то бы лежал пятнадцать лет «навытяжку»: что она с ним делала бы тогда? А сестра не слушает и плачет всё время. Ей даже фотографии показывать нельзя, где они все вместе. А близняшки ещё в школе учатся. У дяди Володи была своя фирма. Он торговал красной рыбой и икрой, ездил за ними во Владивосток. И ещё иногда катался в Китай за шмотками. А потом нашёл там молодую китайку и уехал в Китай навсегда. Эта китайка была дочь очень обеспеченных родителей, у них там дом огромный и дело своё.

А папа у Доры – научный сотрудник. Только она его уже четырнадцать лет не видела.

Последние три года Дора не жила с семьёй: снимала квартиру, она ведь работать начала сразу как только школу закончила. Сначала вкальвала в турбюро, потом в юридическом агентстве. Жить с родителями в таком возрасте уже тяжело. Своей жизни хочется. А одной хорошо: домой приходишь, когда захочешь; гуляешь, сколько душе угодно; можно и в клубы всякие ночные спокойно ходить, и музыку врубить на полную катушку, и друзей водить, сколько тебе ни пожелается.

В Казань же Дора должна была ехать с компанией друзей, к которым приехали ребята по обменной программе. Этим ребятам из Лондона надо было показать, где учился вождь пролетариата. Она сама вообще-то тоже Казань никогда не видела, но поехала из-за компании. Жить они должны были там у какого-то

преподавателя университета, компьютерщика, у него квартира трёхкомнатная «сталинка», в центре города, на откосе, с видом на Волгу, в наследство от деда досталась, который проректором был. Компьютерщик был тоже доктором наук, ему было под полтинник уже, а он всё играл в компьютерные игрушки с детьми. Родители у него умерли – отец давно, лет двадцать тому назад, а мама год тому назад, от рака. С женой он развёлся, так что был сейчас свободный и мог спокойно принимать всяких гостей по обменным программам.

Компьютерщик встретил их на вокзале. У него был старенький «УАЗ» (господи, кто же сейчас ездит на таких машинах, разве что только – по бездорожью вместо бульдозера!). На нём он и довёз их до своего дома.

А вид открывался – прямо дух захватило! Волга, а по реке – белоснежные теплоходы, медленно плывущие по синеве, как облака; остроносые ракеты и метеоры, проносящиеся, как белокрылые чайки; невзрачные баржи, сливающиеся размытой акварелью с туманной дымкой, поднимающейся от заспанной реки. У Доры вообще настроение было замечательное: каникулы, полная свобода, целое лето впереди.

Компьютерщик был очень высокий, сухощавый, у него с рукой что-то было, он её всё время под столом потом прятал; она была, как куриная лапка. И он ею почти не пользовался. Хорошо, что рука эта была левая. У него оказалась такая улыбка! Она словно откуда-то изнутри шла, как у Моны Лизы, и шутил он всё время.

Звали его Одиссей. Дора его тогда спросила, почему у него имя такое странное. Он ответил с какой-то горькой усмешкой: «А у меня родители большие оригиналы были. Хотели, наверное, чтобы я был повелителем – и вот обрекли на вечные скитания. Всё время бываю не там и не с теми».

Квартира у него была огромная, но какая-то вся очень захламлённая и запылённая. Обои были ещё советские, бумажные, с неприятным орнаментом, все выгоревшие и пожелтевшие. С потолка на тонень-

ких ниточках серой паутины, бегущих от проталин на побелке, спускалась осыпаящаяся штукатурка, напоминающая издали маленькие гирлянды из новогодних снежинок. В правом углу гостиной на потолке было огромное пятно, как... на пелёнке младенца. Пол был вроде паркетный, но весь настолько посеревший и почерневший, что местами напоминал доски в покосившемся заборе вокруг их дачи. Колонка и краны – то вообще раритет! Колонка механическая, а краны с широкими пеликаньими носами. И цвета такого же, как пеликаний клюв. А на стенках ванны – ржавые потёки, а на дне ванны – аж целое коричневое пятно, будто суп пригорелый, а местами ванна вообще протёрлась и зияла чёрным чугуном – будто земля показалась из-под грязного осевшего снега. Вода в раковину в ванной комнате из медного в зелёных окислах крана вообще не шла. Он, правда, сплёвывал ржавчину, будто кровь от выбитого зуба, если по нему постучать. Зато стояла стиральная машина. Новая! А унитаз был совсем архаический, со сливным бачком, который надо дёргать за верёвочку, а потом ещё залезать ногами на унитаз и поправлять поплавок в сливном бачке, чтобы унитаз не журчал недовольно. У её бабули тоже такой был. И плитка в ванной у раковины была отбита, а стенка заляпана цементом.

Книги и бумаги у Одиссея были везде, они были не только в шкафах, на столах и тумбочках, но просто лежали неопрятными стопками в мохнатом ворсе пыли на полу – и в коридоре, и во всех комнатах. Того и гляди разъедутся все эти пирамиды, особенно высившиеся на столах. И ещё кучи дисков всяких везде разбросаны. А так ничего себе квартирка. Даже уютно, мебель старинная. Аж патефон есть.

Вообще этот Одиссей был какой-то очень запущенный и одинокий. Дора к нему сразу почувствовала симпатию, а потом он оказался умным очень. Он что-то такое им рассказывал про сети, это уже потом, когда они и Кремль посмотрели, и как протяжно и печально звенит колокол послушали – с сердцем, дающим перебои, и даже в музей

Мусы Джалиля сходили. Она мало чего поняла из того, что он говорил, как и все остальные, но потом он стал показывать, как создаются компьютерные игрушки. Он их сам придумывает. И вот тут стало уже совсем интересно. Это же надо таким умным быть! Она всегда о таких мужчинах мечтала. И чтобы они глупели на её глазах. А потом он интеллигентный ещё очень был. Только она заметила, что он на коленки её голые смотрел несколько раз, но сразу глаза отводил, как только она его взгляд перехватывала.

А вечером они пошли на салют. Это совсем недалеко от его дома. Её тесно прижало в толпе к нему, так тесно, что она всей спиной и ягодицами чувствовала его мускулистую грудь, а потом он чуть-чуть, слегка, будто случайно, обнял её за плечи и спросил, заглядывая в глаза: «Здорово? Да?»

По звёздному небу то тут, то там оглушающе взрывались разноцветные кометы, рассыпаясь на десятки завораживающих своим диковинным звездопадом осколков, медленно спускающихся на землю по эллиптическим траекториям, напоминающим купол раскрывшегося парашюта, и гаснущих один за другим, не долетев до земли. Тихо таяли и неотвратно растворялись разноцветные эти звёзды, оставляя за собой светящиеся шлейфы, безмятежно выцветающие в скучный белёсый след, рассеивающийся невесомым дымком. Но уже взорвалась новая ракета – и снова весёлые цветные огоньки бежали наперегонки, будто по связке бикфордовых шнуров... Дора обернулась к Одиссею – и увидела, что хвостатые кометы отражаются в его глазах, и один глаз у него стал изумрудно-зелёный, как вода в аквариуме, а другой – светло-коричневый, как осенний лист; а потом один превратился в серо-голубой, как морской прибой, а другой – в жёлтый, как янтарь, впитавший в себя щедрый солнечный свет.

После какие-то квадратные мужики, пахнущие потом и сивухой, полезли напролом через толпу поближе к центральной площадке с памятником вождю и снова толкнули Дору к Одиссею. Теперь она уткнулась носом

в его впалую грудь, ощутив колючесть овечьей шерсти, массирующей её пылающую щеку пупырышками букле, и сладко вдыхала запах утреннего кофе вперемешку с каким-то чарующим французским ароматом, пугаясь предчувствия, что его правая рука замрёт в оцепенении у неё на талии, спрятанной под мешковатой курткой.

А разноцветные шары всё взрывались и взрывались, как пузырьки в шампанском, ударяя в голову: красный, зелёный, жёлтый, фиолетовый!

Жизнь прекрасна и удивительна. И – вся впереди! А ведь ещё вчера она не хотела ехать в этот старый захолустный город!

Она подняла глаза на Одиссея и снова увидела отражения этих взрывающихся разноцветных шаров. И почему-то подумала, что они похожи на новогодние шарики на ёлке и лампочки на гирлянде, которые то вспыхивают, то гаснут.

А потом поглядела на чёрные ветви тополя, росшего рядом. Листья его стали из чёрных тоже разноцветными, даже не листья ещё, а так... маленькие клейкие только что проклюнувшиеся листочки. Они тоже были похожи на лампочки в разноцветной ёлочной гирлянде и серебрились с изнанки, как новогодняя мишура, – голубым, зелёным, красным, оранжевым, жёлтым, фиолетовым; они словно светились изнутри каким-то внутренним свечением, как светлячки.

У Доры внутри тоже вспыхивали и мигали какие-то рождественские лампочки, рассыпаясь на сотни блестящих ослепляющих осколков, оседающих на донышке её души многокрасочной мишурой, которую потом захочется перебирать и рассматривать, чтобы ощутить ещё раз их цвет, в который раз причудливо их разбрасывая, как конфетти, а потом старательно сметая и собирая в одну кучку, боясь потерять даже один цветной кружок.

Но когда салют отгремел, темно почему-то не стало. Небо уходило в бесконечность, но вся набережная была подсвечена янтарным светом, который колебался, как

фитиль в старинных уличных фонарях; впереди катила спокойная чернильная река, по ней плыли все в ярких огнях, магнитом притягивающих взгляд, большие теплоходы. Было тепло, как летом, а она в Красноярске в это время ещё ходила в пуховике с капюшоном и песцовой шапке. А тут южный ветерок, ласкающий лицо, как мамина ладонь, и свобода! Свобода – реке ото льда; свобода – волосам (она даже не обращала внимания, что те на влажном ветру скрутились в жёсткие пружинки); голым коленкам (к чёрту джинсы!); голосу, который вместе с толпой издавал какие-то победные крики диких зверей и птиц; свобода от уроков, занятий, работы и родителей.

А потом они до утра гуляли по набережной, сидели в какой-то ночной стеклянной кафешке, из которой виднелась Волга, отражающая слезящиеся огни от проходящих теплоходов, маячившие костры на том берегу – как огоньки сигарет, что то разгорались, то гасли, – и мигающий влажным глазом бакен. Говорили много и шумно, перебивая друг друга, на двух языках. Каждый пытался сказать что-то своё, не слыша других. Английские ребята в основном интересовались перипетиями жизни в России, русских больше интересовала жизнь не здесь.

Оказалось, что Одиссей тоже очень хорошо знает английский, он учился в специализированной школе с углублённым знанием языка, а мама у него преподавала в инъязе, он два года работал в Бостоне по каким-то грантам, потом ещё часто ездил в Америку и Европу на разные конференции и симпозиумы. Это так здорово! Доре всегда хотелось поехать по миру! А её родители заставили оканчивать этот юридический факультет, говоря, что так она всегда будет при востребованной специальности.

Ах, если бы она была, скажем, балерина, или хотя бы танцовщица в каком-нибудь народном ансамбле – она тоже могла бы поехать по миру. Только надо было бы много и упорно работать. Она смогла бы. Она добилась бы своего! Ах, почему всегда наши родители знают лучше нас, что нам надо! Мама говорила, что она не хо-

чет для неё своей судьбы. А ей почему-то кажется, что это больше ревность к молодости с её возможностью успеть стать чем-то большим, чем стали они. А юрист – это хорошо, это стабильно... Никак не пересекаешься с жизненным пространством, которое облюбовали предки: в нём, пусть и не всегда, им было комфортно; без него они начинали задыхаться, как рыба, выброшенная на лёд.

А у неё начинается астма от всех этих судебных исков, вырастающих в пухлые тома, от этого нудного перечня имущества, что никак не разделят, и экспертных оценок материального ущерба, от всех этих скучных повесток и обвинительных актов, приносящих людям столько неприятностей. И всю жизнь ей придётся задыхаться. Может быть, она даже полюбит отведённое ей пространство, обживёт его, станет адвокатом, или пуще того – когда-нибудь будет вершить судьбы, надев чёрную блестящую мантию на плечи. Дора примеряла как-то раз такую, но ей пока в мантии неуютно, как неуютно и во всех тех костюмах и платьях, которые носят настоящие леди. То ли дело – джинсы, майка, кеды. «Сударыня, Вы – адвокат?» «Нет, я только учусь, я пока лишь юрисконсультант».

Зато она теперь может спокойно раза два в году путешествовать по приглашению своих друзей во всякие разные страны. Хорошо, что родители её водили с пяти лет на курсы английского и немецкого.

А на следующий день ребята сначала пошли по всяким соборам, а потом катались на трамвайчике по Волге.

Она сидела на палубе с Одиссеем, и ей было с ним так легко и спокойно, только он был уже какой-то мрачный и неразговорчивый. Ей захотелось, чтобы он её обнял, как тогда в праздничной толпе, но он почему-то спрятал не только левую, но и правую руку куда-то под сиденье. Она спросила его:

– Ты что, какой смурной? Расставаться жалко?

Он улыбнулся краешками губ, будто тень стирая с лица, и ответил:

– Ага.

– А ты приезжай к нам в Красноярск в отпуск, на даче у нас поживёшь, там хорошо: Енисей, лес. Порыбачишь, грибы пособираешь. Приезжай, я серьёзно приглашаю.

Он ничего не ответил. Опять только улыбнулся, растягивая пересохшие губы.

Улыбался он как папа. А глаза у него стали зелёные под цвет воды, и отражались в них блики, быстро сменяющие друг друга, как рябь воды за бортом. Глаза всё зеленели, становясь похожими на мигалки кота, загнанного под кровать, который вдруг почувствовал, что где-то за стеной усердно скребётся мышь.

А вечером они с бандой уезжали в Москву, а потом ей надо было лететь в Красноярск.

Шумно веселящейся толпой, на которую все оборачивались даже на вокзале, они погрузились в поезд – все переобнимались друг с другом на прощанье и расцеловались. Дора ощутила лёгкое его дуновение у себя на щеке, обняла за шею, чмокнула в колючую, будто мелкая наждачная бумага, щёку и повторила, заглядывая в опять потемневшие до черноты водоворота глаза: «Приезжай. Я буду ждать».

В поезде она спала плохо. Полночи ребята базарили и пили пиво, окутывающее весь плацкартный вагон запахом перестоявшей браги. А потом, когда уgomонились все, Дора лежала на узкой жёсткой полке, которая качалась так, как будто Дора плыла по волнам в каноэ, слушала монотонный стук колёс, будто рокот волн, с методичным упорством выбрасывающих гальку на берег, и купалась в блуждающих по полке равнодушных лучах встречных поездов и станций. Свет мелькал у неё на стене, охлаждал ей щёки и лоб, пропадал, появлялся снова, и она подумала, что так вот, наверное, будет вся жизнь: полоса светлая, полоса тёмная. Полосы бегут наперегонки, догоняя и обгоняя друг друга, тревожа или радуя предчувствием новой полосы. Сейчас в её жизни была полоса не только светлая, а вообще радужная, но будет ли так всегда? Нет, не будет. Она это знала уже. Но ведь в её силах моделировать свою жизнь. Менять её вкус, густо лить цветные

краски и распылять тонкие ароматы... Как весело стучат колёса, словно барабанные палочки выбивают чётку. Жизнь прекрасна и удивительна! И ещё целая неделя у неё в Москве!

В престольной всё было тоже замечательно. Дора снова ходила по друзьям, кафе и магазинам, гуляла по столице и даже договорилась с Джеком, что осенью приедет к нему в Лондон. Она почти не вспоминала Одиссея среди всей этой круговерти. Разве иногда по ночам всплывало его грустно улыбающееся лицо, будто растерянно пытающееся припомнить что-то почти совсем забытое, но, как оказалось, бережно хранимое на доннышке колодца памяти под застоявшейся водой; да ещё её старенькое верблюжье одеяло вдруг начинало пахнуть овечьей шерстью его пуловера крупной домашней вязки.

8

А в Красноярске началась весна. Льды медленно плыли по Енисею, то и дело пришвартовываясь друг к другу, сталкиваясь обломанными и быстро оплывающими слепящими боками, не в силах поделить течение реки, группируясь в километровые ледяные заторы и нехотя разбегаясь в разные стороны, освобождая серую, как подснежник, проталину воды, в которую смотрелось день ото дня смелеющее солнце. По тротуарам наперегонки бежали полноводные ручьи, весело звеня и унося с собой прошлогодний мусор, будто кораблики, заботливо сложенные детской рукой. Под крышами стало страшно ходить: с них свисали такие огромные сосульки, что оборвись они – останется о тебе лишь воспоминание. Дора ещё помнит случай, который произошёл у них два года назад. Целая ледяная крыша в мгновение сорвалась, накрыв с головами четырёх прохожих.

Весна всегда мучила нестерпимо. С весной приходила маета, желание перемен, в погоне за которыми хотелось

сорваться в лёгком беге молодого тела и лететь навстречу счастью, лоя свежий ветер оттаявших снегов, дувший с Енисея. Он был уже совсем не холодный, а пьянящий какой-то, как сухое холодное шампанское, пузырьками удаляющее в голову. А она и жила уже в каком-то внутреннем чаду, для него не было пока ну никаких оснований, просто очень хотелось любви и изменений в своей жизни, которая снова вернулась в давно наезженную колею, когда Дора по восемь часов в день разбирала всякие бумажки с жалобами и судебными исками.

И где ж их взять, перемены-то? У Наташки вон уже ребёнку четыре года, Людка и Машка с год как замуж выскочили, Машка тоже уже ребёнка ждёт. Мальчик у неё будет. Анжела – та вообще в Мюнхен к своему Генриху уехала. И только она одна. Нет, она не одна, конечно, у неё есть Вовка, но это – не на всю жизнь. Хочется чего-то большего и интересного. С Вовкой, конечно, будет всё стабильно, и пить он не будет, и гулять не будет, и деньги будет приносить, но скучно всё как-то... А потом он такой... Утром после последнего экзамена начал будить её в восемь, чтобы она ему завтрак готовила!

В один из вечеров, когда уже сошли все закопчённые снега, трава ещё не проклюнулась, но земля набухла, пахла прошлогодней прелой листвой и повсюду в садах сжигали прошлогодние листья; когда ветки ещё торчали чёрными прутьями и рисунок их теней был чёток, но на них уже заметно набухали почки; когда уже начали открывать первые окна и балконные двери, а Доре было почему-то так одиноко и грустно, она послала Одиссею по электронной почте маленькое письмо:

«Привет! У нас уже тоже весна, скоро появятся листья и трава, а потом и ягоды, и цветы. А осенью я поеду в Лондон. Всё время вспоминаю свой приезд в Казань. Ты помнишь, что обещал приехать? Я покажу тебе белых медведей... или бурых хотя бы. Я скучаю по тебе. Очень. Очень».

Она будет решительна. Надо уметь от жизни брать всё. Хватит этого севера, этой пристальной матушкиной опеки... Вперёд – в новые города и неизведанные страны!

Человеку свойственно совершать иногда непредсказуемые поступки. Если бы ему сказали полгода назад, что он отправится в это сомнительное путешествие к еврейской девочке по имени Дора, которая лишь чуть старше его дочери, а по возрасту могла бы быть и его ребёнком, женись он рано, он бы пожал плечами, покачал головой и сказал, что это приближается почти к невозможному: «Он педагог, а не педофил...»

Он женился в 29 лет, к этому времени большинство его ровесников успели обзавестись маленькими существами, в чём-то уже чуть-чуть похожими на них. По своей природе он был интеллигентен и робок. Вокруг него все годы учёбы и работы было полно красивых и умных девушек. Он, конечно, выделял из разноцветной клумбы отдельные создания, но как-то про себя... Внешне он даже боялся, что его интерес заметят: осудят, осмеют или ещё того хуже – будут ревновать друг к дружке. Он очень стеснялся своей руки, повреждённой ещё при родовой травме. Ему всегда казалось, что женщины видят только эту руку, а не душу. Ему казалось, что она пугает его сокурсниц и молодых коллег, и они специально отводят от неё глаза, так как боятся её видеть. Отчасти из-за этого он опасался сближаться с теми, кто ему нравился и без которых день обесцвечивался, будто при титровании в аналитической химии: эти реакции ему всегда очень нравилось наблюдать. Так и жил в маске, старательно пряча под ней желание иметь подругу рядом с собой в жизни, с которой бы пересеклись навсегда, а не касались, боясь соприкоснуться даже дыханием... Он инстинктивно, опасаясь боли, старался обходить женщин стороной, хотя природа брала своё – и он чувствовал, что этот круг монашеского затворничества надо разрывать. Потом ему всегда хотелось иметь рядом с собой не только красивую женщину, но и умную. Красивую – это, наверное, больше не для себя, а для чужих взглядов, чтоб никто не видел его скукоженную руку, а если и видели, то всё равно завидовали тому,

какая яркая у него женщина. А умную – это уже для себя, он себя уютно чувствовал только с умной, когда можно было понимать друг друга с полуслова. Это неправда, что мужчины не любят умных женщин, ему только с умными и интересно было. Не любят те, кто боится, что им придётся вставать на цыпочки. А жить хочется в стоптанных домашних тапочках.

Женился он быстро, скоропалительно даже. Они познакомились в поезде по дороге с юга. Будущая жена была его коллега, но работала учительницей в городе Коломне. Отец у неё был заведующим горно, а мама завучем. Жена его не была красива классической красотой, но она была вызывающе яркая. Огненная. У неё были огненно-рыжие волосы. Наверное, он и запутался в их медном отливе, пахнущем раскрывшимся пионом. Теперь он терпеть не может пионы: расхристанные, с незаметно увядающими лепестками, но хитро не осыпающиеся – до момента, когда их попытаешься сорвать. А там раз – и нету пышной шапки. Одна лишь голая зелёная головка завязи. Запутался в её огненных волосах, утонул в её лисьих зелёных глазах. Полыхнул – и сгорел. Что толку бродить по пепелищу. Она потом приехала к нему в Казань на неделю, и они даже катались на отцовском УАЗике к нему на дачу. Нет, она не была умной женщиной, но она не видела его руку, не замечала. Он мог спокойно распушить хвост, как павлин, не опасаясь женских подначек, иногда похожих на острые булавки, которые он давно перестал чувствовать. Позднее она сказала ему, что ей было очень одиноко и никакой выход из одиночества не светил ей даже тусклым фонариком в их плоском городке, где полгорода знали друг друга в лицо.

Вскоре она позвонила ему и сказала, что у них будет ребёнок. Он бросил работу в университете, умирающего от инсульта отца, благо тот его понимал всегда и понял на этот раз, и уехал учительствовать в Коломну. Произошло всё стремительно, и он уже удивлялся, что женат, что его жена ждёт девочку и что работает он школьным учителем в маленьком провинциальном городишке.

Жили они поначалу неплохо. Родилась девочка, Даша, в которой он души не чаял и не чаёт до сих пор. Первые два

года они вместе с женой сидели над кроваткой ребёнка, он варил всякие каши и смеси, стирал пелёнки и пеленал хуленькое тельце.

Потом девочка долго оставалась дома либо с ним, либо с тётцей. Жена жила какой-то своей отдельной жизнью с многочисленными визгливыми подружками, частыми вечеринками, с которых она возвращалась почти всегда под утро, с безалаберными туристическими вылазками на уик-энд со старыми друзьями. Он приходил из школы, молча готовил ужин, кормил Дашу, читал ей или играл с ней, а затем пропадал в виртуальной реальности, сначала просто плутая в лабиринте сайтов, а затем всё больше увлекаясь организацией компьютерных сетей и задумками приспособить их для детских развивающих игрушек.

В сущности, он понимал жену. Он тоже задышался в маленькой Коломне, где всё как на ладони: одни и те же люди и на работе, и дома. Ему тоже всё чаще хотелось сорваться куда-нибудь. Он и срывался: в Москву, в библиотеку делать диссертацию, на детские слёты и викторины, на редкие конференции с докладами по компьютерным развивающим играм для детей, которыми не на шутку увлёкся.

Затем у них начались бесконечные ссоры из-за денег. Зарплата учителей еле позволяла сводить концы с концами, хотя преподавали они в лучшем в городе элитарном лицее. Жену выводило из себя, что он тратился на книги, диски, карты памяти, которые ему чаще всего были просто необходимы для работы. Жена хотела, чтобы он жил с ней, а не в сети, наверное... Она несколько раз просила его заняться репетиторством, это должно было дать немалый доход. Его же на этот приработок не хватало никак: работа над диссертацией и «игрушками» съедала всё время, но не давала никакого привеска к зарплате. Жена стала заниматься репетиторством сама. Однажды он с изумлением узнал, что она получает кругленькие суммы в плотных конвертах от родителей нерадивых учеников. Это было для него потрясением. Да, конечно, ученики были лоботрясы, но... Он чувствовал, что стал раздражать своим неумением заработать тестя и тётцу, которые отстёгивали

своей дочери энную сумму из своей зарплаты, покупали Даше вещи и отправляли её в пионерлагерь, а жену в турпоездку или санаторий. Нет, они никогда не упрекали его, они знали обстановку в школе, они просто думали, что их единственная дочь была, наверно, достойна лучшей судьбы, чем мужа, живущего в виртуальной реальности.

Лучшая судьба вдруг нашлась. Эту судьбу даже не думали от него скрывать. Только раньше, если из дома жена уходила и уезжала, когда хотела, то теперь и приходила, когда хотела. На его осторожные слова: «Ты думаешь, я не понимаю, что у тебя кто-то есть?», ему честно ответили, подняв на него незамутнённые глаза: «Я живу в реальном мире, не в виртуальном. Мне мужчина нужен, опора, стена и добытчик».

В Казани заболела его мама, рак был неоперабелен. Он перебрался в Казань в остающуюся сталинскую квартиру на откосе – полтора года прожил с мамой, вернулся в госуниверситет и, наконец, защитил кандидатскую. Докторскую он защитил три года спустя после кандидатской, когда ему уже выдали свидетельство о разводе, а мама умерла. Умерла она стойчески, почти совсем его не измучив. До самого последнего дня держалась на своих варикозных ногах. Только таяла на глазах, становясь жёлтой, как запечённое яблоко, и плакала втихомолку. Он знал, что она плакала в подушку, сдерживая своё сбивающееся дыхание, по её покрасневшим конъюнктивитным глазам, испещрённым красноватыми прожилками; впадинам синяков под глазами, напоминавшим маленькие лужицы от женских каблучков, образовавшиеся на подтаивающем тротуаре по весне; лиловым обмётанным губам, подрагивающим, как крылья высушенной бабочки, наколотой на булавку. И болей у неё почти не было. Только две последние недели кололи ей морфий. Сначала он вызывал «скорую», потом договорился со знакомым врачом, что будет делать уколы сам. Искал синенький ручеек её вены, когда она начинала часто-часто моргать и кусать запёкшиеся губы, покрытые коричневой коростой и белой слизью, похожей на непрожёванный творог. Последнюю неделю она ослабела настолько, что до туалета добиралась по стеноч-

ке. Прилипала, как тень, к стене, и передвигалась маленькими бесшумными шажками. Уже сама смерть, уже не здесь...

В последний день мама попросила его нагнуться и погладила по голове. Он задохнулся от кислого запаха немытого, когда-то пахнущего молоком, пирогами, цветочными духами, а теперь угасающего тела; оторвался от её груди, выбежал из комнаты, и слёзы горохом посыпались у него из глаз. Как человек всё же слаб, беспомощен и одинок! И никто, даже родная кровь и плоть, не могут разделить его одиночество. Отец вот даже умер без него. Он приехал, когда тот уже лежал на столе. У него до сих пор болит то место, где мама встрепала, а потом погладила вихры у него на макушке.

Больше всего он тосковал после развода от разлуки с Дашей. Она была папина дочка. Талантливая девочка, побеждающая в школьных городских викторинах по всем предметам. Она поступила в МГУ на журналистский факультет, чем он страшно гордился, не понимая, откуда у неё эти способности и как так всё срослось. Даша подрабатывала в рекламной газете и ещё занималась компьютерной графикой, делая рекламные проспекты и веб-страницы по вечерам; компьютерный дизайн тоже давал ей дополнительный заработок. Обеспечить московский уровень жизни своему ребёнку он не мог, отчего постоянно испытывал чувство вины. Даша в семнадцать лет выскочила замуж за какого-то будущего журналиста с четвёртого курса того же МГУ, будущий журналист был родом из Тулы, имел фамилию Шереметьев и величал себя графом. Ребята жили в общежитии МГУ. Одиссеей с женой дали согласие на регистрацию этого брака, с одной стороны, помня своё затянувшееся безбрачие и комплексы, с другой стороны, понимая, что молодёжь теперь другая и торопится быть счастливой, дети всё равно будут жить вместе или ещё с кем-то, что с печатью, что без...

После смерти мамы он оказался в этом мире как бы один, в пустоте, в вакууме, по законам физики в этот вакуум должно было втянуть первого попавшегося на его пути, но законы физики вдруг перестали работать.

Он знал, что возмужал, изменился, оперился и похорошел, приобрёл опыт, и теперь многие женщины находят в нём шарм; немало было таких женщин даже среди его коллег или тех, с кем приходилось встречаться на конференциях, ставших теперь многочисленными. Он сделался раскован, свободен не только внутренне, но и в общении, был остроумен. Он чувствовал, что некоторые из его знакомых женщин приглядываются к нему как к потенциальному мужу, но теперь он почему-то пугался этого. Он по-прежнему стеснялся своей руки и инстинктивно прятал её под стол, но рука его теперь уже не удерживала от близости с женщиной.

У него было несколько подруг, но отношения с ними носили необременительный характер, и он уже подумывал, что образ жизни холостяка – это наиболее благоразумно и безболезненно при его маленькой зарплате, увлечённости работой и путешествиями, возможность и прелесть которых он открыл для себя в последнее время. Казань стала открытым городом, в город стали пускать иностранцев, а обладание трёхкомнатной полнометражной квартирой в центре города наряду с хорошим знанием английского давало ему неоспоримое преимущество для активного участия в обменных программах. Он стал принимать у себя ребят из зарубежных стран, а сам получил возможность сопровождать группу студентов по обмену в дальнее зарубежье.

Кроме того, почти круглосуточное сидение на сайтах с поисковыми программами, активное участие в дебатах по организации этих сайтов, сделали его завсегдатаем во многих зарубежных интеллектуальных клубах, он приобрёл даже международную известность в определённых кругах, его стали приглашать на интернациональные симпозиумы и конференции, жизнь приобрела новую окраску, в которой не было места полутонам, а все тени стали резкими.

Он и на Енисей, пожалуй, рванул просто с целью посмотреть Сибирь, с желанием просто оттянуться, оторваться от работы и от виртуальной реальности.

Его, пожалуй, ничем особо не зацепила эта еврейская девочка, к которой он ехал. Она, конечно, была не глупа,

знала языки, утверждала, что целеустремлённа. Их сближало желание поехать и посмотреть мир, но он плохо понимал это поколение, которому надо было всё и сразу, которое готово было идти на таран любых бетонных стен, пользуясь своей молодостью; оно пугало своим умением не рефлексировать, чего у него самого никогда не получалось. Он фактически каждый день видел таких девочек у себя в университете. Среди них были, конечно, и тихие отличницы, совершенно домашние создания, но большей частью – вот те, что со смехом вваливались на занятия, когда он уже вовсю читал лекцию, обдавали его шлейфом французских духов, который должен бы тянуться за воланами и оборками длинных летящих юбок, но вот почему-то витал вокруг голого, вылезавшего из стретч-джинсов живота с грязным пупком посередине. Некоторые даже разрисовывали этот пупок диковинными, нынче столь модными, картинками. Его Даша была более романтической девочкой.

Его удивляло и то, с какой лёгкостью эти девицы меняли молодых людей. Многие из них жили третьим, четвёртым, как это сейчас называется, «гражданским браком», просто объединяясь на одной съёмной квартире с очередным молодым человеком или приводя к папе с мамой на два-три месяца очередного бой-френда, которого родители должны были ещё и кормить.

Позвала – и сорвался в охмеляющем полёте, забыв про возраст. Насмотрелся присланных фотографий, красот. Если бы не было всех этих электронных почт, [«vkontakte.ru»](http://vkontakte.ru), [«odnoclassniki.ru»](http://odnoclassniki.ru), [«vspomni.ru»](http://vspomni.ru), [«mirtesen.ru»](http://mirtesen.ru) разве получилось бы так быстро его уговорить поехать? Пока письмо дойдёт... А там глядишь – и интерес угас, как свеча, накрытая колпаком.

А потом, раз зовут ещё молодые, значит, ты ещё молод душой. Можно окунуться с головой в их юность, не помня про возраст, вскочить в вагон на подножку уже уходящего поезда, который всё набирает и набирает скорость. Вот он и вскочил, и рванул назад в свою провороненную молодость. Нет, это неправда, что можно вернуться. Если бы нас можно было бы свести с нами теми, какими мы были

20-30 лет назад, мы едва ли узнали бы и поняли бы друг друга...

Он ехал, устроившись на верхней полке, смотря на пробегающие мимо перелески и воду, блеснувшую то там, то здесь в озерцах и речушках, отражающую полёт облаков, мчавшихся, как и он, в неизвестность, навстречу другой и, должно быть, более счастливой полосе жизни. Розовый свет заката скользил по вершушкам пробегающих мимо корабельных сосен, убегаящих высоко в синеву; цеплялся, запутывался в их глубоких мохнатых кронах и оставался позади; но впереди из-за очередного бугра выныривали новые сосны, уходящие в поднебесье, и розовый свет, становясь всё сочнее и тревожнее, скользил, играя, уже по ним. В его ли возрасте смотреть на жизнь сквозь розовый свет, даже, если это свет солнца, покотившегося на запад, чтобы через час упасть в плотную серую пелену на горизонте – и пропасть, уступив место другому, холодному и безжизненному светилу?

10

Дора до последнего дня не верила, что Одиссей согласится отправиться к ней в гости. Она бомбардировала его письмами и фотографиями. Говорила, что грустит и скучает. Она не могла пока ещё дать ясного отчёта себе, почему ей так хочется, чтобы приехал это длинный компьютерщик, похожий на одноногого аиста, только аист этот поджимал не ногу, а левое крыло...

Приехал всё-таки! Неделя пролетела – как в карусели, всё вокруг крутилось, вертелось, несло куда-то наперегонки, всё убыстряя и убыстряя ход размеренных событий... Она показывала ему город, они катались на катере, рыбачили, собирали грибы и говорили.

Говорили ни о чём. Она знала за собой эту манеру подкалывать мужчин, которые отвечали ей тем же. Как сражение на рыцарском турнире, как игра в фехтование. Кто изящнее сделает выпад и ловчее отобьёт выпад другого.

Сначала они жили в Красноярске, где она познакомила его с друзьями и семьёй. Она поняла, что он понравился матери, но – как человек, интеллигентный, мягкий, порядочный, очень умный. Она не увидела в нём зятя.

Пётр обрывал мобильник – она сменила сим-карту, забросив старую на полку книжного шкафа обрастать пылью, а пыль эту несло с расплавленной 35-градусной жарой улицы.

Он заглядывал сверху вниз в её глаза, она смеялась и трогала обгрызенными ногтями его морщины, бегущие, как солнечные лучики.

Потом они поехали к ним на дачу. В воздухе стоял одуряющий запах земляники, им пропиталось всё. Идёшь по некошеной траве, а голова кружится от счастья и этого земляничного запаха. Нагнёшься – а там, только садись на корточки и собирай: не сходя с места, наберёшь полное лукошко. Но она уже и не наклонялась совсем. Нагибался он, складывал букетик из кустиков, усыпанных блестящими красными ягодами, среди которых терялись один-два нежно-белых соцветия с жёлтой пуховкой посередине, и подносил ей: «Позвольте, сударыня».

А как волшебю ваяться на некошеной траве, ловить дуновенье ветерка всей шёлковой кожей, чувствовать, как волосы треплет ветер, закрывая ими воспалённые от солнца и воды глаза! Можно смотреть сквозь волосы на полёт облаков, тогда всё небо становится в чёрных неровных полосах, сквозь которые скользят облака, ежеминутно меняя свои причудливые очертания. Вот и жизнь так, наверное. Полоса тёмная, полоса светлая, но тёмные полосы тонки и только наслаиваются на голубое небо, на котором два разрозненных облака – одно вытянутое, а другое, кругленькое, как пампушка, – медленно сливаются в одно и дальше плывут уже как одно большое единое и неразделимое облако.

Так и в жизни, наверное. Вот только что не знал человека, не любил и не собирался любить, а вдруг налетел ветер, всё перепутал, и теперь боишься уже человека потерять и не представляешь, что дальше делать со своей жизнью.

И этот лунный свет, когда луна заглядывает в окно, как надраенная сковородка, на которой бабушка пекла блины. Луна такая большая, что занимает пол-окошка. Даже как-то нереально, что луна бывает такой большой. Весь пол около кровати устелен тенями веток с маленькими завязавшимися яблочками, которые купаются в этом лунном, завораживающем сказочном свете, качаются от лёгкого дуновения ветерка, а тени двух яблочек вдруг сливаются неожиданно в одну.

Вот на ветки на полу вдруг наползает большое облако тени, но луна по-прежнему нахально и гипнотизирующе смотрит в окно. А вот уже лунный свет, столь пристально заглядывающий в глаза, закрывает тёплая мужская ладонь. «Ну что ты? Ты боишься меня?» Нет, она ничего не боится, она сама так всё придумала и захотела, а холодный лунный свет тут ни при чём.

<http://aisedora.livejournal.com/>

25 июля 2005

Запуталась. Вчера всё казалось более-менее понятным, и была какая-то уверенность в том, что я правильно всё делаю. Ночью не удалось уснуть опять. В три часа позвонила Людка, и мы с ней и Колькой по параллельному телефону болтали два часа о моих планах на жизнь, о том, как мои самые близкие друзья видят того, кто появился в моей жизни и будет в будущем рядом со мной. Колян предложил остаться холостячком вместе с ним (правда, наверное, чтоб с ним остаться, придётся сменить пол...).

27 июля 2005

Я сегодня пряма и принципиальна! Буду еще прямее!

Комментарий. Пётр: *Пряма и принципиальна? А может, злопамятна и зла?*

28 июля 2005

Я знаю, что я очень сильная и многое могу пережить, но почему трезвые суждения или попытки здраво мыслить принимают за жестокость? Возможно, я слишком сильная для этого мира, чтобы меня с радостью

принимали в нём? А может, я и вправду так жестока, строга к другим и непростительно самодовольна? Когда я слышу в трубку надрывный голос дорогого мне человека, я ужасаюсь от того, каким уродом видят меня близкие мне люди, не просто уродом, а настоящим монстром. Вдруг пожалела, что нет сейчас пианино ни в доме родителей, ни там, где я живу... Да и смогу ли я вспомнить и сыграть что-нибудь?

26 августа 2005

Уставшая, вернулась домой, а тут опять Сашуля: «Прикрой меня, скажи, что я ещё с тобой гуляю, если Вовка будет спрашивать». Ох, а ещё говорят, что женщины паутины плетут!

5 сентября 2005

Я живу здесь с августа. Здесь хорошо и тихо. Недалеко от работы. Часто возвращаюсь одна часа в три ночи, и никогда даже никто не приставал. У нас очень спокойно, несмотря на то, что это не спальный район. Здесь коттеджи и старенькие деревянные домики, а рядом лес и сосновый бор.

5 ноября 2005

Иногда думаю, что переехать в Израиль – это было бы чудесно. У меня есть родственники там, и не одни только родственники.

15 декабря 2005

Мой английский стал слаб, как же я буду общаться в Англии? Через пару недель, если дадут визу, я буду жить несколько месяцев по обменной программе у знакомых в Ирландии.

Дальше записи обрывались почти на полгода. Светлана зашла на сайт, на котором Одиссей хранил свои фотографии, и поняла, что полгода тот жил в Атланте у океана. Океан уходил далеко за горизонт, оставляя блестящую, словно рыба чешуя, дорожку на своей поверхности, по которой можно было долго бежать в неизвестность на самый краешек земли. Океан катался у ног Одиссея, завораживал драгоценной бирюзой, впи-

тавшей в себя столетия, манил, чаруя вздымающимися гребнями волн, белёсыми, точно снег на вершинах гор, в них можно было шагнуть шутя и раствориться без остатка воспоминаний о прожитой жизни. Набегающая волна накрывала с головой, а потом с шумом, быстро, не давая опомниться, поднимала на пенящийся гребень, а затем снова кидала в пропасть – и ты, давно потеряв дно под ногами, переставал видеть и бесконечную синеву неба, и размытую кромку горизонта, что становилась будто нарисованная детской рукой акварель. Одна лишь океанская вода, изумрудная и полупрозрачная, которая кидала тебя лицом так, что ты мог видеть, как в батискафе, причудливые очертания водорослей и придонных рыб. Так и в жизни, наверное, нам видны лишь смутные силуэты нашего будущего – и никогда не знаешь, когда и куда вынесет тебя на берег. Он подумал, что зря, наверное, родители назвали его Одиссеем. У него не было Пенелопы. Были лишь гигантские сети Интернета, в которые он безмятежно попал ещё в юности, когда всё ещё только начиналось; это в этом океане звучал уводящий и чарующий голос сирен, увлекающий его в завораживающие полёты фантазии, которые реализовались потом в детских игрушках. Тысячи подростков инсталлировали их на свои компьютеры и вслед за учителем отправлялись бороздить океан Интернета.

<http://aisedora.livejournal.com/>

21 апреля 2006

Счастье – это босиком по коровьему дерьму перед сном.

22 апреля 2006

Привет, Пётр! Я вернулась месяц назад из Ирландии. Была в Москве, сейчас работаю в Казани. На работе сегодня до 21.

25 апреля 2006

Могут ли почти незнакомые тебе люди признаваться в любви или сильных симпатиях? Допустимо ли это, если у тебя уже есть «серьёз-

ные» отношения, ведущие к браку? Как можно реагировать на это? «Ты самая лучшая, я просто хотел сказать тебе и сказал, и не бери в голову, я знаю, что ты не одна. Ты мне близкий и любимый человек». А ведь я всё равно одна, и никто не сможет этой пустоты заполнить. Это другое пространство, а не пустота сердца. Как можно вот так запросто бросить такое и повесить трубку с чувством выполненного долга? Какое люди имеют право давать повод поверить в сказку? Ведь я и любила, зная, что будущего не будет с тем человеком.

5 мая 2006

Как страшно ЖИТЬ!

Ну вот, дождались! Всё полетело к чертям собачьим...

Мало того, что вчера вырулила из офиса на два часа позже положенного из-за незапланированной беседы и пропустила спектакль театра теней. Ещё и это!

...И вот, я кормлю пятками комаров, спустив ноги в открытое окно, распахнутое на самый красивый вид в Казани на Волгу; дегустирую самарский шоколад с кофе, пытаюсь выяснить, чем же он лучше всех остальных российских подобных продуктов; жду, что сейчас ванна наберётся – и я сниму дневной стресс. Тут хлопок! Страх, паника... Вбегаю в кухню, с разбегу выворачиваю все рычаги в колонке, перекрываю газ и пулей вылетаю обратно из кухни – страшшшно! Судорожно думаю: вроде сделала всё, как надо, но откуда-то дым валит, и стрекочет что-то... Стою, не знаю, кому звонить. Хозяину на мобильный дозвониться не могу; телефонов никаких не знаю, соседей – тоже; никогда и плитой-то газовой не пользовалась, а здесь газовая колонка. Стою, чуть не плачу, одна в городе в чрезвычайной ситуации.

Замерев в ужасе в комнате, вижу: вода бежит по коридору. Переборолла страх, зашла на кухню – и поняла, откуда шум. Вырвало трубу! Нашла вентиль трубы, идущей к колонке, закрыла его и стала воду выгребать. До трёх ночи боялась, что затопила соседей, и вот вот они придут, но миновало, а утром в 7:30 разбудил слесарь. Я его слёзно просила прийти и помочь. Он уже со мной познакомился месяц назад, когда хозяин квартиры распаял колонку и уехал в командировку, как у него водится, а я осталась одна и без горячей воды – вызвала слесаря и выслушала, что позорно механическую колонку в наше время иметь, и уж больно часто именно у нас она перегорает. И все мои отмазки, что, мол, не я хозяйка, да случайно так вышло, не возымели никакой милости. А тут опять деваться неку-

да. Вот я его и вызвонила в двенадцать часов вечера, умоляя навестить меня спозаранку! Он всё устроил, но на халяву, и строго так сказал, что надо вызывать газовщиков и ставить автоматическую газовую колонку. Словом, на работу я пришла к девяти часам, и имею право покинуть нашу корпорацию только после 18 часов, а, значит, в кино опять не успею. Как страшно ЖИТЬ!

15 мая 2006

Завтра я пойду на спектакль группы современного танца, прибывшей из Нидерландов, – и уж оттянусь по полной программе! Буду танцевать по дороге домой!

1 июня 2006

Целый день провела с Мишелем, моим другом. Весь день ходили по магазинам, по большей части – для меня, но Мишель, как всегда, всё скупал. Затем мы начинали драться, кто возьмёт ту или иную вещь, поскольку вкусы у нас совпадают, а размеры – не во всем: ну, футболки мы можем одинаковые носить – и всё, так как он высокий (191 см). Сбегала поменять деньги. Ужас! Родители, наверно, не знают, какой у нас курс доллара здесь, и на билеты нам денег явно не хватит.

30 июня 2006

Дорогие, любимые, родненькие, не дайте ни за что ни про что сгинуть душе невинной

Сами мы не местные... Короче, телика у нас нет. До этого кое-как да кое-где смотрели чемпионат, а сейчас не можем совсем. **Не могу же я пропустить матч «Бразилия-Франция»!** Вчера слонялись по кафе недалеко от дома, искали какую-нибудь забегаловку с теликом до часу ночи, которая завтра работает, и не нашли! Как же мы будем смотреть матч? Подскажите, где можно посмотреть футбол? В крайнем случае, можете пригласить нас к себе, просто матч поздновато начинается, в 23 часа. Пиво и сухарики прилагаются вместе с нами.

1 июля 2006

Сейчас осенний, дождливый день, всё хорошо, только я не по погоде одета опять. Хочется пить горький кофе и сидеть у любимого на коленках, обниматься и долго нежно целоваться, прерываясь на глотки кофе, одного на двоих.

1 сентября 2006

Вдруг подумалось: у меня есть всё:

- Покой на сердце.
- Знание жизни.
- Любимый и любящий человек, близкая душа рядышком.
- Семья моих родителей.
- Роскошная осень.

15 сентября 2006

Думы о работе

Скоро не останется в этом городе работодателей, достойных тебя. А чего ты ждала? Объявления **«Примем на работу гордую, с чувством собственного достоинства, спесивую брюнетку»**, вывешенного на всех столбах и страницах Интернета?

20 сентября 2006

Ведь я с 17 лет официально работаю, а сейчас вот не могу работу найти. Мне нужно устроиться именно юристом, чтобы шёл стаж. Своё дело дорого, да и рынок, в принципе, уже охвачен.

25 сентября 2006

Посмотрела **«Мечтатели»**. Не знаю, хочу ли наркотиков после него или нет, хочу иметь неупорядоченную жизнь или нет, хочу заплести дреды или нет? Раньше я хоть могла определённо сказать словами Ренаты Литвиновой из **«А мне не больно»: «А я хочу пить, курить и шляться»**.

6 октября 2006

Подскажите, где в Казани можно купить туфли для танцев, с твёрдым носком и небольшим устойчивым каблуком, или на шнурках, или с крепкой пряжкой, чтоб нипочём не слетели. Может, какой народный ансамбль продаст мне недорого? Мне для занятий надо.

22 октября 2006

Стырили, гады!

Перчаточки мои любимые стырили! Стырили, стырили, стырили! Замшевые, красненькие, на меху искусственном, они два года со мной путешествовали, а тут взяли – и в Универе стырили! Как же я

теперь: в командировку – и без перчаток? А как мне там руки будут целовать?

28 ноября 2006

Ты становишься мягче как-то, и меня это радует.

12

Как странно мы устроены... Если бы Одиссею год тому назад сказали, что он поселит у себя в своей квартире девочку, что чуть старше его дочери, совсем не в его вкусе (ему нравились домашние девочки и женщины, про которых говорили, что в них есть «тонкость»), девочку, что несла в себе кровь народов Иудеи и росла в многодетной семье с цепкостью сорняка, готового пустить корни там, где бросят, девочку, что жила в далёком северном городе, не имела пока работы и никаких видов на другое местожительство, как на его жилплощадь, он бы пожал плечами и сказал, что с ним этого быть не может. На одни и те же грабли дважды не наступают, тем более что эти грабли, не таясь, торчали из прошлогодней листвы зубьями вверх. А теперь он уже скучает без неё – и пропади она из его жизни, он, несомненно, ощутил бы, что в его жизни образовалась пустота, которую плаванием по сети было никак не заполнить.

Она просто приехала снова в гости, сказав, что работы у неё всё равно нет, она будет искать и квартиру, и работу, а пока, может, он разрешит пожить у него? Ведь комнат у него много. Пожалуй, он даже был рад приезду этой девочки, она вносила в его отутюженную жизнь холостяка свой хаос, который оказался ему почему-то нужен.

Да, умом он понимает, что ему просто нужна была женщина. Её молодое тело приручило его к ней, хотя до сих пор он не знает и не отдаёт себе отчёта, как всё это произошло.

Просто опять была весна. Он чувствовал себя точно на разломе. Весна приносила перемены, а перемен поче-

му-то не хотелось. Он привык долгими часами, которых никогда не замечал, днями и даже ночами сидеть за компьютером. Это была его работа, его стихия, его боль. Он привык срываться в частые командировки, захватив с собой лишь ноутбук и дипломат. Он привык бегать по утрам и вечерам трусцой по набережной, пытаюсь сохранить молодость души и тела. Убегал ли он от инфаркта? Нет. Просто ему надо было после многочасового сидения размять онемевшие мышцы, он чувствовал, что они вдруг становились гуттаперчевыми и пружинили, подбрасывая его начавшую уже уставать душу, как мячик на резинке, возвращая свежесть мысли, растворяя боль в висках и тоску, всё чаще тревожащую частым, настырным стуком сердце. Молодость миновала, он ни о чём не жалел. Стоит ли помнить о песочных замках, разрушенных даже не от ветра, а от того, что ушла живительная влага, которая их держала? Стоит ли искать белый след от самолёта, с рёвом пролетевшего над головой и уносящего твоих близких от тебя всё дальше и дальше, след, на глазах растворяющийся в синеве? Стоит ли вглядываться в черты твоего ребёнка и пытаться узнать себя тогдашнего? Беги-не беги, не воротишь, не догонишь, усвистело безвозвратно.

А он всё же запрыгнул на подножку уходящего поезда и, пожалуй, даже тешил себя иллюзией, что счастлив. Когда он говорил друзьям и стареющим подругам «моя Дора», он как-то шире становился в плечах и даже уже совсем не убирал в карман свою руку с барабанными палочками, которую невозможно было сжать в кулак. Он уже начинал думать, что это судьба, не догадываясь о том, что никогда ещё так далеко его не заносило в сторону от судьбы, предназначенной свыше.

Всего лишь снова южный ветер принёс весну. И опять луна заглядывала в окна, тревожа и будоража его сон. Луна была бледна и напоминала нож, которым на даче мама любила чистить рыбу; нож был весь в рыбьей серебристой чешуе, и она летела на пол, на стол, на чёрный экран монитора, на свалывшуюся от мотания головы подуш-

ку, распространяя странное серебристое свечение, похожее на северное сияние. И эта чужая девушка тоже казалась русалкой в чешуе, неизвестно зачем посланной ему Всевышним.

Он не собирался оформлять отношения, сознавая, что они могут и не быть долговечными, он просто теперь жил, как получится, одурманенный запахами весны. А девушка на своей веб-страничке в графе «семейное положение» написала: «помолвлена».

Он всё так же уезжал в свои командировки и сидел за компьютером. Но Дора приходила, властно садилась на колени, закрывала сначала тёплой шёлковой рукой мышь, а потом его глаза, словно скользила по ресницам и зажмуренным векам шифоновым платком.

Больше всего его расстраивало то, что она не понравилась Даше. Он успокаивал себя, что это женская ревность, причём ревность, помноженная на то, что Даша была его единственной наследницей с его трёхкомнатной квартирой, дачей и старенькой машиной. Но он знал и то, что Даша и Дора как две стихии. Даша была воздух: лёгкие платья, рюшечки, оборочки, потупленные глаза, тонкокожесть во всём. Сама женственность. Дора была вода, причём вода, обрушившаяся с грохотом со скалы к нему на голову, подхватившая его своим течением, сметающая всё на своём пути, что бы могло ей помешать вмещать его в себя. Эти две стихии никак не могли воспрепятствовать существованию друг друга, но воздух мог раздувать огонь, а вода в силу своей снисходительности к младшим и осмотрительности пока пыталась его гасить, потихоньку буравя в скале новые ходы по разлому ещё едва обозначившихся трещин.

Нет, они соблюдали видимость приличия, они обе любили Одиссея, они даже определили себя в «друзья» на <http://www.odnoklassniki.ru/> и в «Моём мире».

Даша была его кровинка, его боль и страсть, они понимали друг друга с полувзгляда. Он был первым слушателем и критиком её статей, эссе, фотографий, дизайнерских работ.

Одиссея не беспокоил их довольно безалаберный быт, он привык всё делать сам, у него и в первом браке всё было так же.

Постепенно его начали раздражать многочисленные друзья, что бесцеремонно вваливались в его жизнь и сидели, развалясь на стареньком диване, потягивая пиво с орешками. Его раздражала музыка, которую Дора включала так, что казалось, что ему на голову надели большой медный таз и колотят по нему половником. Он не понимал, как можно до трёх часов ночи сидеть с друзьями в ночном клубе и являться домой под утро, благоухая сигаретным дымом, запутавшимся в её роскошной чёрной гриве, и запахом перебродившего винограда. Его злил Дорин голый живот, который она не прикрывала даже зимой, надевая кофты, чуть достающие до её золотистого пупка, и джинсы, еле прикрывающие бёдра – так, что, когда она нагибалась, был виден белый шнурок перерезавших её стрингов и розовая нежная канавка, которой он так любил касаться. Он не понимал, как можно часами приставать к нему, требуя, чтобы он договорился с кем-нибудь о том, чтобы посмотреть футбольный матч, если уж его доцентской зарплаты не хватает на то, чтобы купить какой-нибудь зачуханный телевизор. Сам он проявлял полное равнодушие к телевизору. Более того, ему нравилось отсутствие в доме телевизора, он очень хорошо помнил, как жена включала его на полную катушку, и как тот мешал ему писать диссертацию даже в другой комнате, отделённой тонкой дверью и щелью между полом и ДСП шириной в два пальца.

Он смотрел на все выверты Доры снисходительно, как если бы она была его ребёнком. Да она и была его ребёнком... Его радостью, принёсшей в его жизнь вкус доселе неизведанного экзотического фрукта, который поначалу пугаешься раскусить, даже чувствуя его аромат, а потом твой дневной рацион без него уже кажется тебе неполным. Ему нравилось, что она пытается что-то взять от него. Например, она начала по его примеру бегать трусцой, правда, делала это по выходным и иногда вечерами, но ведь и на работе она теперь была загружена больше, чем он.

Миновали те пять месяцев, когда Одиссею приходилось кормить их обоих на свою нищенскую зарплату, теперь Дора получала вдвое-втрое больше, чем он. Это давало ей независимость от его нравоучений, и она теперь собиралась попутешествовать по Италии, куда уехала на заработки её студенческая подруга.

Одиссей бегал по утрам вместо физзарядки. Сначала трусил по набережной; потом спускался вниз, к дороге, ведущей к гребному каналу; затем не спеша возвращался. Ему было по душе бегать трусцой, все печальные мысли исчезали на бегу вместе со свежим ветром, дующим ему чаще в спину и подгоняющим его в этом лёгком движении. Если ветер был в лицо – ему нравилось преодолевать его тугое резиновое сопротивление, он представлял себя катером, разрезающим волны. После этой пробежки он чувствовал себя молодым, и ему хорошо работалось потом целый день.

Он больше не был одинок. Его внутренним миром не очень-то интересовались. Но он с юности усвоил английскую поговорку: «Будь благодарен, может быть хуже» и успокаивал себя тем, что зато его ждали из командировок, выбегали и бросались ему на шею по его приезду, с нетерпением ожидали с работы, его любили. И главное, пожалуй, у него снова была женщина, да ещё такая молодая. Он уже стал забывать, что бывает такая шёлковая и нежная кожа, такая гибкость зелёной лозы, такая непосредственность, такой блеск в глазах, иногда прямо бесовское сияние какое-то. И, когда она танцевала по квартире, ему тоже хотелось танцевать, и тогда музыка становилась уже не такой громкой, потому что попадала в резонанс с его собственной внутренней мелодией. Такое вот шло нарушение всяких физических законов.

Он был благодарен судьбе.

<http://aisedora.livejournal.com/>

27 января 2007

К кому-то приехал папа. Ко мне не приехал... Опять не приехал... А чего я тогда жду? Я и сама готова бы к нему прилететь, да как? Нам никак не пересечься уже 14 лет. А ещё говорят, что мир тесен... Мы с ним – «одного поля ягоды», причём я одна из всех детей – с его поляны.

25 февраля 2007

Увидела платье под змеиную кожу. Чуть не сошла с ума – так захотелось.

3 марта 2007

Раньше я не очень любила курицу: в детстве мне свинина нравилась, а потом индейка, да и вообще-то я к мясу совершенно равнодушна – вот грибочки, это ДА! Но год назад мои вкусовые пристрастия изменились благодаря одному умельцу. И самым вкусным блюдом стала курица, запечённая в духовке на бутылке из-под советского молока (литровая или полулитровая).

Но оказалось, что это – ещё не предел его способностей! Вчера он умудрился сварганить курицу, за сутки до приготовления замаринованную со специями в кефире, а уж после запечённую с целым картофелем. Сегодня прибежала с работы и доела – так вкусно не было никогда! Собственно говоря, все эти кулинарные шедевры стали возможны благодаря тому, что мы купили новую чудную плиту с электродуховкой.

5 марта 2007

Сегодня после суда сразу домой. Раз в неделю или даже реже готовлю еду дома. Сегодня сразу взялась жарить в духовке настоящую индейку – вчера размороженную и пересыпанную специями. Ужас, что со мной, ведь сегодня даже не день благодарения? Я себя пугаю... Продолжаю пугать всё больше... Совсем не знаю, чего от себя ожидать.

8 марта 2007

В прошлом году на 8 марта у меня было два раза по 17 тюльпанов: ведёрко красных и ведёрко белых! Очень неожиданно и красиво! Тоска зелёная.

23 марта 2007

С того времени, как я переехала в Казань, меня частенько посещают мои старые друзья. Я так рада им. Джек из Триера едет на машине с чокнутыми приятелями в Москву на конференцию квакеров! С ума сойти! Я поеду его встречать! Буду в Москве 5-6 апреля! Мой Джекушка!

26 марта 2007

Как-то странно, вроде и причин нет, а так хорошо... Наверное, это какое-то счастье на нервной почве.

28 марта 2007

Покупаем билеты в Прагу. Нужны любые варианты на май месяц со скидкой для преподавателей. Будем очень признательны.

13 апреля 2007

Вернулась из Москвы. Встречи со старыми и новыми друзьями, приключения, путешествия, разочарования и новые влюблённости в отдельных людей и человечество вообще. Гармония и динамичный покой. Дом, кофе, любимый... Счастье повсюду и всегда.

20 апреля 2007

Синие кеды, голубые джинсы, оранжевая гольф-майка и ярко-сиреневая сумка через плечо! Ну никак не получается одеваться, как леди, даже примеряла и почти покупала, но не носится.

27 апреля 2007

Как-то я не люблю учителей, а ведь учиться люблю. Странно. Большинство из них, особенно женщины, несостоявшиеся как личности. И чему они могут научить? Странно, что Сева столько времени был учителем, да и сейчас... Насмотрелась я на их деланно умные лица и красную помаду как последний крик женственности.

5 мая 2007

Болезнь плохо. А болеть двумя болезнями сразу – ещё хуже. Вчера был кризис. Сегодня получше. «Вот тебе хлебушек и помазанка», – так мило, когда о тебе с такой нежностью заботятся, причём незаслуженно. Пусть позавчера был град со снегом, весна всё равно наступает.

8 мая 2007

Моя победа, мой юбилей

Завтра будет ровно два года, как я впервые приехала в Казань, сбежав с Победной Салютной Москвы на два дня. Я не знала тогда, как этот город и его житель изменят меня и повлияют на мои предпочтения в жизни. Всё так забавно.

15 мая 2007

Кто со мной в Италию?

12 июня 2007

Хорошо, когда тебе постоянно готовят кофе в постель и какие-то вкусности на завтрак. СПАСИБО.

20 июня 2007

Ложусь в 2-3 часа ночи, просыпаюсь в 6 утра и через 20 минут проваливаюсь в сон снова. Засыпая в 3:15, поставила будильник на 8:50, потому что будущий начальник будет в офисе только 15 минут: у неё назначена встреча на 9:00. Я позвонила – сказали, что ждут на работу утром 2 июля! Окончательно пробудилась в 14:50. Ем овсяную кашку с изюмом и сама варю кофе.

24 июня 2007

Сегодня на улице заметила, что перестала улыбаться, просто улыбаться: себе, погоде, прохожим.

6 сентября 2007

Иногда так отчётливо понимаешь, что занимаешься не тем и не там. Как маленькие ангелы судьбы, некоторые люди постоянно напоминают, что мечтаешь ты о другом, только признаться себе не можешь, так как это не даст тебе заработка...

11 сентября 2007

Всем на концерт «Hooter» сегодня и завтра в ночном клубе «Nirvana» в 18-00 в рамках Рок-фестиваля «Ледоруб»: группа фанк-панк, рок, хип-хоп, рэп, джаз, R'B and ect.

17 сентября 2007

Неуютные вечера на улице. Нашлявшись по лужам под дождём и без зонта, так славно прийти куда-нибудь, где твой дом на данный момент, шмыгая носом; снять мокрые носки, найти чьи-нибудь тапки и сварганить чай с молоком. Надеть кофту с капюшоном и залезть под одеяло со старой книжкой и кружечкой чая. И чтобы заварочный чайник рядом стоял. И ещё пусть кто-нибудь пошуршит в соседней комнате.

20 сентября 2007

Бегаю. Опять. За сегодня второй раз.

23 сентября 2007

Счастье – это, когда едешь «выпотрошенная» с работы домой, пишешь SMS: «Поесть бы», а тебе отвечают: «Дома ждут тушёные баклажаны с перцами, приезжай уж, так и быть!» Улыбалась на весь трамвай.

29 сентября 2007

1. Крутила обруч – 15 мин. 2. Завтрак яичницей. 3. Морковка и красный виноградный сок. 4. Пробежка перед сном – 15 минут.

30 сентября 2007

А наплевать! Будем петь, танцевать и кутить. Будем делать вид, что ничего не было и больше уже не будет.

10 октября 2007

После работы забежала в суд, ознакомилась с делом, потом ещё поехала и провела урок, звонила приятелям, чтоб кто-нибудь составил мне компанию поужинать в суши-баре, а мне предложили сходить на спектакль культового театра пластики. Я так благодарна этому театру. Спасибо вам.

14 октября 2007

Вернулась с празднования Покрова – намерзлась, нацеловалась, почти счастлива! Домой довезли. Напилась чаю с вареньем.

Хожу дома в вязаной шапочке. Скоро в ночь начну готовить борщ на неделю.

15 октября 2007

Стресс

Вчера не удалось борщ приготовить. В организме катастрофически не хватает белка. Сегодня придя разбитой и забитой с работы, где задержалась на два лишних часа, сварила борщ. Целую восьмилитровую кастрюлю. Наверно, он ядовитый, потому что отнюдь не с чистым сердцем его делала. Готовлю редко – не чаще одного раза в неделю, но зато от всей души.

18 октября 2007

Решила, что тяжёлое перенесение антибиотиков и работа на «износ-извоз» последние недели не позволяют мне сегодня дойти до службы. Отгул.

7 декабря 2007

Мы едем на две недели в Париж. Это правда.

14

Как Дора скучала по отцу! Он ушёл от них, когда ей было двенадцать лет... Он влюбился в какую-то свою коллегу, с которой поехал на конференцию в Бостон, коллега была татарка из Уфы, но она когда-то давно стажировалась у отца в институте.

После Бостона он собрал свои немногочисленные пожитки, сказал: «Простите, это судьба. Я не могу жить во лжи», – и исчез из их жизни.

Сначала она сама не хотела его видеть и прощать ему его предательство, потом он уехал с этой женщиной на три года в Манчестер, а потом они просто потерялись во времени и пространстве. Нет, конечно, они переписывались по электронке и даже посылали свои фотографии друг другу после того, как мама скоропалительно подхватила на каких-то гастролях дядю Володю. Дядя Володя к ним относился почти как к родным, даже лучше: родных он ру-

гал, не родных никогда; без дяди Володи они бы пропали, может быть, даже материально, но дядя Володя так и остался чужим.

Она, наверное, и запала на Одиссея потому, что он чем-то напомнил ей отца. Он и в Бостоне был, как отец. Даже их разговор начался с того, что она рассказала ему о том, что её отец был тоже в Бостоне. Как знать, не Бостон этот, может быть, и не втюрилась бы она в этого дядьку? Да он и не дядька совсем был. Он как мальчишка – в их банде.

А тут её словно с цепи сорвало...

И хорошо, что её любимый понимает, что у неё много друзей, и совсем не ревнует. Она может ездить, куда хочет и надолго. А у неё даже и работа была четыре месяца такая. Неделя в Москве, две дома. И совсем от неё он ничего не требует, ни готовить, ни стирать. Повезло ей! Вот только техника вся у него какая-то уж очень запущенная, но это она сумеет взять в свои руки. Она сможет! Она сильная! Денег вот только мало очень. И Дашка эта его всё время скулит, хотя сама замуж в 17 лет выскочила, пусть бы муж и содержал. Хотя она говорить вслух никак такое не может. Потом они ведь теперь подруги. И загорать вдвоём на озеро ходили, пока «домашний» в командировку в Питер мотался.

И она такая теперь счастливая! Её никто так никогда не любил. Её звали «ёжиком», а она не ёжик: она кактус для тех, кто её укусить и зажевать хочет, а сейчас она распускается удивительным цветом. И она сама это чувствует, как она расцветает, распространяя по комнате нежный аромат. У неё теперь всё будет. А на Новогодние праздники они вместе с Одиссеем куда-нибудь обязательно поедут.

15

Светлана с горечью отключила Интернет... Почему она думала, что эта Дора подруга его дочери? Где она была три года назад? Хотя у неё тогда и Интернета-то не

было... И с чего это Светлана вообразила, что она когда-то нравилась этому человеку? Она его заметила, да. Она всегда видела нестайных птиц. Потому что и сама была нестайная. Почему-то ей казалось, что они присматривались друг к другу, но слишком нравились друг другу – и, узнав своё отражение, так и не решились подойти. Эти двое, Одиссей и Дора, так счастливы! И никогда у него не будет места для Светланы в его сердце и жизни. Да, наверное, так и лучше. Нельзя входить в одну реку дважды, и счастливой она уже была. Молодость миновала. Это как эскалатор: тебе кажется, что ты стоишь на одной и той же ступени, ты всё ещё молода, а за тобой уже вырастают всё новые и новые лица... Старость – это утрата возможностей и пропажа из жизни ошеломительного. Она снова открыла «Одноклассники.ру» и перечитала:

<http://www.odnoklassniki.ru/>

Светлана: В Новый год тепло и зелено?

Одиссей: Да. Ну, относительно тепло. Но снега до Нового года не было, и трава лежала зелёной.

Светлана: Просто у Вас, наверное, было эйфорическое романтическое настроение. Сказочный чужой город, карнавал, молодая любимая женщина, ожидание чуда, всё в разноцветной мишуре и мигающих разноцветных лампочках и бегущих строках (как иногда и в жизни) – начинали прорастать крылья, казалось, что вся лучшая жизнь впереди, а ты молод и глуп...

Одиссей: Да нет, не было у меня романтического настроения ;}

Потом она стала искать Дашу по фамилии Светличная. Даша кончила музыкальную школу по классу «флейта», пять лет училась в художественной школе и занималась в фотостудии.

На Дашиной странице были в основном одни фотографии.

Все фотографии были чёрно-белые и напоминали летящий профиль Одиссея. Там было несколько фотографий актёров театра теней, вернее, теней актёров на стене. Из остальных картинок просто был изъят свет. Отфильтрован в «фотошопе», наверное. Серо-чёрные фотографии. Детали размыты и смазаны, как будто снимали из поезда жизни, проносящегося мимо; оставалась лишь суть. Но именно поэтому и видно было, что суть наша не неподвижна. Она постоянно перетекает из одного в другое, как вода, как шелест ветвей, сопровождающих колебания листьев – сначала, по весне, всё вырастающих в своих размерах, потом становящихся всё суше и тоньше, с частицами налипающей серой пыли и, наконец, просто парящих на ветру и гонимых им в непредсказуемом направлении. То, что вчера казалось достижением, подарком, радостью, гармонией, сегодня оборачивается сожалением, горечью, болью, потерей и крахом. Странно... Эта девочка видела в 17 лет жизнь в чёрно-белом свете, во всём её контрасте и непрекращающемся полёте. Без цвета всё становилось яснее и рельефнее... Неужели и это была иллюзия? И бессонный ветер обязательно рано или поздно должен был перепутать всё снова.

16

<http://aisedora.livejournal.com/>

5 января 2008

Вчера с Севой ходили в оптику. Окулист: «Прибор вообще сигнала не видит на этот глаз. У Вас же менее 10% на него зрение! И как же вы ходите?» Я: «Ну, с поводырем и интуицией». А про себя подумала: «Дороги я вообще всегда перехожу с надеждой на лучшее».

Комментарий. Наташа: Что случилось?

92

Да просто то, на что годами не обращала внимания, сейчас сильно мешает жить: зрение, вернее, его отсутствие почти полностью на один глаз. Я-то надеялась на операции в старости копить. Так что, может, приеду в Москву в микрохирургию ложиться.

28 января 2008

«Что ты, как дура, стоишь на перроне с букетом ромашек в руках на таких каблуках...» (Группа «Паперный Т.А.М.»).

22 марта 2008

А теперь будем жить себе потихонечку, полегонечку.

16 мая 2008

Россия – Финляндия – 4 : 0. СУПЕР! Спасибо! Пенальти было что-то. Как здорово гордиться своими спортсменами! Жду финала хоккея.

22 июня 2008

Римини – Рим – Неаполь – Помпеи – Сиена – Пиза – Флоренция – Венеция.

25 июля 2008

Зарплата преподавателя вуза с 20-летним стажем – 5600 плюс 3000 за кандидатскую.

27 августа 2008

Уже 36 часов. Ну что же ты не пишешь?

30 августа 2008

Я соскучилась. Приезжай скорее. Мы многое можем поделаться вместе. Я уже наметила интимно-культурную программу. Я загорела. На бережную нашу убрали к твоему приезду мрамором.

Светлана почувствовала, что ещё чуть-чуть – и слёзы крупными бусинами морских брызг покатаются у неё из глаз, что вот жизнь у неё такая никчёмная, а люди любят друг друга очень, скучают друг по другу; сердце ёкает у них в ожидании встречи; им танцевать по квартире хочется, а у неё никогда уже такого не будет. Всё в прошлом. Поделом. Не надо подглядывать в замочные скважины

93

на чужое счастье. Вот и лето уже кончается. Уже чувствуется дыхание осени. И солнце стало какое-то поблещее, ленивое, сонное, даже когда выглядывает конъюнктивитным заспанным глазом из-за туч. И свет льётся какой-то радиоактивный, тревожный, скользит по желтеющим, будто обожжённым марганцовкой, листьям – как напоминание о том, что скоро и этого света не будет. Как предчувствие того, что зима не за горами. Молодость миновала, желаний становится всё меньше и меньше. И бежать вприпрыжку навстречу новой любви тебе уже не по силам.

Потом она зашла на страницу «Живого журнала» Одиссея и прочитала:

<http://odissei.livejournal.com/>

26 октября 2008

Несчастья от счастья надо хранить отдельно.

25 ноября 2008

Никому не интересен мой глубокий внутренний мир.

15 декабря 2008

Умереть на бегу? Бегай!

10 апреля 2009

Не могу больше.

15 апреля 2009

Лучше потерять одного, чем быть одному.

17

Всё у них было хорошо. Они никогда не ругались, берегли друг друга и старались дарить друг другу маленькие радости. На рождество Дора с Одиссеем гостили целых две недели у её подруги, ходили по всяким музеям, ездили в Диснейленд, были в настоящем варь-

ете «Мулен Руж», объелись круассанами, надегустировались сыром с мохнатой, как носки из козлиной шерсти, плесенью и опились французскими винами. Две сказочные недели. Она была так счастлива. Рядом был её мужчина, она чувствовала себя львицей, которая в любой момент может положить на него лапу и сказать: «Это моё».

Потом потянулись обычные дни. Дора по восемь часов торчала на работе, затем заскакивала иногда в супермаркет, а изредка ходила к друзьям, или в кино, или в театр, и даже в «библиотеку», как она называла кафешку на центральной улице. Одиссей работал по большей части дома на компьютере, сидел зачастую до двух-трёх часов ночи, заваривая крепкий чай с бергамотом или мятой и пил его полулитровой кружкой с аляповатым рисунком, что стояла у него на компьютерном столе. Кружка была вся, как закопчённая изнутри. Он по-прежнему часто уезжал в командировки; Дору немного обижало, что срывался он туда с такой радостью, как будто ожидал какого-то чуда и приключения. Но она была спокойна. Она знала, что его ничего, кроме его компьютерных игрушек и участия в работе по составлению компьютерных энциклопедий не интересует. Он звонил ей всегда с дороги и с нового места. И она радовалась, услышав его голос. Это так хорошо, когда есть человек, который о тебе заботится и беспокоится, как о ребёнке. Ей всегда хотелось побыть маленькой, чтобы её брали на ручки. Но она была из «старшей группы» детей. А пока он ездил, она могла в досталь нагуляться по всяким гостям, клубам, кино, «библиотекам». Сам-то он не очень любил подобные походы и никогда не спешил разделить её компанию, но у них был суверенитет, и он никогда не стеснял её передвижений. Ещё она ходила в кружок танцев и всё чаще думала, что это – то место, где она по-настоящему чувствует себя свободной и может парить, как птица, ничего не видя вокруг. Музыка обволакивала её своими волнами, набегая, как лёгкий морской бриз, снимая усталость и головную боль после работы, под-

хватывала, обнимала её и несла в своём потоке, как какой-нибудь цветок, брошенный плыть по течению.

Она стала работать юрисконсультантом, занималась составлением договоров аренды и взимания коммунальных платежей, работой с учредительными документами, оформлением и регистрацией земельных участков в собственность, хозяйственными и образовательными договорами, заключением контрактов с проведением торгов, аукционов и конкурсов. Её работа не доставляла ей особенного удовольствия. Приходилось пребывать всё время в обстановке стресса и давления сроков выполнения нескольких заданий одновременно. Она даже подыскала себе помощника, исполнительную, тихую, как серенькая мышка, девочку, робевшую перед посетителями, но и, как мышка, очень тщательно и скрупулёзно вгрызающуюся в порученные ей бумаги и беспрестанно шуршащую ими в своём затемнённом углу. Доре нравилось, что к ней обращаются по имени отчеству, что от её компетентности зачастую зависит поворот того или иного дела, она чувствовала свою материальную независимость и решимость режиссировать свою судьбу.

Она съездила к себе домой в Красноярск в отпуск. Одна. Но это был уже какой-то не её дом. Там была уже не её жизнь, она не чувствовала себя там хозяйкой. Дядя Володя ушёл от мамы к какой-то молодой девке. А брат вырос таким дылдой и тоже стал каким-то совсем чужим. Но зато Дора так рада, что повидала всех своих друзей. Зимой её младшая сестра приезжала к ним в Казань. Вообще у неё в Казани побывали почти все её друзья. Каждый месяц кто-нибудь да заваливался в гости.

Дора съездила летом в Италию уже без него и ещё собиралась скататься по обмену в Испанию, а потом они хотели вместе с Одиссеем посмотреть Индию. Одиссеем слетал летом в Техас. Она скучала по нему и ревновала к местам, в которых он был без неё. Но в трубке, перелетев через океан, возникал его родной голос, и она снова радовалась, что не одна. И что всё так хорошо она в жизни устроила. Она ходила загорать на откос и познакомилась

там с кучей новых друзей, а вечерами общалась со всеми своими старыми приятелями по электронной почте и Интернету.

Жизнь как бы вошла в свои русла и берега. Дора теперь не представляла своей жизни без Одиссея. Его друзья стали принимать их уже как семейную пару. Дора несколько раз заговаривала с ним о том, что она хотела бы зарегистрировать их отношения, но он почему-то отмалчивался или отшучивался, мол, разве им нужна печать, неужто любви нужна печать? И она отходила от него, надувшись. В который раз. И всё же она думала: «Значит, счастье возможно». Такой покой и единение она чувствовала, когда он ласково отводил в сторону, за ухо, гриву её проволочных волос и нежно смотрел в глаза, пытаясь понять, что же там у неё внутри происходит, и нежно-нежно целовал, долго-долго.

Потом они жили три недели на даче. Приехала Даша с мужем. И опять всё было хорошо. Правда, Одиссеем стеснялся при Даше проявлять свою заботу о ней и оказывать ей внимание, был больше хмурым и улыбался ей как-то не так, как Даше, а потом обнимал Дашу за плечи, уводил в сад, и они о чём-то заговорщически шептались. А Дашин Васька сидел на крыльце и увлечённо рассматривал неповоротливых мышей, копошащихся в огороде.

Август был в тот счастливый год отутюженной семейной жизни на редкость жаркий. Лето навёрстывало упущенное. Они целыми днями купались или катались на стареньком обшарпанном катере, пересекающем зацветшую зеленью речку, будто ножницами палас. Жарой пропитались все времена суток. Даже ночи были все невыносимо душные и тревожные какие-то. Даже комары все высохли и куда-то пропали. Крыша массандры накалялась за день так, что не остывала даже к утру, спали они с открытыми настежь окнами, но спасительная прохлада не успевала накопиться в комнате даже к первым солнечным лучам, окрашивающим небо с востока, точно раздавленные ягоды малины. Ещё не набравшие красок яблоки сыпались на желтеющую траву даже без всякого дуновения ветра.

Весь сад благоухал запахом поспевших яблок, истекающих соком сквозь лопнувшую от неудачного падения тонкую кожуру и пахнущих забродившим вином. Созрела и слива, она висела чернильными гроздьями на ветвях в таком количестве, что склоняла ветки деревьев до самой некошенной травы. Некоторые ветви обламывались со звуком, напоминающим выстрел, не выдержав необычного и скороспелого урожая. Они делали из сливы вино, которое по вечерам весело пили, сидя на веранде и глядя на ночное небо, что казалось гигантским колоколом, полным звёзд. А Одиссею из-за жары было даже лень пребывать в своей виртуальной реальности.

Единственное, что её нервировало, так это то, что Даша постоянно хотела оккупировать гамак, в котором Доре так нравилось отдыхать, но Дора не спорила. Она вытаскивала старенькую раскладушку и устраивалась с плеером да детективом под сосной. Даша вообще была какая-то странная. Ну, неужели в семнадцать лет можно валяться часами с тетрадкой и книжкой в гамаке, бегать с фотоаппаратом за бабочками и пчёлами, ловить в объектив пурпурные, словно сок от смятой вишни, закаты да щёлкать глубину голубого неба, льющегося сквозь мохнатые лапы корабельных сосен, качающихся в такт музыке ветра над головой? И пиво она совсем не пила. И Васька его не пил. А как в такую жару не пить-то! И в карты играть не хотел никто. Уплывали втроём в заплыв на час, а она, нанырившись, должна была одна лежать на одеяле и давить слепней. Ну, разве столько времени интересно плавать? Но этим троим было, по-видимому, интересно. Тоска! Нет, они, конечно, звали её с собой в заплыв, но ей скучно было так долго и прямолинейно плыть. Хотя купаться она тоже очень любила, но так, чтобы было весело и шумно, как они плескались в детстве на Енисее с мальчишками, когда плавали наперегонки и ныряли с лодок. Когда она смотрела на Одиссея и Дашу, ей иногда казалось, что эти двое вообще одни в этом мире, что они никого вокруг не видят, хотя она была тут, и Василий был тоже тут.

И ещё её очень доставало, что ей приходилось больше всех готовить и мыть холодной водой горы посуды, наваленной на кухонный стол. Хорошо хоть, Сева помогал.

Она так рада была, когда они, наконец, уехали. Потом Даша приезжала к отцу ещё со своей подружкой. Они вместе гуляли по городу и ходили снова купаться под откос. Даша была ещё ребёнком, милым ребёнком, она даже поздравила Дору с днём рождения забавной самодельной открыткой, но Дора всё равно всей кожей ощущала какой-то холодок отчуждения, от которого хотелось поёжиться и закутаться в руки Одиссея и его мохнатую грудь, как в плед.

Даше не было одиннадцати, когда родители разошлись. Они разные были очень. Даша любила отца до умопомрачения, и вся она была папина дочка. Когда она была маленькой, он собирал всех её подруг, и они шли куда-нибудь гулять: в парк, в музей, просто по городу ходили, как цыганский табор. А когда они жили на даче, он собирал всех её друзей, и они жгли до полуночи костры и пекли в них картошку. Это такое было наслаждение: обдираешь, обжигаясь, кожуру, превратившуюся в целый слой угля – а там открывается запёкшаяся разварившаяся картофелина, пахнущая горьковатым дымом. Её солишь крупной солью – и объедение! А ещё чёрный хлеб пекли над прожорливыми языками костра. Нанизывали на деревянные пруттики ломтики хлеба и коптили. Языки огня облизывали хлеб, как дракон какой-то многоголовый, оставляя на нём свою чёрную слюну. Запёкшийся хлеб тоже был с хрустящей корочкой и тоже вобравший в себя просмолившийся дым и предчувствие романтики. А в небе звёзды светили, и луна была полукругом, как след у них на журнальном столике от горячего чайника, который папа по рассеянности поставил половиной дна на салфетку, а половиной – прямо на ла-

кированный столик. А папа им показывал, где живут Большая и Малая Медведицы, похожие на половники, которыми они на даче черпали воду из эмалированного ведра, стоявшего на солнышке, и обливались в жару. А ещё он им сказки рассказывал всякие, даже не сказки, а истории. Её любимыми историями были сказки про «Ивана Кузьмича». Это дяденька такой смешной был. Она теперь иногда сама чужим детям такие истории рассказывает.

И ещё папа с ними на рыбалку ходил, насаживал всем им по червяку на крючок – и они сидели и смотрели, когда зелёная петелька мормышки дёрнется начнёт, как стрекозье крылышко. А когда крылышко начинало вибрировать, то папа осторожно вытаскивал удилице, снимал щупленького ершишку или маленького окунька и пускал их в садок, плавающий за бортом лодки в речке.

И ещё папа плавать их учил по книжке, но она плавала всё равно только, когда он её руками поддерживал за живот и она чувствовала надёжность его рук и упругость и ласку воды, которая совсем не утягивала её на дно, а, наоборот, выталкивала на поверхность, словно пенопласт какой-то или надувной матрас. И за земляникой они ходили, и за маслятами. Она не умела искать в густой траве ни ягод, ни грибов. Папа собирал ей букетик земляники, а она потом сидела на пригорке и губами срывала по одной из букетика, растягивая удовольствие. А папа бросал ягоды в кружку или бидончик, после землянику клали в чай или молоко, или даже в творог со сметаной, и те становились сразу такими душистыми и напоминали о полянке, залитой солнечным светом. А грибы папа видел даже самые мелкие среди некошеной травы на буграх – сразу целое семейство жёлтых шляпок маслят, напоминающих желтки яиц деревенской курицы, которые она тоже так любила вылавливать из бульона летом. Он аккуратно срезал грибы под корень перочинным ножиком и складывал в старенькую корзинку с вылезшими из неё прутьями, торчащими, как солома из разорённого гнезда.

А ещё она обожала, когда он её в гамаке качал. Она лежит, раскинулась. По синеве неба облака плывут, будто белые медведи по морю. А над ней сосны качают своими мохнатыми лапами с расфуфыренными шишками.

Зимой же они на лыжах катались, а ещё раньше, когда она совсем маленькая была, папа её на санках возил: она ехала, как маленькая королевишна в карете, закутанная бабушкиным пуховым платком по самые глаза.

И в шахматы с папой они играли, и в шашки, и в «пятнашки», и в «лото», и в мозаику, и в игры всякие, когда кубик кидаешь – и передвигаешься либо назад либо вперёд, это, когда ещё компьютера у них не было. Эти игры она особенно любила, и рано поняла, что никогда не получается двигаться только вперёд, всегда рано или поздно отбрасывает назад как бы ты быстро ни продвигался; надо всегда уметь искать обходные пути, быть гибкой и никогда не переть на стенку. Стенка останется стоять, а вот лоб... И никогда не бывает истинным путь, что кажется самым коротким. А, дойдя до цели, очень часто вблизи её не узнаёшь и не понимаешь, зачем было потрачено столько усилий, когда клад – вон он, совсем в другом месте, только надо опять копать окаменевший грунт...

Он даже платья для кукол ей шил на машинке швейной. А больше всего она любила сидеть у него на животе, когда он лежал на диване, согнув ноги, и имитировал спинку кресла. А потом раз! – она весело падала на жёсткий матрас. Это их любимая игра была. Когда только что надёжно и мягко сидела, ощущая всем телом живое тепло, а вдруг совершенно неожиданно летишь в тартарары.

И фильмы всякие они вместе смотрели, и читал он ей вслух. Особенно, когда она болела. От гайморита ей нос прогревали синей лампой. Он одной здоровой рукой держал лампу, а другой придерживал на коленях книгу, которую ей читал. Это было так забавно, когда вся комната становилась в ультрамариновом цвете, как будто она плавала в индиговом океане у экватора, который ласково обнимал и согревал её, или в синем море, у которого

«жили старик со старухой». Потом лампа гасилась, одеяло крепко и заботливо подтыкалось папой со всех сторон так, что она оказывалась в надёжном коконе, и комната погружалась в глубину ночи, но тепло оставалось.

Она ему всё-всё могла рассказывать, а маме никогда. Она даже, когда во втором классе влюбилась в мальчика по парте, всё ему повествовала: и что чувствует, и как они дружат. Папа как подружка ей был. Она вообще очень любила с ним вдвоём оставаться, без мамы. Чтобы тот её кормил, спать укладывал, чтобы уроки вместе с ним делали. А когда компьютер появился у них, она садилась к папе на колени и они вместе играли уже на компьютере. Особенно она любила всякие «бродилки»: идёшь-идёшь, открываешь дверь – а там лабиринт. Плутаешь по лабиринту, и вдруг – пол уходит из-под ног, или чудище какое перед тобой вырастает ужасное. Может, её так к взрослой жизни готовили, чтобы не теряться, когда земля начнёт уплывать из-под ног?

А в парке они на многих каруселях пробовали кататься, но у неё голова кружилась, поэтому папа её обычно сажал на «чёртово колесо» – и они медленно, как на воздушном шаре, подхваченном тёплыми потоками, поднимались вверх, а город всё уменьшался и уменьшался в размерах, словно они были Гулливерами в стране лилипутов, такими люди все маленькими становились, будто букашки на ладони. А они парили наверху, над кронами деревьев, почти под облаками, как птицы. А река становилась, как на карте нарисованная. И ещё они в тир всё время в парке ходили, и она тренировалась попадать в чёрное яблочко. Курок подводишь под цель – и её как бы поддерживаешь, а попадаешь в яблочко... У неё и глаз, наверное, поэтому такой меткий, вон Василия сразу заприметила и сразила.

А ещё он курочку очень вкусную всегда пёк и жарил в манке рыбку, которую можно было со всеми хвостами и плавниками есть (о, как она хрустела!), и кексы всякие печь любил, а мама никогда не пекла.

И у них дома тогда всегда цветы были в горшках разных забавных: и на подоконниках, и на всяких шкафах и сервантах, и на даче он их разводил. А потом он любил

всегда просто так живые цветы домой приносить, шёл с занятий и покупал по дороге. У них всегда цветы дома были. А ещё аквариум со всякими рыбками диковинными и водорослями, сквозь которые весело бежали фонтанчиками пузырьки из трубки, которая называлась «генератором воздуха».

А как они фотографии с ним печатали, когда ещё цифровика не было! Запирались в комнате с красной лампой, напоминающей ей волшебную лампу Аладдина, словно для чудотворного действия какого-то. Больше всего она любила фотобумагу с отпечатком в ванночку с проявителем пускать и смотреть, как медленно начинают возникать, словно дышишь и оттаиваешь губами замёрзшее стекло, знакомые лица. Сначала угадываются только их отдельные детали, а потом смутно уже всё лицо проступает, становясь всё резче и чётче. Не знала, не видела, потом обнаружила детали, потом увидела лицо – и вот уже и не заметила, как любишь... А потом проявленные лица после закрепителя плавали у них в ванной. Целая ванна фотографий! Целая ванна дорогих и любимых лиц! Она так любила их перебирать и рассматривать! Фотографии её детства были чёрно-белые. Может быть, оттого она и сейчас так любит чёрно-белые фотографии. На них смысл яснее виден, рельефнее всё проступает, цвет не мешает и не отвлекает от сути. Васька говорит, что она и в жизни такая: у неё либо чёрное, либо белое... Нет, она не такая, она ко многому очень философски относится. Просто ведь вся жизнь она полосатая: полоса чёрная, полоса белая, белый снег и чёрные ветки, и тёмные тени ветвей на снегу... А переход между чёрным и белым всё равно виден по густоте теней и по их длине. В белом все краски собираются, фокусируются, их всегда можно разложить, только уметь это надо делать. А чёрный – никакой не цвет, а всего лишь отсутствие цвета, он не разложим, он поглощает лучи света, а также все остальные цвета вокруг, его нельзя найти ни в каком другом из оттенков, он уникален; это цвет траура, торжества, магии.

Отцу просто стало тесно в их плоском городе, в их элитарной школе, он стал выезжать уже за границу, защитил диссертацию, для него их город стал препятствием, ему

хотелось дальше лететь и летать высоко, а здесь он просто летал не на той высоте и не по своему маршруту. Заболела бабушка – и он уехал: сначала будто бы ухаживать за ней, но Даша знала, что он не вернётся. Он давно хотел с этого поезда спрыгнуть – и соскочил...

Даше не очень-то были интересны все его компьютеры, она больше любила рисовать и фотографировать. Музыка её учили тоже, она получила общее развитие, но хорошо знала, что никогда не будет профессиональным музыкантом: для этого талант нужен, а у неё его не было; потом ей было скучно играть все эти гаммы, отрабатывая технику. Не было никакого ощущения полёта. А, когда она рисовала, была иллюзия парения, но хорошо рисовать у неё тоже таланта не было. Она чувствовала цвет, нюансы, скрытый смысл в абстракциях новых художников, в графике особенно: та же чёткость белого на чёрном или чёрного на белом, когда одной линией можно целый мир изобразить с его сновидениями, эмоциями, догадками и предчувствиями. Она пять лет ходила в детскую художественную школу, но там не учили полёту, там набивали руку. Они рисовали чёрно-белые геометрические фигуры, куски рельефного орнамента, ворон чёрно-белых, коричневые глиняные горшки, около которых была положена связка усохшего лука или несколько восковых яблок. Ей скучно было. Рисовать она хотела как раз цветной акварелью или пастелью. Красками там тоже рисовали, но только те же горшки или кувшины и иногда большие тарелки с фруктами.

А на компьютере ей очень было интересно фотографии редактировать: вычленять, вырезать и увеличивать, а главное, убирать цвет, накладывать фильтры всякие... Она рисовала хмурый осенний дождь в залитом солнечным светом пейзаже или добавляла радугу, перекинувшуюся коромыслом посреди заснеженного зимнего леса, замершего в оцепенении от увиденного чуда; прочерчивала на совсем безоблачном небосводе молнию, готовую разломить безмятежное небо и жизнь напополам, как горбушку. Её завораживала возможность отражать печальное лицо и встреченные ею пейзажи в тихой ключевой воде прозрачного лесного озера, которого и в помине не было в действительности. «В твоё

лицо, как в зеркало смотрюсь...» Она и рисовала это зеркало... Это была такая удивительная игра, она чувствовала себя просто маленькой феей: раз – и перенесла себя из их утопающего в сугробах городка в далёкую Африку, где она танцевала среди львов, раз – и одела себя в образ Ксешинской... Это была игра красок, теней и света, основанная на догадках и неизвестно откуда возникших предчувствиях, что и в жизни часто очень многое можно отменить и переиначить, только большинство людей об этом не догадываются, погружённые в мышиную возню и круговерть.

Когда Даша услышала в квартире отца женский голос, то подумала, что это должно было всё равно произойти, у многих её друзей родители переженились заново, но её очень задело то, что он жил с женщиной, бывшей по возрасту чуть старше её. Она тщательно скрывала свою ревность к отцу, но ревность была, безотчётная, тёмная, слепая, затаившаяся, как зверь в кустах, что готовится к прыжку. Она думала, что если бы он жил с женщиной маминого возраста, у неё не было бы такого чувства. А тут – словно какая-то тёмная сила внутри поднялась и душила её. Ну неужели и её отец – как все мужики? Она ведь недалёкая эта Дора, она современная девушка, работающая со школьной скамьи, хваткая очень, но обычная. Отец у неё необычный, а эта его подружка обычная. Висит часами на телефоне, шляется по всяким своим друзьям. И работа-то у неё какая-то скучная. Она бы застрелилась от такой работы, целыми днями юридические бумаги составлять. Тоска. Но Дора очень сильная, злая и напористая. Она скоро скрутит отца в бараний рог. Мама правильно говорит, хотя Даша во многом не разделяет маминых взглядов, что ей квартира нужна. Нет, конечно, не только квартира, но она всё оценила, взвесила и решила, что можно кидать наживку. Бедный папа, плавающий, как рыба в воде, в сетях Интернета в качестве эксперта поисковых сайтов, попался в рыбацкую сеть, незатейливую, из грубой верёвки, связанную еврейской девочкой с сибирской хваткой.

Даша, конечно, делает вид, что они подруги, записи ей ансамблей всяких посылает, которые Дора коллекционирует, фотки, но это только для того, чтобы не выпустить

запертого джина неприязни из бутылки, которую она даже печатью сургучной запечатала.

Хорошо, что хоть отец не женится на ней. Но она ведь молодая, она же детей захочет, и тогда отец забудет о Даше, переключит всю любовь на маленького.

19

<http://www.odnoclassniki.ru/>

Светлана: Я плохо разбираюсь во всех этих схематических обозначениях оттенков человеческих настроений. Смайлик Ваш, он, что обозначает: улыбку сквозь печаль, печаль сквозь улыбку или что-то иное? Что же Вам мешало радоваться? Рюкзак жизненного опыта за плечами? Сознание, что пытаешься вскочить с перрона на подножку уходящего поезда – и не запрыгиваешь? Поезд всё набирает и набирает скорость, и ты опять неловко пытаешься впрыгнуть в последний вагон. Бег от внутренней дисгармонии и разобранности? Чувство, что говоришь как сквозь бронированное стекло: твои слова отражаются и – тебя не слышат, даже если ты пытаешься кричать очень громко?

Светлана: Ну вот! Я Вас, кажется, напугала. Или Вы испугались сами себя. Не пугайтесь. Я птица вполне безопасная, сродни белой вороне. Чужих гнёзд не тревожу и листву с ветвей для полноты обзора крыльями не сбиваю. Просто одна нестайная птица случайно увидела другую нестайную птицу и радостно помахала крыльями.

Одиссей: Да нет, просто замотан, загнан и очень устаю последние дни. Вечером в Москву – и там четыре дня каких-то лекций.

<http://aisedora.livejournal.com/>

27 сентября 2007

Срочно нужна сиделка в Красноярске. У мамы инсульт. Наняли два ночи в больнице – 8000 за ночь. Писать моей сестре Розе rouse@mail.ru.

7 декабря 2007

Срочно после 25 декабря нужна сиделка в Казани и консультации невропатолога и психотерапевта на дому.

20

Как вообще так произошло, что эта чужая девочка поселилась в сердце Одиссея? Неужели просто потому, что там был вакуум, а в вакуум втягивает всё, что попадает на пути? И вот ты уже понимаешь, что ты не цельная неординарная личность, а принадлежишь некой высшей субстанции, что называют семья. Одиссеей же был «котом, бродящим сам по себе». Кот существо домашнее, он любит, когда его гладят, чешут за ушком – и тогда он мурлычет, вытягивается на диване, показывая белое брюшко, или, наоборот, сворачивается в клубок, убирает коготки в мягкие подушечки и крепко зажмуривается от наслаждения.

Что он мог поделывать? Дора была теперь практически старшей в семье, от неё ждали поступка. Её старшая сестра Роза работала на трёх работах, чтобы прокормить себя, дочь и найти деньги на сиделку, а у младшей случился нервный срыв: она ушла из дома, перестала ходить в школу и пропадала неизвестно где... Дора летала к себе в Сибирь, вернулась очень расстроенная, отвечала невпопад, почти не разговаривала, всё падало у неё из рук. Потом сказала, что ей придётся, наверное, уезжать снова в Красноярск. Но неужели он её отпустит? Он бы, пожалуй, погоревал чуток и отпустил бы... стыдно себе признаться, с облегчением. Он вообще не понимал, почему его подруга должна срываться из свиваемого ею гнезда, если в доме её детства есть и другие уже взрослые дети... Да, конечно, она почти старшая, но не единственный же она ребёнок! Дора считала своим домом уже дом Одиссея и, хотя её семья была в Сибири, робко спросила: «А может, мы её к нам перевезём?» Нет, они ещё не срослись корнями и даже не притёрлись друг к другу и, разбегись они сейчас, у обоих бы остались полные воспоминания о том, что они были, пожалуй, счастли-

выми эти три года; но дрогнула рука стрелочника – и Судьба перевела стрелки на другой маршрут; сделать уже ничего нельзя, но и катастрофы не случится, поезд просто бежит в другом направлении, чем было ими решено в случайный вечер, и за окном мелькают новые пейзажи.

Уже немного родное существо смотрело на него красными воспалёнными от слёз глазами, судорожно хватало его за руки, как утопающий хватается за подвернувшуюся корягу, не понимая, что коряга уже подгнила в воде, и сучок, в который ты вцепился, может обломиться в любой момент, лишь стоит повиснуть на нём посильнее на очередном перекате реки... Он был большой, сильный и взрослый мужчина, который должен был бы быть опорой и защитой от всех разгулявшихся ветров жизни.

Он не смог сказать «Нет», но понимал, что тем отношениям, когда они стали казаться друг другу почти целым, которое и разъединить-то, как сямских близнецов, невозможно, так как у них одно сердце на двоих, вероятно, придёт скорый конец.

Остановись, мгновенье! Почему лёгкие, такие изумительно красивые бабочки иллюзий, за которыми ты недавно бегал с сачком, торопясь их накрыть, осторожно взять за трепещущие крылышки, чтобы посадить в банку и кормить жучками, купленными в «Зоомагазине», превращаются в мохнатую толстую прожорливую гусеницу, требующую капустных листьев?

Он сам поехал в Москву встречать свою Дору в аэропорту, наняв частную «Скорую помощь». Ему пришлось отдать весь гонорар, полученный в иностранном издательстве за работу, которая стоила ему двух лет полубессонных ночей.

Будущую тещу поместили в мамину комнату, на мамину кровать, которую у него так и не поднялась выкинуть рука. Одиссея теща не узнавала – тот участок её памяти, когда он гостил месяц в далёком сибирском городе, оказался стёрт. К кровати придвинули спинками два стареньких кресла и стул, чтобы женщина ненароком не упала. А женщина лежала себе и разговаривала. Это не был бред помрачившегося рассудка. Она лежала и рассказывала о своей

молодости, о своих любовниках, потерях, путешествиях, работе. Она вела занятия по сольфеджио и руководила водопроводчиками, ставящими новый унитаз. Она воспитывала сына и ругала соседей. Её речь лилась непрерывным потоком день, ночь, снова день и снова ночь, а потом опять день и опять ночь. Женщина разговаривала громко, будто вела занятия в большой аудитории, как будто она боялась, что задремавшие на галёрке студенты её не услышат.

Напрасно Одиссей пытался положить голову под подушку, высовывая из-под неё только нос, чтобы дышать, и наматывал поверх ещё ватное одеяло. Трубный голос проникал и туда, он ввинчивался в череп и сжимал его широким обручем, затягивая на обруче шурупы, чтобы тот не слетал.

Женщине, по-видимому, было хорошо. Она смеялась, как девочка, смех рассыпался по квартире, как стекляшки от разбитой хрустальной вазы, которую его отец подарил когда-то матери в первый год их совместной жизни и которую Дора случайно опрокинула, пытаясь в его отсутствие в одиночку передвинуть этажерку, не вынимая из неё посуду.

Одиссей не выдержал, сунул в стоптанные тапки заледеневшие ступни, на которые не хватило длины одеяла, накинул махровый халат и зашёл в мамину комнату. В нос ударил запах немытого потного тела и прилипшей к клеёнке сбитыми морщинами простыни, сдобренный ароматом валерьяны. Женщина лежала на кровати совершенно голой, рубашка её благополучно перелетела через кресла и валялась на полу. Женщина была ещё молодой, смотрела на него карими блестящими и заинтересованными глазами: «Слушай, странник, что я тебе скажу. Не в ту воду ты нырнул, не по тем морям плаваешь, и женщина эта чёрная не твоя и не для тебя. Это не судьба твоя, от судьбы ты далеко так, как не был никогда. Убежать ты не сможешь, некуда бежать тебе – море штормящее кругом и до берега не доплыть. Собирай паутину и вяжи из неё сеть. И сетью этой рыбу лови. Станешь богатым. А однажды тебе попадётся в сеть рыбка, не золотая, а серебряная, как лунный свет. В ней твоё спасение».

Одиссей в испуге отшатнулся, больно споткнувшись косточкой на лодыжке о порог, и закрыл дверь, чувствуя, как холодной испариной покрывается у него лоб, да что лоб, весь он мокрый, как раздавленная хурма. Ноги его сделались ватными, сердце ухнуло в пропасть, как бывает при спуске самолёта, когда тот попадает в воздушную яму. Он инстинктивно протёр воспалённые глаза, но нет, он не спал. Стоял в полутёмном коридоре и смотрел на жёлтую полоску света, вытекающего ядовитой жидкостью из-под двери.

Утром вызвали психиатра. Пришла женщина лет пятидесяти, сухощавая, в очках с тонкой золотой оправой, из-за которой смотрели умные равнодушные глаза. Сделала укол. Сказала: «Теперь она спать будет. У неё перевозбуждение после транспортировки на фоне интоксикации. Но она молодая ведь ещё. Ей всего 51. У неё сил много. Она долго ещё проживёт. Вам повезло, что руки у неё работают, у неё ведь только одна рука с частичным парезом. А перевозбуждение это психическое пройдёт. Вот я тут лекарства выписала. Три раза в день по полтаблетки, а через неделю посмотрим. Мужества Вам и терпения».

Жизнь входила в свою колею, если можно назвать колеёй эту разъезженную пятитонными самосвалами дорогу, возившими груз, придавивший их любовь. Самое печальное в этой истории было то, что Дора уходила на работу и приходила с неё не раньше семи вечера; на сиделку денег, конечно, не было, хватало только на памперсы; и он волею судьбы должен был большую часть дня проводить со своей новоявленной тёщей, так как в институте был несильно загружен занятиями, а компьютеров на кафедре, как всегда, не хватало.

Ему приходилось кормить эту чужую женщину, поправлять одеяло и разговаривать. Женщина теперь чаще молчала и смотрела неподвижно в потолок сухими воспалёнными глазами. Из его рук она почти ничего не ела, кормить могла её только Дора, но иногда она пила с ложечки или из кружки с носиком для питья минеральной воды с витиеватой надписью «Любимой жене», которая когда-то была

привезена отцом из Кисловодска, куриный бульон, сладкий чай, клюквенный морс, кефир. Хуже всего было то, что женщина его так и не узнавала, а принимала, видимо, за медбрата и почему-то не только не старалась ему помогать, а как будто специально хотела затруднить своё кормление. Её невозможно было приподнять на подушке, она тут же кулём съезжала на сбитые простыни и смотрела на него по-детски прозрачными глазами, в которых начинали накапливаться слёзы. Он старался держать кружку так, чтобы женщина могла свободно пить, но её голова сползала набок, и жидкость начинала течь у неё по подбородку, растекаясь мокрым цветным пятном по подушке.

Больше всего он боялся её агрессивных состояний, когда она начинала отталкивать его руки и даже кресла, стоящие у кровати, скидывать одежду, памперсы, простыни и одеяло, и даже кусаться.

Ему тяжело было работать, так как она довольно часто его звала просто так. Он приходил, она смотрела на него воспалёнными глазами, иногда просила пить, иногда не просила ничего и только махала рукой «уходи». Если он видел, что её губы по кромке покрылись белым или желтоватым налётом, похожим на тот, что выступал на поверхности глиняных горшков с цветами, то давал ей пить, чаще сам поднося ложку с водой к пересохшим губам.

Потом возвращался к своему компьютеру, тупо смотрел в мерцающий светом голубого неба монитор и не мог никак сосредоточиться.

Как случилось так, что его жизнь, замысленная как полёт сокола, превратилась сначала в жизнь голубя, а потом и вовсе в жизнь дятла, заколоченного в большом трухлявом дупле, которое надо было ежедневно долбить, доставая жучков всем для пропитания?

Одиссей стал раздражителен, резок, вспыльчив, он научился кричать на студентов, чего раньше никогда не мог себе позволить. Не один раз он прокручивал, как киноленту задом наперёд, тот вечер, когда он сорвался в лёгком беге счастливого тела навстречу своему счастью, обернувшись бедой. Больше всего его выводило из себя, что Дора по-прежнему ходила в кружок танцев, на спектакли и вы-

ставки, к многочисленным друзьям, от которых всегда возвращалась повеселевшая, легко – словно дуновение южного ветерка – целовала его в щёку, гладила по щеке, и он ощущал резкий запах вина или пива. Его злили глупости, которые она говорила друзьям по телефону своим щебечущим голосом, заливаясь от смеха, будто какая-нибудь соловьиная самка, заплутавшаяся в ветвях весеннего леса. Сверлила голову включённая на полную катушку музыка, так что в серванте начинали дрожать стёкла, не давая ему покоя. Совершенно выводили из равновесия горы грязной посуды; их она частенько оставляла после себя, с остатками засохшей еды – посуду теперь можно было отскоблить только колючей ржавеющей проволокой. Пирамиды их кухонной утвари занимали все свободные площади на их массивном буфете, на большом кухонном столе, на холодильнике и даже на подоконнике.

Дору же бесило его постоянное сидение в Интернете (как будто на преподавательскую зарплату можно было прожить?); его ежедневный ритуальный бег; его вечно приглушённый телевизор, который ей хотелось врубить на полную катушку, чтобы отключиться от выпавшего на её долю несчастья. Её раздражало его наплевательское отношение ко всем текущим, прогнившим трубам, с которых сыпалась лохмотьями ржавчина, похожая на прошлогодние листья, выкопанные из-под только что сошедшего снега, и его полное безмятежное равнодушие к забитой чёрной окалиной колонке, которую по-прежнему приходилось использовать без автоматического предохранителя, потому что иначе с их напором воды тот просто не срабатывал.

Они стали говорить друг с другом на повышенных тонах. Что-то постепенно, по капле, день за днём уходило из их постоянно распахнутого дома, ставшего продуваемым любимыми ветрами. В квартире поселились сквозняки; хлопали в ладоши все форточки и двери; билась со звоном сшибаемых с крыш сосуллек посуда; со стуком падали вещи – как будто забивают дверь в прошлую жизнь. Потом он осторожно подметал осколки, залетающие под кровати, шкафы и буфеты; аккуратно собирал вещи, если те оставались целыми... Дора до этих занятий не опускалась.

Была гордая и строптивая... Как ребёнок, который говорит: «Вот возьму и зажмурюсь – пусть всем будет темно». Даже если чашку об пол кидала она, он, выждав некоторое время, покупал ей новую, сам мыл её чайной содой, наливал в неё свежий, пахнущий душицей или смородиновым листом чай и осторожно, как будто боялся причинить чашке боль, ставил перед ней.

Он не понимал, почему их груз не хотят разделить сёстры Доры. Они приезжали пару раз поодиночке в отпуск, но это только ненадолго избавляло его от его дневных дежурств. С сёстрами в дом врывались кутерьма, слёзы, ещё больше разбросанные вещи; бесконечные разговоры на повышенных тонах; женская ругань визгливыми голосами, как скрежет заржавевшего металла по стеклу, а от мата – если он слышал его из женских уст – у него всегда обрывалась какая-то нежная струна внутри, что уже давно не звучала, но он с гордостью знал, что она ещё есть.

По утрам он с ещё большим рвением стал совершать свои марафонские забеги. «Умереть на бегу? Бегай!»

Пожалуй, он был бы уже рад, если бы Дора вернулась к себе в Красноярск. Но его природная порядочность не могла позволить сказать ей об этом. Не потому, что он боялся потерять её навсегда, – то ослепление взрывающимися в небе разноцветными петардами прошло. Видимо, он не заметил, как одна из петард взорвалась у него в руке – и разнесла на части его жизнь, грозя разрушить его внутренний мир и цельность. Он просто понимал, что это было бы подлостью заставить снова перевозить больную, что в Сибири их уже не ждут: там налаживают и обустривают свою непростую жизнь, которую больная мать помешала бы устроить. Ох, как он хотел бы умереть легко, не цепляясь за ноги ближних. Умереть на бегу, как подстреленная птица, набирающая высоту...

Теперь с ещё большей радостью, чем раньше, он стал срываться в командировки, каждый раз принимая на себя шквал упреков и слёз. Это бывало всегда – как град, после наступало резкое похолодание без ветров, когда деревья застывают на стене в статичном узоре, – и он уезжал.

В командировке он постоянно думал о том, что всё-таки его Дора очень сильная девочка, коль смогла так

его скрутить. Да и каких усилий и нервов стоит ей такая жизнь! Ведь она так молода ещё. И всё-таки она молодец: всеми силами, всей своей энергией сжавшейся стальной пружины пытается приподнять груз, обрушившийся на неё, всей своей сибирской закалкой коренастого деревца на осыпающемся грунте пытается противостоять обстоятельствам и продлить жизнь любимого человека. Такая уж не бросит его точно, когда он станет старым съёжившимся грибом!

21

Они смирились потихоньку с выпавшей на их долю бедой, сжались в комок и жили в этом скукоженном состоянии, выдавая знакомым улыбку: «У меня всё нормально». И, действительно, всё у них было не хуже, чем у других, если внимательно посмотреть по сторонам. Привыкаешь ко всему.

В этот день у него были занятия у вечерников, и он пришёл домой позже обычного, значительно позже, чем появляется Дора. Раскрытая ядовито-сиреневая сумка Доры валялась в прихожей на полу, дверь в мамину комнату была открыта настежь. Он сразу увидел валяющуюся тяжёлой неподвижной тушей на полу тещу. Она лежала, широко разведя свои усыхающие ноги, всё больше становившиеся похожими на обструганные сучковатые деревянные стволы срубленных деревьев, и виновато улыбалась. Она была в сознании, кресла были отодвинуты далеко от кровати, под голову её была подсунута, по-видимому, Дорой, подушка. «Я хотела встать и сходить в туалет», – сказала она. Дора растерянно стояла рядом.

Поспешно сбросив куртку на стул в прихожей, кинув грязные ботинки и сунув ноги в стоптанные шлёпки, он прошёл в мамину комнату, и они с Дорой попытались перетащить тещу на кровать. Тёща была тяжела, но на сей раз она всячески старалась им помочь, опираясь что было силы о пол здоровой и больной руками. Они волоком довели по надраенному паркету женщину до кровати. Одиссей с тру-

дом оторвал её от пола, принимая всю нагрузку на свою здоровую руку, и рывком затащил её на постель. Дора судорожно принялась поправлять свезённые ими простыни.

Через пятнадцать минут Дора закричала его из своей комнаты. Он нехотя поднялся с кресла, на котором, только что умывшись от выступившего бисером пота, сидел, передыхая и останавливая бухающее, как метроном, сердце, которое, казалось, вот-вот выскочит из груди, как маятник на часах под кукушкой, висевших у него на стене. «Я почти ничего не вижу. Какая-то тёмная пелена и только слабые-слабые очертания предметов», – сказала Дора, сидя на краешке дивана и ухватившись за него побелевшими костяшками пальцев, как за плот посреди разбушевавшегося моря. «Мне страшно», – продолжила она.

Он уложил её, как ребёнка, в постель, дал успокоительное и тёплого травяного чая, крепко обнимал всю ночь, целовал нежно-нежно, легко касаясь пересохшими губами, и гладил её по спутавшейся мокрой проволоке волос: «Всё у нас будет хорошо». Посреди ночи она заснула, одурманенная снотворным и защитным желанием не знать и не думать ничего о завтрашнем дне. Он не спал всю ночь, прокручивая сюжет о том, что беда никогда не приходит одна. Капкан захлопнулся, и теперь ему больше не выбраться из него никогда.

Утром он не мог уговорить тещу сменить памперсы и, махнув на неё рукой, уехал с Дорой по врачам, с трудом сведя её с третьего этажа по высоким ступенькам своей «сталинки» и посадив в свой старенький УАЗик.

Врач поставил диагноз «отслой сетчатки» правого глаза, на левом глазу сетчатка отслоилась, как оказалось, у Доры ещё в детстве, и нерв этого глаза был практически атрофирован. Нужна была срочная операция, которую брались делать только в Москве. Собирать бумаги на бесплатную операцию, как он понял, было уже непозволительной потерей времени, отпущенного на благополучный исход операции. Надо было искать деньги на платную операцию. Он снял все свои очень скудные сбережения, написал матпомощь на работе, назанимал денег у всех дру-

зей, спасибо им, без них бы он этих средств не нашёл никогда, заложил в ломбард старинные бабушкины золотые часы, понимая, что вряд ли он их сможет когда-нибудь выкупить.

Потом Одиссей позвонил сёстрам Доры, но оказалось, что старшая Роза приехать никак не может, так как у её маленькой дочери воспаление лёгких, а от младшей сестрицы проку пока никакого нет, только на дорожный билет стоимостью в четыре его зарплаты тратиться. Он нанял на двое суток платную сиделку по объявлению в газете за деньги, что Дора скопила «для матери», и они поехали. Дора не переставала плакать, слёзы непроизвольно текли из её опухших глаз с белками, будто опутанными красными червячками, которыми он обычно кормил рыбок в аквариуме. Она совсем ни на что не реагировала, не слышала его и только судорожно цеплялась за его рукав, не отпуская его от себя ни на шаг... Да он и сам её от себя не отпускал, крепко держал за руку или вёл, обнимая за плечи и крепко прижимая к себе в московском метро. Денег на такси не было.

Затем они высидели длинные душные очереди в разные кабинеты, он бегал платить деньги за операцию, потом ехали снова в метро к его московскому другу. Даше в тот приезд он звонить не стал.

На следующий день Дору прооперировали, ещё день она лежала на животе в квартире его друга, Сева кормил её с ложечки едой, которую приготовила жена товарища. Он так был благодарен этим ребятам, если бы не они, пришлось бы или садиться в поезд, или звонить всё же его излишне впечатлительной дочери.

Через день они вернулись домой. Он чувствовал себя цитрусом, пропущенным через соковыжималку, будто вынули все внутренности – и он теперь ни на что не способен больше.

Одиссей приходил с работы, готовил еду, кормил, мыл, убирал, давал успокоительное и ложился на кровать вместо того, чтобы пытаться пополнить семейный бюджет, зарабатывая деньги написанием различных энциклопедических статей для Интернета.

Ему казалось, что он тоже ослеп. И был этому рад, ему не хотелось видеть, слышать и чувствовать. Он крепко зажмурился глазами и погрузился в воспоминания.

По небу бежали голубые облака, меняя свои очертания, он лежал под вишней в саду с книжкой Гессе «Нарцисс и Гольмунд», ветви вишни опускались почти ему на лицо, так, что он мог дотянуться до ягод губами. Он легко срывал почти чёрные гладкие упругие ягоды пересохшими губами, забавляясь такой игрой и представляя, что это девичьи губы. Надкусывал их сочностью крепкими молодыми зубами, высасывал из них кислотоватую сладость и потом выплёвывал косточку, стараясь попасть как можно дальше от того места, где он лежал. Не из этих ли косточек пошли теперь в рост молодые вишенки у них на даче, с которых Даше так нравится собирать урожай, потому что можно было теперь его доставать, не вставая на лесенку. Он смотрел на полёт перистых облаков, предвещающих перемену погоды к ненастью, и думал, что не всегда все приметы сбываются. Свет лился, как будто он был живительной водой, сквозь листву вишни, тени скользили по его рукам, лицу, футболке, и ему представлялось, что это его любимая нежно щекочет его длинной травинкой с пушистым «лисыим» хвостом.

Зрение не восстанавливалось. Они почти не разговаривали об этом, слишком страшно было предчувствие беспросветной безлунной и беззвёздной осенней ночи, охватившее их жизнь. Дора лежала на кровати, отвернувшись к стене, её плечи начинали иногда мелко подрагивать, и тогда он подходил и, как заведённый, гладил её, гладил. Чем он ещё мог помочь? Сердце у него сиротливо сжималось от жалости к этой девочке и самому себе. «Умереть на бегу? Бегай!» Дора старалась побольше спать. Сон был для неё не только спасительным забытьём – во сне она видела дорогие ей лица, сны эти были полны льющегося сквозь листву солнечного света и завораживающе ярких красок, которые она ещё не сумела забыть.

Она училась жить на осязание и на слух. Она хорошо помнила расстановку предметов в доме, могла одеться, обратиться по стеночке до кухни и туалета, ощущая вспотевшей ладонью шероховатость рисунка на обоях. До кухни

идти не хотелось, и Одиссей приносил ей еду в постель. Она трогала его знакомое лицо руками, пытаясь вспомнить его.

Так прошло десять дней. На одиннадцатый день Дора увидела свет, это был не просто свет. Это были оранжевые, красные, синие, зелёные, бирюзовые, розовые круги, которые не имели чётких очертаний; они плыли и летели, как огни от взрывающихся в небе петард в тот майский вечер, когда она впервые приехала в этот город. Дора крепко зажмурилась, пытаясь проснуться... Но цветные круги не исчезали, они крутились, как в детском калейдоскопе, и никак не могли сложиться в постоянный рисунок. Она трясла головой – и круги занимали новое положение, создавая очередной причудливый узор.

Ещё через пять дней она увидела очертания цифр на телефоне. Жизнь, совершив очередную мёртвую петлю, начинала снова набирать высоту.

Было ясно, что её инвалидность теперь пожизненная, и она никогда уже не сможет работать ни юристом, ни смотреть в голубой океан монитора... Зато теперь она могла приходить по любому зову матери, и Одиссею не надо было общаться с этой навечно прикованной к постели чужой женщиной, которая его так пугала.

Доре дали пенсию, но она была очень мала, ведь у неё не было стажа. Вот тут Дора вспомнила, что она знает языки и, наверное, смогла бы заняться репетиторством, если Одиссей поможет ей с аудиозаписями и письменными иностранными текстами. Он ещё раз подивился её жизнестойкости. Недаром она когда-то написала на своей веб-странице о себе: «сила, энергия». И подумал, что для её психического здоровья будет лучше, если она на самом деле попытается стать учительницей на дому.

Нашлись и ученики: один студент биофака, которому никак не давался язык, чтобы сдать экзамен; три женщины лет тридцати, что хотели знать английский, чтобы ездить в турпоездки; двое школьников, которым грозила полная неуспеваемость по этому предмету, чем были очень обеспокоены их родители. Занятия сводились, в ос-

новном, к тренингу в разговорной речи, так как рассмотрение написанного давалось Доре с большим трудом: от напряжения у неё поднималось давление, начинались спазмы, в глазах опять темнело, возникала резкая головная боль и рвота, выворачивающая её наизнанку до посинения губ и зеленоватой желчи, поднимающейся горечью по её пищеводу.

Привыкаешь ко всему и смиряешься со всем. Жизнь снова налаживалась. Была опять весна. И снова с весной приходили маета, бессонные ночи и желание перемен. И снова все было точно на перепутье. И вновь чёрные тени в жёлтой проекции окна скользили по стене и не давали дышать. Дора гладила эти шершавые тени холодными ладонями, как будто они были и не тени вовсе, а живые ветки, по которым к почкам начинал подниматься сок, и радовалась, что не только чувствует их, но и видит.

22

Матери Доры тоже становилось лучше. Одиссей знал, что она не встанет никогда, но она теперь приподнималась на подушках, могла сама есть, просилась в туалет и даже вспомнила, кто такой Одиссей.

В один из дней, когда в окно рвалось и билось настырное солнце и его приход было нельзя отменить и заслонить никакими занавесками, так как оно всё равно просачивалось сквозь тонкий шёлк, наводя на тещу печальные думы о суетности и краткости жизни, Одиссей принёс ей стакан сладкого чая, в который был выдавлен лимонный сок, и – на блюде колёсики печенья, напоминающего шляпки сырых сыроежек.

– Я Вам очень благодарна, но хочу узнать, почему Вы не регистрируетесь? Я очень боюсь за судьбу дочери и надеюсь успеть увидеть её в браке. Я очень прошу Вас оформить свои отношения.

Капкан лязгнул своим металлическим замком, вгрызаясь в успевшую обрасти кожей душу Одиссея. Он ничего не сказал Доре о просьбе тещи. Но в этот день им

овладел какой-то подсознательный страх, что он никогда не сможет спрыгнуть с подножки этого чужого поезда, на который он вскочил в погоне за молодостью и несбывшимся и который, неожиданно вильнув на повороте, устремился под откос, увлекая его за собой. А иногда так хотелось соскочить в чистом поле, упасть на скошенную траву и вдохнуть всеми лёгкими её духмяный запах. Он понимал, что бросить Дору в таком её состоянии он не сможет всё равно. Природная порядочность никогда не позволит ему сделать это. Но регистрировать отношения? Увольте. Сейчас у него, по крайней мере, оставалась иллюзия свободы, что он сможет жуликовато слезть хотя бы на какой-нибудь остановке. Или его вагон вдруг случайно отцепят на станции и присоединят к совсем другому поезду, что весело побежит совсем в другом направлении «вперёд по шпалам, вперёд по шпалам...»

Потом у него ведь ещё Даша была в общаге журфака, больше похожей на бордель, чем на дом. Хорошо, что она хоть замуж вышла.

В очередной их поход с Дорой к окулисту-хирургу, который раз в два месяца навещался делать операции в их город, молодежавый лощёный членкор, поправляя позолоченные очки на переносице, сказал, что ему не нравится, как приклеилась сетчатка, осталась прослойка воздуха, и надо делать операцию повторно, чем скорее, тем лучше. Была названа сумма, значительно меньшая, чем в первый раз, но с учётом его ещё не до конца погашенного долга, весьма внушительная.

Снова собрались в Москву. Дора ходила притихшая, подавленная и постоянно шмыгала носом, отчего он стал похожим на недозревшую помидору в красненьких прожилках.

В этот раз после операции они сразу уехали домой на ночном поезде. Он лежал на верхней полке, чутко прислушивался, как неровно дышат и ворочаются на нижней, и снова ловил огни пробегающих поездов. Полоса тёмных окон, светлое окно, полоса тёмных окон, светлое окно и совсем тёмная полоса...

Как всё резко и внезапно изменилось! Ещё год назад Дора была такая счастливая! Любимая и любящая. И настоящая близкая душа рядышком. Да она и сейчас рядышком. Только какая-то невидимая стена вырастает между ними, или это только она её чувствует? А стена глухая, бетонная, как в каком-то подземелье, где-то в проёмах-бойницах мелькает белый свет, но выхода-то нет никакого. Кричи, не кричи – её не услышат. Бесконечный тупиковый лабиринт. Им ребёнка надо, наверное, завести, но врач говорит, что нельзя, глаза не выдержат такой нагрузки – и она совсем может ослепнуть. Если только «кесарить», но для этого надо всё равно поправиться, иначе как же она будет и за маленьким ухаживать, и за мамой... Она сильная, она железная. Она всё выдержит, только бы не ослепнуть.

Две недели была полнейшая темнота. Темнота эта придавила её к земле, вминала, как крышка гроба, в жёсткий холодный грунт, она ничего не могла делать совсем. Она и есть не могла. Приходил Одиссей, она чувствовала его шершавые ладони на своих веках, он гладил веки, потом осторожно оттягивал по одному и капал туда какие-то капли. Капли попадали мимо век и стекали, будто слёзы. Она чувствовала, что ресницы её склеиваются какими-то твёрдыми шариками и растирала шарики пальцами. Она теперь жалела, что согласилась на эту повторную операцию, ведь всё было уже неплохо.

На пятнадцатые сутки она увидела над головой на потолке оранжевый раскалённый шар в расплывчатом ореоле пламени. Шар напоминал солнце, которое катилось к закату.

Она вспомнила, что это, должно быть не солнце, а оранжевый шёлковый абажур, который болтался у них под потолком и окрашивал их жизнь в розовый цвет. Значит, розовый свет возвращается. Чтобы выжить, надо уметь создавать иллюзии.

Через два месяца она снова давала уроки, только ученики были уже другие. Старые разбежались, не став ждать, когда её жизнь предстанет перед ней в розовом свете снова.

Три месяца спустя она орала на Одиссея, что опять у них засорилась канализация, она не знает, что делать с материнскими пелёнками в таких условиях, что ему на всё наплевать, лишь бы торчать в своём Интернете, и он совсем не жалеет и не любит её.

Дора бросила судно на пол, с силой захлопнула дверь в свою комнату, надеясь, что он услышит её. Одиссей вздрогнул от стука посыпавшихся на пол кусков штукатурки, что полетели из щелей, уже давно наметившихся у косяка, как будто высохшая глина из растрескавшегося от засухи и осыпающегося крутого откоса русла.

Он встал, открыл входную дверь, ведущую из квартиры в пропахший кошками подъезд, нарочно громко бряцая связкой ключей, и, стукнув железной дверью с лязгом закрывающегося тамбура, вышел из дома.

Через полчаса предательская пелена начала наползать на зрочки Доры. Все предметы стали двоиться, троиться, умножаться, как будто преломлялись посыпавшимися из глаз прозрачными слезами. Она судорожно стала шарить по столу пальцами, отбивающими неуклюжую чечётку, совсем не в такт конвульсиям песни, выкрикиваемой репродуктором, и искать мобильный телефон.

А Одиссей летел по осенней набережной, постепенно замедляя шаг и останавливая сердце, бьющее в грудь копытом, как взбесившееся животное, бросающееся на прутья клетки. День был безветрен и прозрачен. Отмирающие и опадающие листья скользили по тонким невидимым шёлковым нитям паутины и повисали в воздухе, не достигнув земли. Он подумал, что он тоже, как эти листья, высохшие, без сока, повис в воздухе и висит на тонкой, липкой и невесомой паутине, запутавшийся в её спасительной сетке. И не знает он, что ему предстоит, то ли северным порывом ветра погонит его в неизвестном направлении, то ли упасть ему совсем рядом и быть вдавленным в асфальт острым каблучком с металлической набойкой.

Зазвонил сотовый, он посмотрел на дисплей и отклонил звонок. Он шагал по набережной, свободный, смотрел на серую рябь реки с пролетающими чайками судов на под-

водных крыльях, и думал, почему он не может мчаться, как эти суда, весело разрезая засасывающую толщу глубокой воды, превращая её в мелкие брызги, разлетающиеся в разные стороны, как осколки хрустальной посуды.

А телефон всё звонил и звонил, напоминая рёв сирены.

24

И опять всё обошлось. Снова сетчатку приклеили силиконом. Тёща лежала тихая и внимательно изучала трещину на потолке.

Одиссей был зол на врача, думая, что тот просто из современных оборотистых молодых профессоров, кующих деньги на несчастьях близких. Он поднял на ноги всех своих знакомых, те нашли ему альтернативные консультации, на которых его уверили, что лечение правильное, операция сделана очень профессионально, но гарантии нет никакой, и вряд ли кто вообще полезет в такой глаз. Его жене категорически нельзя нервничать и иметь сильные физические нагрузки.

Он в который раз удивлялся мужеству своей маленькой подруги, но что-то в ней вместе со зрением сломалось необратимо, то, что нельзя было уже починить.

В ней пропал её молодой задор и энергия, хотя сила осталась. Но это была сила оползня, сползающего с горы и готового неотвратно всё погребать под собой. Увернуться от него не было никакой возможности. Можно было только бежать, зная, что сорвавшаяся лавина догонит и сожёт с ног всё равно, вождёт в землю, которая будет мягко хрустеть на зубах, перемежаясь с некошеной травой.

Дора всё чаще сидела в кресле или лежала на диване, как лежала её мать. Она даже музыку перестала слушать. Он вспомнил, что он когда-то смотрел фильм Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», о слепнущей девушке, которая танцевала. Все кадры в нём были размытыми, нерезкими, рука режиссёра дрожала, как осенний лист на ветру; камера, видимо, заваливалась набок то влево, то вправо, то резко падала вниз, тяжелея в немеющей руке –

и все лица и предметы тоже дрожали, подпрыгивали, плыли в своём неестественном ритме, бились в конвульсиях и передвигались, как машины, попавшие в гигантскую пробку: короткими рывками и перебежками. Ему тогда на просмотре фильма стало физически плохо: от духоты в кинозале, от нездорового мельтешения на экране, словно конвульсии агонизирующего, у него поднялось давление и начались спазмы. Он лежал в жёстком деревянном кресле кинозала, насколько возможно сползая с него – так, чтобы перевести голову хотя бы в какое-то подобие горизонтального положения; твёрдый, как молоток для отбивания мяса, край спинки кресла врезался в затылок, причиняя дополнительную боль, которая и так схватила голову обручем. Просунув ноги под сиденье впереди стоящего кресла, он закрыл глаза, стараясь подавить подступающую тошноту, лежал и думал о том, что вот знаменитый режиссёр как-то невзначай достиг своими приёмами того, что Одиссей смог физически почувствовать состояние танцующей на экране девушки. Теперь он видел огненные круги, похожие на взрывающиеся в чёрном небе петарды; круги двоились, троились, сливались и умирали, чтобы возникнуть из пепла снова.

Нет, его подруга не стала слабее, она просто стала злее. Он понимал, что это ожесточение от непредвиденного несчастья, свалившегося на неё, – нас всех готовят к счастью в этой жизни, и очень мало у кого получается быть счастливым. Когда Дора начинала искать в доме кастрюлю, ему казалось, что завязываются рыцарские бои, с таким остервенением она искала в столе какую-нибудь завалившуюся эмалированную крышку. Он старался не спорить с ней ни о чём, но всё чаще и чаще в него летели какие-нибудь тарелки и чашки, осколки от которых теперь приходилось собирать и выметать ему. Неделю назад она метнула в стену пульт от телевизора, на который они с трудом выкроили деньги. Пульт раскололся; батарейки, отброшенные пружиной, закатились неизвестно куда – и он два часа искал их по всем пыльным, облепленным паутиной углам, отодвигая шкафы и диваны, выволакивая оттуда клочья сва-

лявшейся пыли, похожей на тополиный пух, извалявшийся в чернозёме, в надежде, что электроника пульта цела.

Дора стала осваивать азбуку слепых. Гладила книги руками; как когда-то ласкала его лицо, изучая и запоминающая его, так теперь она ощупывала эти выбитые точки, пытаясь понять и выучить их язык. Сам Одиссей был уже книгой прочитанной, которая лежала на столе под рукой, как книга «О вкусной и здоровой пище», которую никогда не читают, но используют при случае.

В один из вечеров Светлана получила сообщение в «Одноклассниках.ру» от Одиссея.

<http://www.odnoclassniki.ru/>

Одиссей: Мне с Вами интересно, хотя это ещё ни о чём не говорит, но это меня пугает. У меня в жизни началась «чёрная полоса», причём очень широкая. Обычно мы приклеиваем маску «У меня всё нормально». Очень даже вероятно, что два наших одиночества, встретившись, так и не смогут разжечь свой костёр. И опять будет больно, очень больно. Но это будет другая боль, сквозь которую будет прорываться ощущение, что мы с Вами сделали всё, что могли. А пока, открывая свой электронный почтовый ящик, я каждый раз ощущаю биение сердечка, увидев в папке «Входящие» Ваше имя.

Нам уже так много лет, две трети жизни уже прошло, остались какие-то крохи... я знаю, что я загнан в тупик, из которого нет выхода и не будет.

Светлана: Я, к несчастью для себя, умею читать иногда между строк. Над Вашей жизнью повисло ватное одеяло облаков? И безветренно. Их никуда не отгоняет? Но ведь за чёрной полосой всегда приходит светлая. Вопрос только в ширине полос. Всё проходит, пройдёт и это. Если Вам будет очень грустно, Вы пишите. Просто так. Я человек – не «стайный» и, тем более, не «стадный»...

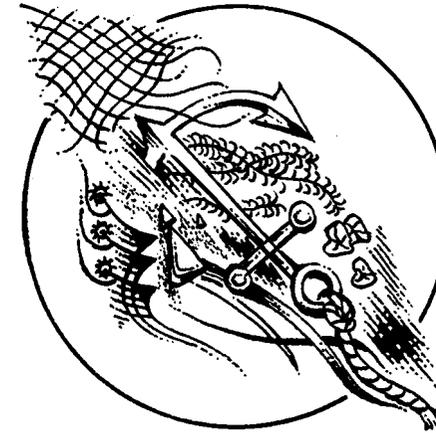
Одиссей: Я был в Дивеево когда-то. Зимой. Так вот... Я долго боялся прыгать в польню, а потом решил: прыгаю... А когда прыгнул – у меня дух захватило, думал, инфаркт будет от перепада

температур. А потом такая лёгкость была... И сейчас у меня такое же состояние: «Прыгнуть? Не прыгнуть?»

Светлана: Понимаете, что можно прыгнуть – и, скорее всего, напоротся на корягу или, если не расшибить голову о булыжник вместо глубины, то пропахать мордой по илистому дну? Вечные поиски недостижимого. Сейчас смотрю по вечерам фильмы Бергмана. Отвечаю, а ещё не вышла из их психологического настроения. Извините, если не в резонанс. После них какое-то очень странное чувство возникает, что человек – очень одинокое существо в экзистенциальном смысле. Все мы чего-то ждём. Бегаем всю жизнь в сачком за бабочками иллюзий.

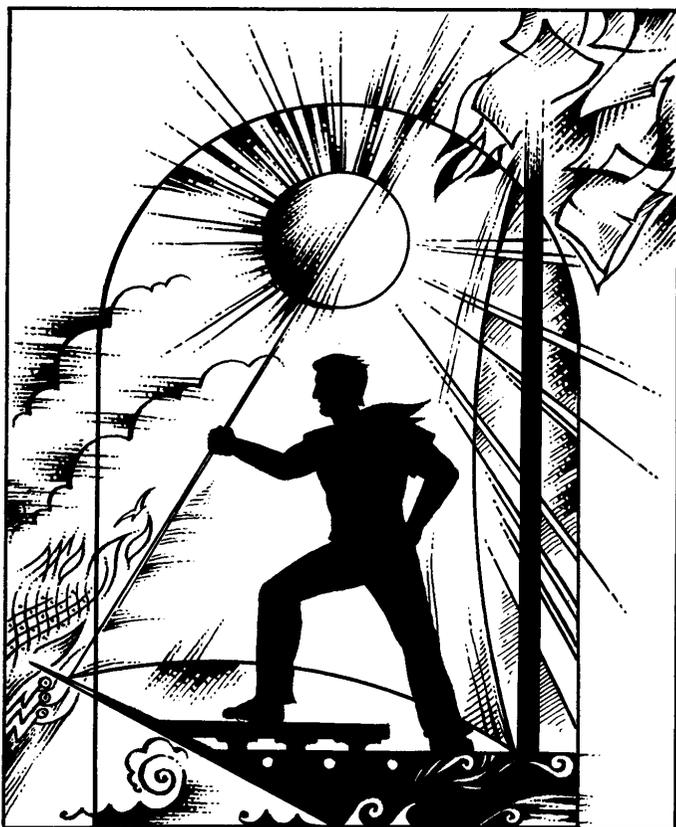
Одиссей: Может быть, мы погуляем по городу? У меня какая-то депрессуха.

Светлана: Погода нынче стоит аномальная. Тепло, как в октябре. Я уже спрятала осеннее пальто в полиэтиленовый мешок с нафталиновыми катышками и выстирала лёгкий шарф. Пришлось доставать обратно. Шарф снова запах парижскими духами. И совсем не понимаешь, не чувствуешь, что давно не октябрь, а сама зима, и лучшее время ушло, пролетело: беги, не беги – только задохнёшься с сердечным приступом; в чужой вагон на скоростном ходу экспресса не прыгнешь; несбывшееся, скорее всего, несбывшимся и останется – только всё большее будет сердце щемить от пропажи и бездонной пустоты... И ждать остаётся лишь снега и чёрно-белой жизни без вкуса и с заложенным носом. Но пока октябрь – и кажется, что это всё не про тебя...



Голубой океан





Зачем человеческая природа устроена так, что потерпев неудачу в одной любви, мы тут же бежим на поиски другой? В вакуум втягивает любого, кто оказывается поблизости. Но ведь сердце Одиссея не опустело. Он понимает уже, что не сможет, наверное, никогда бросить свою бедную подругу. Он опять в ответе за тех, кого приручил. А жизнь всё больше начинает походить на ад. Зачем он послал этой женщине последнюю записку? У них нет будущего. У него есть прикованная на годы к кровати тёща и близкая женщина, которые в нём нуждаются и которые без него пропадут. Почему человеку свойственно совершать иногда непредсказуемые поступки? Просто в тот день на него накатила, как серое, беспристрастное море, такая тоска, справиться с которой не было никаких сил. Тоска была неумолима, как осень и возраст. Можно пытаться подтянуть свои морщины болезненным хирургическим вмешательством, но природу не обманешь. Он запрыгнул в чужой вагон в надежде, что в спальном вагоне окажутся свободные места, оставшиеся от брони, а проводник бесцеремонно проводил его на жёсткое место в прицепном последнем вагоне, а вагон качает из стороны в сторону так, что даже на ногах устоять трудно. Он и Дору утащил за собой в этот последний вагон.

А теперь он идёт по осеннему городу с этой полужанкой женщиной, с которой он не виделся почти двадцать

лет, лучших лет его прожитой жизни, но с которой у него есть общие воспоминания из того времени, когда он был глуп и ему казалось, что всё у него состоится – только надо много работать для этого и жить честно.

Он идёт и блаженно улыбается, хотя улыбаться нечему. Женщина рассказывает ему о своей жизни после смерти её мужа, принимавшего когда-то участие и в судьбе Одиссея. Это благодаря ему Одиссей смог повидать мир на Соросовские гранты. Женщина ещё молода и уже не молода. «Она из твоей весовой категории, – думает Одиссей, – поэтому тебе с ней легко». Нет того вечного ощущения, что сидишь на жёрдочке качелей: с одной стороны – ты, с другой – она. Качели взлетают, ноги отрываются от земли, сердце ухает в пропасть – и кажется, что вслед за сердцем в пропасть полетишь ты. А потом ты резко и больно ударяешься о землю, слышишь глухой звук удара и чувствуешь, что сейчас тебя выбросит с насиженного места куда-то в сторону.

Осень на редкость тепла. Октябрь, а ты одет не по сезону. Синий шерстяной пуловер с белым орнаментом, напоминающим всплывающие окна монитора. Он тебе идёт, этот свитер. Даша как-то пошутила, что он его специально купил в тон монитору, чтобы составлять гармоничную пару. Он идёт лёгкой пружинящей походкой в полуметровом расстоянии от женщины и ему хочется взять её под руку, но он не решается. Навстречу им попадаетея пожилая пара. Коричневый сморчок в старческих бляшках в половину лица, изборождённого морщинами, как будто ветер пробежал по дюнам, складывая песок в рифлёную поверхность, да божий одуванчик в пепельных кудряшках химической завивки, рассыпающихся на ветру. Пара идёт им навстречу, крепко держась за руки, как будто опасается, что толпа может разъединить её. Но эти двое идут как равные, а не как в последнее время Одиссею приходилось ходить с Дорой, цепко держа её за руку, как ребёнка, которого боятся выпустить, чтобы тот не потерялся и не заплакал в голос, привлекая внимание прохожих.

И Одиссею вдруг захотелось, чтобы в его жизни была вот такая осень – когда можно гулять, взявшись за руки, на зависть или улыбку всем прохожим.

С деревьев опадают последние яркие листья, дрожащие на южном ветру и похожие на жёлтые, красные и оранжевые лоскутки. Кроны деревьев становятся всё прозрачней для солнечных лучей, падающих рассеянным и ленивым пучком на тротуары. Он поддаёт носком один из листьев, ярко-огненный, и катит его по тротуару, как маленький футбольный мяч. Женщина смеётся залихватским смехом, напоминая ему звон бубенчиков, которые привязывают к лошадям, тащащим повозку, нагруженную гуляющим народом в парке на масленицу. Лист отрывается от земли, подброшенный носком его ботинка и подхваченный лёгким ветерком; повисает в воздухе – и вдруг резко поворачивается и улетает за ограду набережной, оберегающей крутой спуск к реке. Они стоят у ограды и медленно провожают в полёт этого маленького дельтапланериста. И ему вдруг очень хочется сорваться в лёгком беге и лететь кубарем за этим шальным листом, ловя улетающее мгновение и совсем не думая о том, что этому листу суждено быть прижатым к земле, стать измочаленным скорыми изнуряющими дождями и, наконец, оказаться придавленным к земле глубокими снегами, по которым настоящие лыжники будут прокладывать свою дорогу, чтобы лететь очертя голову и перейти вставшую ненадолго реку.

Он рассказывает Светлане свою жизнь, но не сегодняшнюю, когда все нервы напряжены до такой степени, что кажется, только тронь – и зазвучат визгливыми звуками расстроенной гитары, от которых хочется заткнуть уши. «Хранить несчастья отдельно от счастья»... Каждый имеет то, к чему так или иначе шёл.

Когда-то он завёл маленького котёнка, которого назвал Янус из-за его странной окраски: правая половина его шерсти была окрашена в рыжий цвет, а левая половина в чёрный – огонь и пепел. Котёнок однажды подрос и чуть его не убил. Одиссей проснулся ночью, почувствовав, что сейчас остановится сердце: воздуха не было, он задыхается и его лицо горит. Он попытался открыть рот, но понял, что ему воткнули какой-то меховой кляп – и кричать он не может. Стояла крошечная темнота, в которой не было никакого просвета и звёзд; пролетело видение, что это дурной сон, но

сгорело кометой, вызывая удушье. Он схватился рукой за лицо – и ощутил, что всё оно покрылось густой шерстью. Он закричал в ужасе от своего сна, но внезапно тёмный занавес поднялся, открывая его комнату, залитую лунным ртутным светом и морозным воздухом, струящимся из открытой форточки. Янус шмякнулся на пол, злобно мякнув. Их кот почему-то никогда не падал, перевернувшись в воздухе на все четыре лапки, а именно шмякался на спину, задрав лапки, и обиженно, с недоумением лежал на спине, показывая всем своё ассиметричное брюшко.

Почему этот любимый им Янус решил, свернувшись калачиком, спать на его лице? К чему он хотел быть ближе? Почему наши любимые близкие, желая быть к тебе ближе, могут невзначай убить?

26

Бедный отец. Это же надо так вляпаться! Самое печальное, что она уверена, что он женится на Доре. Это он от них с мамой сумел убежать. Если бы Даша могла его как-то спасти от этой катастрофы! Ей теперь даже и приезжать к нему совсем не хочется. Это чужой, разорённый дом, в котором пахнет бедой. Отец делает вид, что всё нормально, он не может ничего изменить, а он действительно и не может: вот так однажды твоя жизнь летит под откос, потому что кто-то шулки ради бросил под колёса камень. Ей уже жалко теперь его подругу. Она даже представить себе не в состоянии, как так получается жить, видя всё не в фокусе. А Даша чуть старше Доры. И помогать теперь Даше отец совсем перестал. Денег никогда не хватает. Их и раньше никогда не было, когда они жили в Коломне. Они тогда не покупали ни колбасы, ни сыра, ни творога, ни тем более сметаны. Родители не дарили ей никакой новой одежды, а ей так хотелось. Она перешивала старые бабушкины платья для себя. Распарывала, перекраивала, пришивала контрастные оборки по подолу, чтобы сделать юбку подлиннее, ведь Даша была не такой маленькой и прижатой к земле, как бабушка. Мама у неё совсем не шила, она

даже пуговицу пришить не могла красиво. Всё время просила или бабушку, или Дашу. А Даша вот шила с пятого класса, когда их начали учить этому в школе на уроках домоводства. Она ходила в этих ею самой придуманных вещах – и все оборачивались на неё, как это всё было необычно. Необычность от безденежья.

Теперь она подрядилась делать слайды для различных презентаций. Какой-никакой, а всё-таки заработок.

Раньше она так любила приезжать к отцу, а теперь... Теперь отец приезжает к ней, как будто бежит из дома. Они, как в детстве, гуляют с ним по городу, катаются на аттракционах и едят мороженое. Он не хочет говорить о своей новой семье, но всегда передаёт от Доры привет. Он такой умный, такой талантливый, а так оболванил свою жизнь. Загнал себя в тупик. Иногда ей хочется сказать этой Доре: уезжай к себе туда, откуда приехала, к своим сёстрам и брату, забирай свою мать и не порти моему папе жизнь. Она знает, что так говорить нельзя. Раньше было нельзя, потому что отец всё равно не послушал бы. Сейчас табу, потому, что беда, беда длиною в жизнь. Почему люди не умеют не тянуть своих близких за собой на дно? Ведь не якорь же – близкие тебе люди? Надо, наверное, уметь рвать канаты и цепи, чтобы не ржавеет на приколе в мелкой прибрежной волне. Это перечит голосу совести, конечно; претит твоему чувству долга. Но почему вот отец не может через это перешагнуть, а эта еврейка способна поселиться, как у себя дома, в чужой квартире, привезти туда свою мать, водить своих многочисленных друзей? Почему её сёстры способны бросить мать, а отец совершенно чужую ему женщину – нет, пусть даже она и мать его подружки? Он стал таким раздражительным, мрачным, она иногда его не узнаёт. Почему он, как страус, закапывает голову в песок и делает вид, что не видит своего будущего? Почему, в конце концов, он нянчится с этой девкой и совсем не думает о ней, любимой доченьке? Не видит, что она спит по четыре часа в сутки: учится, а ночами делает все эти слайды, за которые получает, в сущности, копейки. У них всем в их группе помогают родители, а её вот кинули на произвол судьбы – и нянчатся с чужими детьми.

Она злая, наверное. Когда она так начинает думать, ей становится страшно, что в её голове чёрное и белое мешаются. Ведь это чёрное – так думать. У Доры, действительно, настоящая беда. Но она, Даша, почему-то никак не может думать иначе, хотя старается. Шлёт Доре музыку и фотографии разные по электронке. Но её так и подмывает всё время сказать: уезжай, брось моего отца. Удовольствие ей, видишь ли, по откосу гулять. И по ресторанам чтобы водили, нравится. Курва общипанная.

И к маме Даша приезжает теперь тоже, как не к себе домой. Толик, конечно, хороший человек, и маму любит, но Даша чужая там стала, мешает, она чувствует, что она мешает. Мама боится, что она разрушит её призрачное и неожиданное счастье.

27

Почему Светлана ждёт звонков и писем от этого Одисея? Её жизнь кончилась со смертью мужа. И, пожалуй, она уже привыкает быть одной и даже думает, что это не так уж плохо. Живёшь, как хочется: никому ничего не должна. Никаких тебе ссор, нервотрёпка – только на работе, дома же никто не дёргает. Она приходит с работы совершенно измочаленная, шинкованная и отжатая, как капустный лист... Ей даже еду себе погреть не хочется. Она всё чаще ловит себя на мысли, что был бы в доме мужчина, ей бы пришлось готовить ужин, прокручивать мясо в мясорубке, валять из него котлеты, а потом стоять у плиты на ногах и жарить их до хрустящей корочки. А она после работы совсем не может стоять, ноги отекают – как подушки, и болят. Она, не торопясь, моет их холодной водой, втирает в мелкую синюю сеточку, похожую на фиолетовую паутину, крем с ментолом и каштаном, кладёт на диван под ноги плюшевого дельфинчика и лежит часа два, пока сможет спокойно встать и делать дела. Дела она может делать потом долго, часов до двух ночи, никому не мешая, никого не раздражая своим шуршанием. Можно работать за компьютером или читать книжку, сладко

свернувшись калачиком (а в выходные даже вообще лечь спать под утро), можно часами говорить по телефону, не боясь быть услышанной. Никто не прервёт потока твоих мыслей, не оторвёт от дела своим психозом, что надо срочно заниматься совсем другими вещами. Можно просто ходить нечёсаной, в драном халате, с бигудями на голове. А если вообще сил нет, то можно прийти с работы – и просто рухнуть на постель, проваливаясь в сон хотя бы на час. И никто не включит телевизор, по которому показывают хоккей, и не будет кричать на всю квартиру, когда шайба попадает в не те ворота.

Никаких тебе вонючих носков и сопливых платков, что оказываются засунутыми в самые неподходящие места и на которые постоянно натыкаешься; никаких раскиданных спортивных штанов с вытянутыми коленками, похожими на карманы кенгуру, и маек, пахнущих дешёвым табаком и потом; никаких грязных тарелок и сковородок, сложенных к её приходу с работы горкой в раковину, напоминающей гигантскую игрушечную пирамидку; никаких обляпанных глиной ботинок, что валяются посреди коридора и с которых натекла не одна лужица мутной воды, штиблет, оставивших гигантские узорные следы по всему линолеуму – как будто раненный медведь кружился по всей прихожей; никаких приклеенных к полу мякишей раздавленного хлеба, что вырос мохом вперемежку с просыпанными обгоревшими спичками, изогнувшимися на полу белыми червячками, хлеба, который можно отскоблить только острым ножом. Она даже и убирается теперь раз в квартал. И то потому, что пыль с улицы летит.

Она больше не чувствует себя женщиной и живёт по инерции, без какого-то интереса. Она даже почти счастлива вот этой ровной отутюженной жизнью без особых подбрасываний на ухабах. Молодость миновала. Это узнаёшь не только по потерям и исчезновениям любимых и близких, но и по отсутствию желаний. Хочется жить, просто переползая изо дня в день, не ставя никаких целей. Зачем? Ведь всё равно вблизи цель не узнаешь. Увидишь мелкие, совсем неприглядные подробности и детали, которые даже не угадывались издалека.

Её как будто обволакивает туман, туман одиночества, за которым никого не видно. И её тоже не видно. Но её даже радует это отсутствие видимости. Купаешься в белом молоке, как в пуховой перине.

И всё же она ждёт письма, хотя бы самого коротенького. Это она понимает. Нельзя в одну и ту же воду войти дважды. Если писем нет, она зачем-то ходит по всем тем сайтам и чатам, где Одиссей оставляет свои следы, «отдельные и неповторимые, как своя жизнь». Пытается понять по этим неуловимым теням, чем он живёт. У него почти нет теней от личной жизни на страницах Интернета: одна работа, сотни страниц Интернета – и лишь его работа. Пропали и страницы из дневников его подруги. Совсем канули в Лету? Только ли потому, что у той ослабло зрение? Или на страницах «Живого журнала», видимых любому постороннему, оставляют следы люди, которые счастливы и которые хотят заявить миру: «Я живу полной жизнью. Завидуйте мне. Я победитель, хотя бы сегодня. Я стою на сцене, и меня освещают юпитеры. Завидуйте мне, все мои друзья и враги, мои любимые и любившие, бывшие и нынешние». Заявляют, самоутверждаясь и уговаривая себя в том, что сегодня им хорошо. Останавливают мгновение, понимая, что так будет не всегда. Счастье не может быть долгим. А чаще бывает так, что только спустя годы мы понимаем, что были счастливы когда-то. «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя»... Где эта песня? Тоже канула в небытие вместе с юностью, пролетевшей и сгоревшей, как звезда в холодной августовской ночи? Клацнул затвор фотоаппарата – снимок готов. Снимку выцветать, терять насыщенность красок, желтеть и стариться бумаге, как стареет и желтеет наша кожа. А экран Интернета так и останется голубым, как океан в солнечную погоду... И вдруг когда-нибудь в старости ты сам набредёшь на свою незапечатанную бутылку со старым электронным папирусом, читанным-перечитанным сотнями скучающих глаз, и подумаешь: «Как же я был глуп и наивен, как самодоволен, как не похож на себя нынешнего, и, если бы я мог встретиться с самим собой, но юным, в этой жизни, то мы бы, возможно, сильно повздорили».

Зачем же она бродит по этим чужим страницам, выставленным напоказ, как реклама счастья или афиша спектакля? Неужели только любопытства ради? Да нет... Она не боится признаться себе, что что-то её зацепило в этом человеке, и не сейчас, а тогда, в юности... Выуженная нитка, которая, казалось, может вытягиваться, как резинка, вдруг завязалась узелком. Сила, с которой нитку тянули, ослабла – и началось стремительное уменьшение расстояния в обратную сторону.

Возраст начинаешь осознавать с опозданием. Все уже знают – а ты ещё не догадываешься. Кажется, что чудо ещё впереди. Ждёшь подарка, как в детстве. Ищешь под ёлкой. Давно знаешь, что Деда Мороза нет. Ну и что? Есть мама и папа. Есть бабушка и дедушка. Они ещё играют в эти игры, хотя понимают, что ты давно играешь с открытыми глазами. Но подарок-то существует. И ожидание чуда существует такое явное, как запах отогревающейся от мороза хвои, от которой кружится голова.

Впрочем, последняя ёлка была очень давно. Её принёс участковый врач. Отец тогда умирал и уже не мог стоять в длинных очередях часами на морозе в ожидании грузовика с накиданными в него слегка уже полысевшими по пути в город елями, срубленными до срока и провалявшимися почти месяц на морозе. Им теперь предстояло ненадолго оттаять, быть наряженными в цветную мишуру, разноцветные блестящие сосульки и шарики, в которых маленькой Светлане так забавно было изучать своё отражение: нос картошкой в половину физиономии, рот до ушей, вытянувшееся лицо, широко распахнутые глаза Дауна. Вскоре ёлкам предстояло осыпать иголки на паркет, из которого их потом ни за что не вымести. А когда с напрочь полысевшей ветки съедет на пол колокольчик (он сначала протяжно зазвонит – и его почти не услышат – так, догадка о чём-то, а потом вздрогнут от звона разбившегося стекла), оказаться сваленной за домом рядом с мусорным контейнером в окружении таких же месяц тому назад ещё молоденьких и вечнозелёных.

Той последней ёлке была суждена другая судьба.

Её унесли из дома раньше. На другой день, как только она успела оттаять в тепле и стала источать горьковатый

хвойный запах праздника. Её успели даже нарядить. Оловянные солдатки и дюймовочки крепко сидели на прищепках, шары и полусферы не падали, даже повешенные на самых кончиках её пока мохнатых лап, запутавшись нитками за пахучие иголки. Новый год ещё не наступил, а с ёлки сняли игрушки и унесли её на помойку. В этот год чуда не получалось. Отец начал задыхаться от запаха хвои.

Спустя несколько лет были ещё совсем ненаряженные ветки с живыми коричневыми шишками. Их принёс старый знакомый. В этот год чуда не ждали. Ждали смерти – и боялись, что она постучит под Новый год, а значит, могильщики будут пьяные, знакомых не найти, а в моргах – рождественские каникулы. Бабушке запах хвои не мешал. Она была уже где-то там... Она помнила про троксевазин на окне, но не узнавала дочь. Приоткрывала светло-голубые, небесные, почти прозрачные глаза, такие странные на иссинячёрном синяке лица, силась вспомнить, кто же это, улыбалась и махала слабой ладошкой: «До свиданья...» Запах мешал живым. Еловые ветки мысленно сворачивались в колечко, а хвойный запах перебивал запах немытого тела и свежеструганной сосны. Но съёжившиеся от мороза шишки на ветках вдруг раскрылись и просыпали на стол семечки. Весь стол был завален лёгкими крылышками каких-то больших насекомых. Эти насекомые, наверное, летели на яркий свет, крылышки свои обожгли – и они отвалились. Большая стая насекомых – и все летели на яркий свет.

Теперь появились искусственные ёлки. В детстве тоже были искусственные, но не живые. А эти – живые искусственные, они не пахли, но их можно было надушить хвойным освежителем воздуха. Сибирские, голубые, длинно- и короткохвойные, сосновые, кедровые, с шишками и без. Разные-разные. Совсем не лысеющие. Вечнопушистые. Вечнозелёные. А значит, чудо задержать в ладони возможно? Надо только чуть-чуть себе подыграть. Как в детстве, когда залезал под ёлку за подарком. Радость от ожидания чуда, она ведь всегда сильнее, чем сам праздник. От праздника остаётся гора немытой посуды, залитая рыжим соусом и красным вином скатерть, старческие бляшки разможжённых крошек на полу, головная боль от жизнерадостного телевизора и не

тающая до весны печаль, что ещё год нашей жизни прошёл, и, в сущности, громкими криками «С Новым годом!» мы лишь приветствуем своё приближение к старости. Ведь это не время проходит. Это проходим мы.

Впереди снова шёл Новый год. Светлана теперь воспринимала Новый год однозначно: как возможность отдохнуть и отоспаться. Время, когда можно почти до утра целую ночь, лёжа в постели, читать книги или смотреть фильмы, а потом сладко спать даже не до полудня, а до того времени, когда за окном начинают слегка сгущаться сумерки, окрашивая снег за окном в лиловый свет, и пропадают все тени. Когда-то ожидание Нового года означало ожидание чуда. Теперь чуда она не ждала. Она ждала покоя. Уютного такого ватного сугроба, в котором можно спать, как медведю в берлоге.

В этот год ей даже ёлку наряжать было неохота. Существует такое поверье: как Новый год встретишь – так его и проведёшь. Так пусть ей будет мягко, тепло и спокойно. Большого она и не ждёт.

Сделав несколько дежурных звонков и отправив по электронной почте с дюжину поздравительных открыток, она поужинала макаронами с сыром, прослушала обращение президента и бой курантов, под которые все обычно загадывают желания, и нырнула с книжкой в постель в предвкушении десяти дней выходных. У неё было несколько желаний: чтобы повысили зарплату, чтобы перевели на лучшую должность, чтобы ничего плохого не произошло и чтобы побольше было свободного времени. Подруга ей сказала по телефону, что надо загадывать лишь одно желание и очень хотеть, чтобы оно сбылось, всё то время, пока бьют куранты. Но Светлана решила, что загадает несколько, как обычно. Ведь из нескольких какие-то всегда всё же сбывались. Но, когда она услышала бой курантов, похожий на колокольный звон, оповещавший о начале другого года, который не сулил никаких перемен к лучшему, она почему-то загадала всего одно желание: «Хочу любви и больше не быть одной». Когда куранты затихли, она подумала: «Зачем же я так загадала? Я хочу только спокойной жизни, а любовь – это уже жизнь неспо-

койная. Ну да ладно, загаданные желания всё равно не сбываются. Может быть, потому, что мы не очень этого хотим? Иногда нам кажется, что хотим, а в подсознании живёт совсем другое, живёт, чтобы всплыть, как утопленник, в самый неподходящий момент, как будто утопленника можно оживить».

Первого января за окном начались морозы, и в квартире, как водится в праздники, перестали топить; она наде- ла штаны с начёсом и боты «прощай, молодость» с мехо- вой окантовкой, натянула два свитера и ватную стёганую жилетку и стала изучать поздравительные открытки, сча- стливо улыбаясь и думая, что это же хорошо – «электрон- ная почта». Она слегка удивилась, обнаружив в почтовом ящике поздравительную открытку от Одиссея: «С Новым годом! Желаю, чтобы в Новом году жизнь запахла весной!»

Она зачем-то попыталась поискать его следы в Интер- нете... Следов было много, но все – по работе... Лишь одна надпись на стене <http://vkontakte.ru/> немного проливала свет на состояние её далёкого знакомого. Ему писали: «Надо зажаться и не скулить. Хуже уже вряд ли может быть. За чёрной полосой приходит светлая». Ох, уж эти надписи на «стенах»! Они – как тени... О подробностях можно только догадываться, а контурный рисунок, бегу- щий по стене, для острого глаза отчётливо виден. Хотя иногда его и приходится разгадывать. Надпись можно сте- реть, можно переписать, а можно оставить навсегда... А настоящие тени на стенах уходят с исчезновением света. Не догнать и не вернуть...

Лёгкий, почти не фиксируемый в сознании интерес к нему забрезжил, как белый парусник на горизонте. Из какого миража и когда возник этот корабль? Почему он приближался, стремительно увеличиваясь в размерах? Зачем на него хотелось посмотреть в бинокль? Интерес торопил поступки...

Теперь Светлана выстраивала в цепочку всё, что знала о нём. Одно цеплялось за другое, порядок звеньев был не важен. Цепочка была непрочная, и разорвать её можно было лёгким рывком. Но рвать не хотелось. Разлетятся звенья с тихим печальным звоном, закатятся в щели па-

мяти – попробуй, извлеки оттуда! Будут поблёскивать из глубины, тревожа воображение.

Она подумала, что возраст измеряется ценой душевных затрат. Отказываешься платить эту цену – значит, соста- рился.

28

Даше больше не хочется приезжать к отцу. Ей там не- уютно. Она там в гостях. Но это ужасно: жить в гостях там, где прошло всё твоё детство. Зато отец теперь часто наезжает к ней в Москву, гораздо чаще, чем раньше, буд- то бежит из дома.

Она его как-то спросила:

– Папа, ты же не чувствуешь себя счастливым, тебе плохо?

Он усмехнулся и ответил:

– Знаешь, малыш, птицы не виноваты в том, что свили гнездо в зелёной кроне, а пришла осень. Каждый день дует ветер, а высохшие и пожелтевшие листья опадают. А гнез- до остаётся висеть, открытое всем ветрам. С перебитым крылом на юг не улетают.

Как она ненавидит эту Дору! Ей даже страшно становит- ся, как она её ненавидит. Так окрутить и исковеркать жизнь отца! Она её сразу невзлюбила, хотя все думали, что они поч- ти подруги. Глупые люди! Даже ему все говорили: «Как тебе повезло с дочерью: всё понимает». Но как мог её мудрый отец притащить к себе эту девицу без прописки и работы, у кото- рой только и была цель обустроиться? Да, Даша изображает жалость и сочувствие, а в глубине души ненавидит эту его подружку. Неужели мы все так двулики? Под маской благо- душия скрывается наша чудовищная сущность. Не будите раненого зверя. А чем её ранили? Разводом родителей? Жиз- нью вдали от очень любимого человека, отца? Тем, что при- ходится с шестнадцати лет подрабатывать, чтобы сносно жить? Или это лишь подсознательная женская ненависть к существу, которое небезразлично любимому? Всё по Фрей- ду. Даша её возненавидела ещё до всех несчастий. Почему

Дора привезла свою сестру учиться в город, где сама обустроилась, и та живёт в дедушкиной комнате, а не в общежитии или на съёмной квартире? Она однажды случайно застала эту девочку примеряющей бабушкины платья. Ей стыдно за себя, но тогда она не выдержала, ворвалась в комнату, где та крутилась перед зеркалом, и стала кричать, что та воровка. Дорина сестрёнка испуганно стянула с себя платье и затолкала комом в шкаф. Пухлые детские губы её дрожали, как крылья жука-навозника, насаженного на булавку. Сара, конечно, помогает ухаживать за матерью, но почему они не продадут свою квартиру в Сибири, а живут у них? Почему Дора распоряжается в бабушкиной квартире, выкидывает бабушкины вещи, книги по чужим специальностям, тетрадки с записями лекций и финансовыми расчётами семейного бюджета? Почему она спрятала почти все семейные фотографии ещё тогда, когда могла отчётливо видеть их?

Дашу пугают эти вспышки внутренней ненависти, которую она тщательно старается скрыть от отца, вытягивая губы в ниточку улыбки и нацепляя маску.

Нет, раненый зверь ещё спит, он ещёлизывает раны, но готовится для смертельного прыжка, который должен всё разрубить.

29

Жизнь входила в свою колею. Привыкаешь ко всему, к несчастьям тоже. Когда их слишком много, и они растут, как снежный ком, с ними срастаешься. Катись и катись этот ком несчастий, наблюдая с удивлением, как он всё увеличивается, но в глубине души всё же надеешься, что будет весна с её предчувствием счастья и желанием перемен – пригреет солнышко, и снежный ком начнёт таять на глазах, пуская весело журчащие ручьи, по которым можно отправить бежать кораблик, сложенный из исписанного мелким убористым почерком листка своей жизни.

В его доме жили три чужие женщины, к которым он постепенно привыкал. Но оттого, что привыкал, счастье

не возвращалось. Сара была Дашиной ровесницей, и ему иногда казалось, что так его дочь ближе к нему. Сара нравилась ему. Она была ещё совсем непосредственным ребёнком, и в ней не было жёсткости и прямолинейности Доры. Этакий такой хохотунчик. Он думал иногда: «Зачем она потянулась учиться на бухгалтера? Не её это, ох, не её: «один пишем два в уме», эта профессия даст ей благополучие, но не принесёт счастья. Она перестанет порхать над землёй, а будет твёрдо стоять на ногах, приобретая твёрдость сестры, столь необходимую, чтобы хорошо жить в этом мире».

С приездом Сары в дом вернулся смех, но дом стал ещё больше не его. Ему теперь легче жилось в этом чужом доме, так как Сара помогала Доре ухаживать за матерью и Дора не искала уже жилетку у него на груди. Они обсуждали давних знакомых, родственников, у них были общие воспоминания, в которых ему совсем не было места. Его это не тяготило, напротив, он начинал снова чувствовать себя молодым. И свои воспоминания, в которых не было Доры, медленно, но неуклонно, набухали в нём, пустив стрелу, грозящую выбросить диковинный цветок, распустившийся на болоте. Он был увлекающимся человеком. Отсутствие новизны в жизни рождает сновидения и мечтания, которые мы подспудно, сами не сознавая этого, пытаемся материализовать. Вечные поиски несбывшегося и ожидание чуда.

Он вдруг перестал принадлежать сам себе, а, когда и как – и не понял... Он стал частью целого и чувствовал себя в птичьей клетке. Проблема вечной любви подобна проблеме вечного двигателя, которого не существует. Почему люди женятся? Пускаются в погоню за миражем, окрылённые надеждами, а в конце концов свыкаются с пустыней.

Если бы ему сказали три года тому назад, что он поселит в своей квартире трёх чужих женщин, претендующих на его судьбу, он бы рассмеялся. Он тогда отдыхал от своего неудавшегося брака и болезней родителей, наслаждался тишиной, покоем, свободой и совсем не казался себе щепкой в бушующем море, которую любая волна способна потащить за собой. Напротив, Одиссей, как никогда не

чувствовал, что он – на привязи железной цепью к стальному колышку, глубоко, по макушку вкопанному в твёрдый грунт на берегу. Его не могло смыть шальной волной: лодка была перевернута и лежала на высохшей траве, готовясь к долгой зимовке.

Но он ошибался. В природе всё перепуталось, вместо зимы вернулось лето; лодку оторвало от колышка и вернуло на место огромной тающей льдиной, несущей в себе недюжинную силу.

Его жизнь сильно изменилась. То, что было раньше, теперь стало ничем. Ибо того, что было, нет, и он писал закат; не успевал окунуть кисть – как всё менялось: и цвет, и очертания; розовый свет медленно растворялся в иссиня-тёмном, сгущающемся над головой и заслоняющем небо, как воронное крыло.

Он больше не жил у себя дома. Это был совсем чужой дом, где успели всё перестроить на свой лад и подчинить себе. Все три комнаты его просторной «сталинки» теперь были заняты тремя чужими женщинами, и он даже подумывал о том, что ему надо приобрести какую-нибудь лёгкую китайскую ширму, раскрашенную диковинными павлинами, коих было в современных магазинах в изобилии, чтобы отгородить себе жизненное пространство, не доступное чужому взору. Он уже не мог закрыть дверь в свою комнату. У него больше не было своей комнаты. Это так было похоже на то, что он испытывал более десяти лет первого брака, живя в квартире жены с её родителями. Он там был гость. И вот он снова гость, только квартира эта – уже его родителей, в которой жили когда-то и бабушка с бабушкой... Квартира, которая хранит в памяти воспоминания и тепло той жизни, когда он был маленьким, любимым и лелеянным, когда бабушка говорила ему: «Мой цыплёнок», а отец сажал на колени, и он вдыхал сладкий запах его табака, который потом стал для него непереносимым. Это была квартира, где бабушка пекла пироги, а бабушка рубил тляпкой для них капусту, и ему накладывали эту капусту в фарфоровую тарелку с зайчиком в оранжевой футболке: он обожал эту начинку и никак не мог дождаться, когда же испекутся горячие пирожки, в которые она будет заверну-

та. А бабушка смеялся и говорил: «Ну что, заяц?» Эта была квартира, где мама читала ему вечерами про дальние странствия, держа книгу на тёплых коленях, в которые можно всегда было при случае спрятать лицо от любопытных взглядов, а другой рукой, такой гладкой и пахнущей чем-то удивительным, гладила и ерошила его волосы. Это была квартира, где он стаскивал валик с дивана, ложился на него пузом и катался на нём по свеженатёртому паркету с запахом мастики и блестящему, как лаковый каток. Эта была квартира, где бабушка крутил фильмы на большом белом экране, распластанном на стене, в котором был снят он, Одиссей. Больше всего ему нравилось, когда эти фильмы начинали перематывать назад: он так ловко и с такой скоростью въезжал в ледяную горку в парке! Эти воспоминания жили в нём, тихонько по ночам сдавливали обручем сердце, и иногда вдруг неожиданно всплывали из проруби памяти. Но ничто не напоминало и тени их призрака днём. Все призраки были изгнаны из этого чужого дома.

Изгнан из этого дома был и Дашин смех, который стоял в нём, когда они приезжали с ней к его родителям в отпуск или на каникулы. На диване теперь лежала и смотрела телевизор, свернувшись калачиком, совсем другая девочка... Эта девочка не раздражала его, она напоминала ему его дочь. Но, когда он глядел на неё, у него тоскливо ныло сердце, что его дочь не с ним, что их встречи становятся всё реже и реже, она уходит в свою взрослую жизнь, удаляясь от него – и удержать её у него нет никакой возможности, хотя он бы мог это сделать. Он знал это наверняка. Только ему мешали. Ему просто не оставили такой возможности: позвать Дашу в свою жизнь. Его жизнь была до отказа забита другими, и у него просто в этой жизни не осталось своего угла. Так... Одна лишь тайная пыльная кладовка, куда, слава богу, пока нет хода никому и которую он иногда тихонько открывает и недолго стоит на пороге, вглядываясь в хаос, царящий в ней, и думает, что когда-нибудь он до неё доберётся – и обязательно разложит всё по полочкам.

Современный брак – очень хрупкая конструкция. Идея лёгкой разлуки, иллюзия попробовать всё сначала, пока

ещё не поздно, постоянно витает в воздухе и существует как тайное утешение. Так у него было в первом браке. Теперь же он оказался просто загнан и зажат, окружён предметами, отодвинуть которые у него не доставало ни сил, ни природной порядочности. Это был его удел – постоянно наткаться на острые углы, оставляющие синяки и кровоподтёки. Надо было смириться и жить, хранить свет и запах дней своей молодости в заполненных, запечатанных сотах улья своей памяти. Странная вещь – память человеческая... Можешь помнить такое, чего, собственно, и не было. Предчувствие счастья всегда оказывается сильнее самого счастья.

Раньше ссоры были летними грозами, после которых наступали часы безмятежной радости, пахнущие озоном и манящие коромыслом радуги на горизонте. Теперь они превратились в затяжные дожди с непролазными глинистыми дорогами, в которых стояла вода, и её не могло высушить редкое солнышко, проглядывавшее из-за свинцовых туч, летящих с севера. Раньше менялась погода, а теперь изменился климат.

Поезд ушёл. Перрон опустел. Рельсы текли параллельно. Он стоял и не двигался, как будто отстал от состава в середине пути и теперь не знал, что делать. А может, просто это был не его поезд? Не надо было запрыгивать в чужой вагон, увозя с собой чужую молодость. Нет способа откручивать назад ленту случившегося.

Зачем посетило его это сумасбродное желание выломиться из возраста, отобрать у судьбы уже прожитый кусок, перескочить в чужой вагон, хоть в тамбуре постоять, хоть за подножку уцепиться? Тот же состав, те же рельсы, тот же маршрут. Знал, всё знал.

И теперь он бредёт по пристанционному перелеску, подывая носком лакового ботинка пласты листвы, коими время выстлало душу, с опаской заглядывает в непролазную чащу, где всё загущёвано и размыто мельканием солнца, высекающего слёзы, и шевелящихся теней, где пробираться можно только наугад...

Жизнь впереди кажется бесконечно длинной, как незнакомая лесная дорога, а жизнь позади представляется

всего лишь одним мгновением, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что оно было.

Мы завидуем молодости, хотя знаем, что часто она бесцветна и пустынна. Мы завидуем праву её на глупость, на страх, на слабость, на робость, мы завидуем её самоуверенности, что «прекрасное далёко» впереди, её неутраченными возможностям состояться. Даже самоубийц – больше всего среди молодых. Потому что где-то там, на большой глубине, скрытой толщей воды не только от посторонних глаз, но и от себя, молодость не уверена, что всё окончательно и всерьёз.

Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаёшься молодым. Только вот другие тебя молодым почему-то уже не воспринимают. Может быть, именно поэтому его так потянула к себе его Дора, которая совсем не была в его вкусе. Сейчас Дора как бы приблизилась в своих несчастьях к его возрасту или даже опередила его по приближению к финишу. Тогда почему он постоянно ловит себя на мысли, что ему хочется бежать от неё куда глаза глядят? Её-то глаза не глядят. Ах, как бы он хотел теперь, чтобы её глаза уставились на какого-нибудь молодого, которому по плечу любая ноша. А его эта ноша пригибает к земле и не даёт видеть небо. Ему остаются только тени под ногами; по ним идёшь, как по диковинному узору. Может быть, это ему Божья кара за то, что он запрыгнул в чужой вагон? А чем виновата Дора? Тем, что поспешила быть счастливой?

Мужчины бывают мальчишками даже в старости. Для этого достаточно всего-навсего душевного раскрепощения. Но он больше не чувствовал себя мальчишкой. Ему показалось, что он уже старик, будущее его безрадостно, но ему предстоит пройти ещё большой отрезок пути, вытаскивая ноги из облепившей их глины, чувствуя, как с каждым шагом ботинки становятся всё тяжелее, ты скользишь и теряешь равновесие, и всё труднее ровно идти вверх по глинистой дороге.

Он сам не понимал, зачем он ответил на письмо этой женщине, с которой пересекался на институтских площадях, но никогда никак не касался её. Она нравилась ему. Он глубоко симпатизировал её мужу и был буквально потрясён его ско-

ропалительной смертью, это просто не укладывалось в его голове, они же совсем недавно были юными, и вся жизнь была впереди... А тут уже всё, холод на кладбище, небытие и медленное забвение. Женщина и он иногда улыбались друг другу, но у них не было будущего. Они проворонили своё будущее, хотя счастье можно было поймать, оно было где-то рядом. Он ведь помнил очень немногих сокурсников. А все встречи с ней почему-то помнит. Она была какая-то – не из толпы, и в толпе – отдельно от неё. Она с толпой никак не могла слиться, наверное, из-за своей внутренней углублённости и отгороженности от мира. Словно в какую-то воздушную прослойку была обёрнута, которая сквозь себя не пропускала, как в термосе хранила температуру содержимого. Ему почему-то захотелось её теперь увидеть и поговорить. Он подумал, что, пожалуй, ответил просто из вежливости, но тут же одёрнул себя: «Э, нет, братец, хоть себе уж не лги... Просто ты захотел ощутить на лице ветер из того блаженно-го времени, где тебя знали молодым...»

Это не правда, что наши воспоминания статичны. Они изменчивы и подвижны, как облака, которые ветер сбивает в тучи, чтобы однажды разразиться ливнем; как лицо, когда видишь его перед собой утром, днём и вечером, месяц за месяцем, год за годом; оно становится всё прозрачней и делается в конце концов невидимым. А другое лицо вдруг смутно всплыло из глубины колодца памяти: оно неясно и подвижно от дуновения ветра, его так хочется зачерпнуть в ковши ладоней. Но нет, оно остаётся на дне колодца, а набранная вода утекает меж пальцев – и совсем не потому, что ты их слишком широко расставил. Обернись же, вот оно, это лицо, за твоим плечом, обернись – и протяни руку, чтобы успеть ощутить две солёные дорожки, быстро высыхающие на ветру.

Он зашёл на сайт «<http://www.odnoklassniki.ru/>» с тревогой моряка, открывающего новую землю, о существовании которой, как ни странно, до сегодняшнего дня не подозревал, и написал:

Одиссей: Человеческая жизнь не так уж долга, чтобы в ней встретились очень много близких тебе людей. Вовсе не обяза-

тельно, что такое ещё раз может случиться в жизни. Жизнь – это сужение, сначала – это широкая воронка, потом всё уже и уже. Остаётся единственное. Весной особенно остро ощущаешь обречённость на одиночество: ни с кем не пересекаться, только соприкасаться – и проходить мимо. Обманываешь сам себя и боишься сам себя. Как капля воды, которая боится подойти к другой, чтобы не слиться с ней и не перестать быть отдельной каплей. Очень жалею, что дрогнула стрелка часов и отклонила маршрут, пронеся мимо, пожалуй, очень близкого человека.

30

Это была какая-то особенная радость, так редко посещающая человека, что ему даже чудится порой, будто бы жизнь его только-только начинается, а всё, что было прежде, не более как томительная подготовка к этой бессмысленной и загадочной радости.

Он не мог понять, откуда эта радость взялась. Сердце стучало в горле, в висках и кончиках пальцев, билось этой синичкой, запертой в клетке.

Они почти не разговаривали, сидя на краешке кресел, и совсем не потому, что не было темы для разговора, а потому, что она была слишком велика, чтобы её поднять. Всякое неловко брошенное слово могло нарушить неустойчивое равновесие, которого им удалось достичь: они будто сидели на концах ненадёжно уравновешенной доски, под которую было подсунуто сваленное сучковатое дерево, и если один из них подался бы к другому хоть на полметра, то равновесие бы нарушилось, и они соскользнули бы в неизбежность. Стать глухонемым: говорят, что глухонемые прекрасно договариваются друг с другом без слов.

Они пробирались друг к другу из дальней дали через множество новых привычек и взглядов, словно время засыпало их, как песок; и теперь приходится прорывать туннели, чтобы пробиться друг к другу, постоянно чувствуя, что песок в любой момент может обвалиться – и всё опять погresti под собой.

Если он и говорил что-то, то – с полуулыбкой, дурачась... А внутри – дрожь и обморок. Чувствовал, что его уже несёт чужая сила, как волна, как отлив, как цунами... Что будет в следующую минуту он теперь не знал: тащило, крутило, колотило внутри страстное, весёлое нетерпение, предчувствие и отчаяние, тайная и сильная тоска. Он казался себе бревном, которое, напорвшись на порог, начинало кружиться на месте, не находя выхода.

Голос его был сух, как щепка, и тих – так он боялся, что громко сказанное слово выдаст смятение.

Иногда чужие становятся своими. И неожиданно очень быстро. У него было такое чувство, что его мысли читают и объяснять ничего не надо. Эту женщину знает он будто всю жизнь, но она и загадка для него, которую ему предстоит разгадать.

Он подумал, что, пожалуй, у него сейчас состояние человека на тонком льду. Можно только бежать вперёд; остановишься, оглянешься – лёд провалится. Время сделало своё дело. Он уже не мальчик, скачущий с сачком за многоцветной иллюзией. Человеческая жизнь оказывается всё же длиннее одной любви, но почему у него всё так обрывается быстро? Почему люди тихо живут, спокойно переползая изо дня в день и мало думая о грядущей старости, а его накрыла с головой штормовая волна, после которой на берегу, покрытом ребристой тёркой песка, остаётся всякий сор, а в душе усталость и пустота? Пустота втягивает в себя, как вакуум, и вот опять он – точно на разломе. От себя не убежишь и не спрячешься, от близких тем более. Если бы не Дорино несчастье, он бы чувствовал себя свободным, как ветер. Он так и решил для себя, что жениться он больше не будет. Но его теперь накрепко приковали к себе ржавеющими цепями совести и долга. А эта ещё красивая женщина, которая стала гораздо интереснее, чем он знал её в юности (в юности был серенький нахохлившийся воробушек), не требовала к себе внимания, она смирилась со своей судьбой, как уже почти смирился он, хотя втайне от всех лелея иллюзию, что ржавеют и самые прочные цепи. Чтобы жить – надо всегда создавать иллюзии. Она просто спокойно рассказывала ему о своей

жизни с мужем и без него, жалея о многом и собираясь встречать осень, хотя за окном была весна.

Эта весна была уже не для них. Она была для его дочери, для Сары, для его учеников. Когда он летел по улице к Светлане, то внезапно его взгляд наткнулся на крышу дома, над которой вырос гигантский козырёк искрящегося на солнце снега, обросшего гигантскими причудливыми сосульками, похожими на какие-то диковинные сталактиты. Он подумал, что не надо ходить под такими крышами: в один миг может оборваться всё, даже череда всех твоих последних несчастий. Так было и в его жизни: мягкие снежинки неурядиц оседали над его домом, тихо вырастая в большой сугроб, снег отношений таял на солнце, но капли замерзали на ветру, превращаясь в блестящую ледышку, которой суждено было накрыть однажды его с головой. Теперь он так и живёт убитым. Сугроб накрыл в тот момент, когда над головой светило солнце и была ранняя весна. Но ледяная глыба в его жизни не таяла, она просто его замуровала.

А нынче была новая весна, и хотелось перемен, она его уже изводила непереносимо тем, что весны теперь были не для него.

Но с весной из жизни исчезал чёрно-белый свет и появлялась яркость. Исчезала прозрачность ажурных крон, кронам скоро суждено было обрасти листвой, а ему новыми людьми и отношениями. Он подумал, что его новая жизнь как-то будет должна существовать параллельно со старой, никак не нарушая её течения: права пускать реки вспять у него не было. Может быть, у него даже нашлись бы силы на это, но как бы он смотрел в глаза людям? Теперь остаётся крепко зажмуриться и надеяться, что снег будет таять быстро, не успевая обледенеть звёздными ночами, напоминающими маленькому человечку, что он всего лишь песчинка на ветру мироздания.

Они просто говорили и пили чай. Ложечка позвякивала в стакане, за окном дребезжал трамвай, звонок которого был похож на звонок в театре, предвещающий новое действие. Ему хотелось забраться на диван с ногами – и никуда не уходить. Но он не решался и прямо сидел на кра-

ешке, стараясь спрятать свою больную руку под журнальный столик. Он давно забыл, что у него больная рука, и жил так, будто она здоровая, а теперь ему хотелось её зарыть от чужих внимательных глаз. В начале полосы своих последних несчастий ему подсознательно всё время хотелось, чтобы его пожалели, но жалеть было некому: родители умерли, жена нуждалась в его сочувствии и поддержке сама. Он должен был быть сильным. Он постепенно срастался с этой маской, она приросла к его коже, он слился с ней. А теперь ему почему-то снова хотелось, чтобы его пожалели, но подумал, что эту женщину тоже можно и нужно пожалеть. Хотя она, пожалуй, научилась справляться со своими проблемами сама.

«Я теперь звоню в фирму «Муж на час» – они через час приезжают и всё устраивают», – смеясь, сказала она, но на её лице лежала какая-то еле уловимая тень печали.

Печаль пряталась в уголках губ, изгиб которых напоминал повешенную на гвоздь подкову. Печаль пряталась в её сгорбленных плечах, хотя лишь этим она напоминала того воробушка, которого он знал в юности. Не бередите того, что заросло быльём, не рвитесь в запертые двери, вдруг окажется, что они поддадутся лёгкому нажиму, и ты ввалишься в неизвестность, в которой совсем не ожидал оказаться. Беги, пока не поздно, если уже не поздно: твоя судьба ждёт тебя в другом месте. Или там была не твоя судьба? Зачем ты запрыгнул в тот чужой вагон, набитый шумной молодёжью, громко смеющейся без причины и бьющей по истощённой нервной системе децибелами?

...Невесом, как пух, поцелуй в щёчку на прощание. Но ему почему-то захотелось прикоснуться губами к её щеке, ощутить запах увядающего яблока, прорастающего коричневыми пятнышками.

31

Это так странно: ощущать себя молодой и совсем не чувствовать возраста. Иногда Светлане кажется, что двадцатилетняя молодёжь – это её ровесники. А иногда она пуга-

ется, глядя на мужчин на десять лет моложе её. Нет, она никогда не хотела, чтобы рядом с ней был мужчина моложе её. Но когда они вдруг перестали быть мальчиками, а превратились в солидных, твёрдо стоящих на земле мужиков? Она искренне удивляется, когда они делают ей комплименты как женщине. Неужели она вообще может ещё вызывать какой-то интерес, кроме общечеловеческого? Она так устаёт на работе, что стала радоваться, что одна.

И всё-таки иногда ей хочется, чтобы рядом была родная душа. Или это желание приближается к невозможности? Все мы просто токуем, как тетерева на току, слыша лишь себя.

Жила почти счастливой, в любви и гармонии, потом всё в одночасье оборвалось, а она почти смирилась с этим и даже уже привыкла к нынешнему своему существованию. Это неправильно, что возникает иллюзия замены одних людей другими. Каждый человек уникален, потому и половинка бывает одна. Другой не бывает, хотя бывают, наверное, более-менее подходящие половинки. Но вот она живёт без половинки – и ничего... Уже радуется тому, что у неё есть свобода, и она совсем не хочет больше терять кого-то. Притупление эмоций – это тоже старость. Но, если это так, тогда почему ей странно слушать размышления молодых коллег, что все мужчины одинаковы, что всё взаимозаменяемо? Почему её возмущает, что «Гранатовый браслет» Куприна – продукт больного воображения, и такого в жизни не бывает, это не актуально в нынешние времена? Все отношения полов строятся по схеме: «Ты мне квартиру – я тебе любовь, другого просто не бывает». Бедные девчонки, да они же искренне всё это говорят, они просто не представляют, что может быть по-другому. Они верят в женскую дружбу, но совсем не представляют, что мужчина может быть другом, человеком, который готов тебя понимать и жалеть, человеком, с которым можно разговаривать. Они так и живут, стараясь скорее получить по возможности большую цену за свою ласку. Они искренне переживают, что во многом не соответствуют идеалу своих случайных партнёров, все они хотели бы выйти замуж навсегда, и все они говорят, что ненавидят мужиков. Странные какие-то... Обсуждают на полном серьёзе, что блондины некрасивы, а вот брюнеты... Она

всегда думала, что это удел мужчин видеть только хорошенькую фигурку или мордашку. Романтики – ноль. Бедные, как же они обкрадывают себя! А они почему-то считают, что это она обделяет себя, упуская то, что отпущено ей природой.

В городе снова весна. Весной она чувствует себя словно на распутье. Весна – это перемены, а перемен уже не хочется никаких. Но она бредёт по улице, сняв, наконец, шапку, ловит лицом свежий ветер и думает, что молодость прошла так быстро, что она её даже не почувствовала. Всё пыталась чего-то достичь и бежала в гору, чувствуя своё сбивающееся дыхание и сердце, колотящееся в грудную клетку и рвущееся из неё наружу. Она и сейчас бежит – останавливаться некогда. Кто-то поднимается в гору на подвесной канатной дороге, но большинство, как она, медленно и мучительно. Зачем? Чтобы потом кубарем спускаться или чтобы сказать, что он достиг площадки, которая снизу казалась ему малодостигаемой? А кому это надо говорить? Окружающие, те, что не побывали там, только пожмут плечами или позавидуют. Выходит, мы говорим это только себе. Себя и уговариваем, что нам это надо, что иначе мы чувствовали бы себя не состоявшимися, прожившими в неполную меру отпущенных нам сил и возможностей.

Светлана бредёт по городу, пропитанному талой водой, и думает, что ей не нужна эта весна. Она не для осенних людей с их хандрой и авитаминозом. Мальчишки пускают пластиковые кораблики, зайдя по колено в ручей, вливающийся в глубокую непрозрачную лужу в радужной плёнке бензина, скопившуюся у входа во двор дома, и замечает, что в жизни не так уж много изменилось, просто раньше кораблики были из газеты.

Она не знает, зачем ей нужен этот Одиссей, оказавшийся связанный по рукам и ногам своим неудавшимся полётом под облаками на воздушном шаре. Ветер подул совсем с другой стороны, откуда его никто не ожидал совсем, и несёт шар, из гондолы которого никак не выпрыгнуть. Да, этот шар зацепился за верхушки мачтовых сосен в её саду, но ему лететь дальше, и не ей пытаться удержать этот шар.

Но в глубине души Светлана знает, что придёт домой и снова окажется на голубых страницах Интернета, по ко-

торым гуляет Одиссей, и не выдержит, замигает, как маяк в ночи, пошлёт ему сигнал, напоминающий азбуку Морзе лишь тем, что её понимают – не многие, а только те, кто обучены этой азбуке. Учитесь читать между строк, чтобы быть счастливыми и понимать недосказанное.

32

Одиссей всё больше пугает Дору. Он и раньше уезжал, надолго оставляя её одну. Ещё в самом начале их отношений Дора ощущала, что он как бы отгорожен от неё какой-то непроницаемой стеной, за которой скрыта янтарная комната, входа в которую нет никому. И ей тоже. Он к ней относился, как к большому ребёнку. Дора видела в нём взрослого друга и чувствовала, что он её понимает, но с болью замечала, что он постоянно уходит от неё куда-то: увёртывается от её внимания, от её вопросов, от её друзей; старательно прячет от её глаз всё, что было до неё.

«Не надо копаться в прошлогодних листьях, сгребать их граблями в одну кучу, чтобы сжечь», – однажды ответил он на её какой-то вопрос.

Теперь он совсем ушёл в себя; она не знает, о чём он думает. Она перестала его чувствовать. Вчера она случайно заметила блаженную улыбку на его лице. Ей он уже так давно не улыбался. Он, словно что-то вспоминал про себя, то, что увидеть она не могла. Это были его воспоминания, в которых она не жила.

Вообще он стал раздражителен, малоразговорчив, днём и ночами сидел за компьютером. Оживал, когда собирался в командировки, словно рвался сбежать на свежий воздух из помещения, в котором постоянно висели пелёнки и пахло ежедневно стираемым бельём.

Она теперь не выходила одна на улицу, только с Одиссеем, с сестрой или подругами. Но он очень неохотно выполнял её просьбы пойти погулять, ссылаясь на то, что ему не до прогулок. Ему, пожалуй, действительно, было не до гулянья. Но она всей кожей чувствовала, что дело не в этом. Это она поняла тогда, когда они шли по городу и

ехали в метро сразу после операции, она ощутила, как ему тяжело указывать ей ступеньки, он еле сдерживал своё раздражение. Она вся съёжилась, как отжатая тряпка, не только внутренне, но даже внешне: и от мыслей, что с ней произошло и как она будет жить дальше, и от того, что он жалел не её, а свою жизнь. Будущее было темно и безлюдно. Она пыталась нащупать ногой ступеньку, про которую говорил Одиссей, вцепившись в его сунутую под локоть руку, которой тот её поддерживал, но под ногой была пропасть – и она летела в неё, пытаясь удержаться за выступ скалы. И ничего нельзя было изменить, надо было быть благодарной судьбе, что этот человек был рядом, что у неё были сёстры, что она знала иностранный язык и могла давать уроки хотя бы детям, что у неё есть дом.

Но дом рассыпался на глазах, как карточный домик. Удержать хрупкую конструкцию не могло ничто.

Зрение вернулось, но видела она всё очень искажённо, одни лишь световые пятна. Как фейерверк или ночные расплывающиеся огни в тумане. Там тоже были лишь одни слезящиеся пятна. Она могла даже читать и писать на компьютере, используя специальную программу для людей с ограниченными возможностями, как её теперь называли, она могла рассказывать в «Живом журнале» людям о своей жизни, но у неё совсем пропало желание это делать. Почему-то, когда мы счастливы, мы всем своим видом показываем людям своё эйфорическое настроение, чтобы они завидовали, наверное. А когда нам плохо, мы уползаем в тень, подальше от любопытных глаз, оберегая себя от чужого сочувствия и лишней боли. А надо бы наоборот, наверное.

Матери лучше не становилось, но ей и не было хуже. А Дора как бы замерла в оцепенении. Хорошо, что теперь рядом была сестра. Но сестра была слишком молода, чтобы жить их болезнями: «прекрасное далёко» у ней было впереди, она будто отторгала от себя раковые чужеродные клетки их несчастий. Она успела влюбиться и вечерами после занятий где-то пропадала со своим другом, совсем не торопясь домой. А дома ей надо было ещё учиться. Но всё же с сестрой к Доре вернулась жизнь. Хотя она часто ловила себя на мысли, что ревнует к её молодости, к её

неутраченными возможностями, к тому, что та ещё не знает, как состоится её жизнь. Она вспоминала свой юношеский девиз: «Надо много работать – и всё у тебя будет». Она работала в свои двадцать лет на самом деле много для её поколения, а что в результате... Так, в один день оказывается перечёркнутой вся твоя прошлая жизнь. У сестры девизов не было, она просто росла, как трава...

Доре стало казаться, что сестра нравится Одиссею больше, чем она сама, и радовалась, что у той есть друг. Как теплел его голос, когда он разговаривал с Сарой, он так нежничал только со своей Дашей: голос был словно пропущен через какой-то эквалайзер, к нему была примешана совсем другая, незнакомая её слуху музыка, совсем не предназначенная для её ушей. С ней он не разговаривал так никогда, даже в самый разгар их неожиданной любви.

Она понимала, конечно, что испортила ему жизнь. Без неё он был бы сейчас свободен, как ветер... Ему хватало бы средств, чтобы жить почти достойно и даже помогать дочери. По крайней мере, жизнь его меньше походила бы на сумасшедший дом. Иногда на неё накатывала волна вины, но чувство страха, что она может остаться в этом мире одна и жить так до глубокой старости, было гораздо сильнее. Кому она нужна такая! Да и куда она поедет? Назад, к себе домой, но её дом уже не там. И мама не там, а здесь.

Тогда она по-собачьи преданно начинала смотреть на него и почти скулить. Он гладил её по пружинящим волосам шершавой, как наждак, ладонью, прижимал к груди, вдыхал её запах и говорил: «Ничего. Как-нибудь прорвёмся!» И тогда она думала, что хоть в этом ей повезло. Не будь его, всё равно бы с ней рано или поздно всё случилось. Почему судьба, даря одной рукой, отбирает другой? Почему в этом мире за всё следует расплата? Она ведь никому особо ничего плохого не сделала.

Она догадывалась, что смогла бы удержать его окончательно, если бы решилась завести ребёнка. Но даже, если «кесарить», она может совсем ослепнуть. Да и на что она обречёт своё чадо, пусть оно и не унаследует её дефект, как это называют врачи? А если Одиссей всё же бросит её, или с ней что-то случится?

Она помнит, как однажды, ещё школьницей, заходила с мамой в ЖЭК. Там находилась пара. Оба были слепые. Их сопровождала какая-то знакомая. Они решали что-то с вопросом прописки сына, который сидел в тюрьме. Сейчас этот случай постоянно выныривал у неё из проруби памяти. Она пыталась привязать к нему какой-нибудь тяжёлый булыжник, чтобы он не тревожил её, появляясь на поверхности. Но сюжет ускользал и через день, два, неделю выныривал снова...

Будущее было темно и туманно. Настоящее двоилось и расплывалось. Если на глаза наворачивались слёзы, то все предметы теряли свои очертания, и о них оставалось только догадываться, как будто плывёшь в каком-то подводном мире, рискуя напороться на корягу, приняв её за колыхание причудливых водорослей обманчивых предчувствий.

Она каждый день ждала, что отслоение сетчатки повторится, ей постоянно казалось, что она видит снова хуже, ей было страшно и одиноко, как ребёнку, оставленному взрослыми в тёмной комнате за какую-то мелкую провинность, совсем не соизмеримую с тем ужасом, которую он испытывал. А его никто не слышал. Так и её никто не слышал, ей сочувствовали, ей помогали советами, договаривались с врачами, но её не слышали. Она только теперь поняла, насколько человек одинок, маленькая песчинка в мироздании, которую швыряет ветер, куда ему заблагорассудится. Её сейчас, пожалуй, смыло водой на дно реки. Реки мелеют медленно. Над головой толща воды, через которую не подняться. Луч солнца слабо пробивается всё ещё сквозь эту толщу воды; солнце – словно просвечивающим покрывалом каким-то накрыто, тусклый большой шар, смутно напоминающий своим цветом атомный гриб на картинках, запечатлевшихся в памяти...

33

А весна была в этом году опять какая-то странная. Ещё только двадцатое марта, а на улице – плюс 20°C, как в начале мая. Люди шли по тротуарам, запруженным водой, в

высоких сапогах и без пальто. Даже плащи снимали, которые успели надеть на один день. Впрочем, были и те, кто был ещё в шубах. Полная путаница в природе. Климат что ли меняется? То в декабре плюс десять, тогда теплу не верили: всё должно было пойти своим чередом, но доставались из шкафов вещи, уже спрятанные на зиму до весны. Морозы потом с лихвой наверстали упущенное. Приобретая в одном, мы тут же теряем в другом. Теперь вот это преждевременное тепло. Было ясно, что тепло неизбежно и неотвратимо, словно половодье, как языком, слизывающее луга и скрывающее мелкие подробности кустарников под толщей талой воды, каждый день отвоёвывающей для себя сотни метров нового пространства.

Одиссей подумал, что лёд последних месяцев его жизни неожиданно тронулся; льдины плывут, опережая друг друга, сбиваясь в кучу, чтобы скоро разойтись навсегда и раствориться, став, в конце концов, одним целым – общей массой из половодья, из которой просто невозможно вычленишь то, что жило совсем недавно своей отдельной жизнью.

Впрочем, то, что это тепло преждевременно и холода ещё вернутся дохнуть своим хриплым простуженным дыханием, понимали все. Но лето всё равно было уже не отменить. Чёрная полоса не может быть бесконечной. Это как маятник: чем больше отшатнётся в одну сторону, тем сильнее отнесёт в другую.

Откуда у него это предчувствие – он не понимал, но оно было почти осязаемо. Он пробовал на вкус талый воздух, набирая его в лёгкие, сколько они способны вместить в себя, и чуял, что в душе поднимается совершенно непредвиденная волна радости, взявшаяся непонятно откуда, и снова начинал ощущать себя мальчишкой, у которого впереди вся жизнь. Нет, головой он разумел, что лучшие годы жизни позади и впереди уже наметился плавный спуск к последнему обрыву, но до этого было ещё так далеко...

Дома у него ничего не менялось, и эта совершенно непонятная радость как бы жила совершенно отдельно от всего того, что с ним происходило. Радость была нелогична, и ей можно было дать только одно объяснение, что на улице весна и под лучами солнца начали вырабатываться эндор-

фины, напрочь исчезнувшие из его организма. Поэтому-то он и ходил, словно в лёгком наркотическом опьянении.

Ему снова хотелось счастливых изменений, увлекательных путешествий, новых впечатлений. Он как бы начал отторгать то чужеродное тело, ту жизнь, в которую волею судьбы был втянут, как щепка в водоворот. Он перестал видеть, слышать и чувствовать всё, что происходило у него дома. Он словно обрастал непроницаемым свинцовым панцирем, сквозь который не проникали радиоактивные лучи внешней жизни. Он жил в этом панцире, как в коконе, и ему было в нём куда комфортнее, чем снаружи. Он боялся, что его радость могут заметить его близкие, и старательно изображал из себя погружённого в работу и замученного суетой уже немолодого мужчину. Радость медленно росла, словно набухающие почки, грозя в один недалёкий день выстрелить зелёным листком.

Однажды он поймал себя на мысли, что становится в чём-то похож на Сару: она отторгала от себя быт и жизнь, которая была в их квартире, углублялась в учебники, в лекции, в занятия, в молодых людей, в нечаянно свалившуюся на неё первую любовь, в телефонные звонки и в шатания до полуночи по весенним улицам. Парализованная мать и слепнущая сестра были рядом, но где-то совсем в другой жизни. Они были просто довеском к её настоящей полноценной жизни, в которой если и была ложка дёгтя, то она лишь чуть меняла золотисто-янтарный свет мёда её юности. Её юность не была пуста и безлюдна: там всё искрилось и вспыхивало сотнями лампочек цветных реклам, они провожали её по ночным улицам, через которые её друг вёл Сару, осторожно обнимая за плечи. Всё там было впервые и всё так удивляло и восторгало. Жизнь крутилась, как в поющих фонтанах, светомузыка выстраивала бьющие в небо струи событий в цельную, но неуловимую для минуты картину. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Но нет, не остановилось...

Снова чужой дом, который становится опять своим, и хрипло дышащая чужая ему женщина, которой требуется срочно кислородная подушка, – женщина, в одночасье разрушившая его счастливое состояние духа, разделив

мир на то, что было вчера, и то, что стало после. Один трагический аккорд. А дальше снова карусель... и новые завораживающие потоки струй, причудливо изгибающиеся в своём паденье.

Одиссею некуда было бежать, кроме как по улицам, втягивая в себя воздух, напоминающий ключевую воду, за которой он так любил ходить на даче. Он и бежал, перепрыгивая через высыхающие лужи и разбрызгивая воду, будто глиссирующий катер...

Ещё можно было убежать в работу. Туда он тоже удирали. Последние годы его буквально затягивали его труд по созданию обучающих сайтов для школьников. Путешествуя по разноцветным страницам Интернета, он собирал паутину и вязал из неё сети, надеясь, что в них попадётся не одна золотая рыбёшка. Школьники знали возможности Всемирной паутины гораздо лучше их родителей, они жили в этой сети, общались друг с другом, искали друзей, делились впечатлениями о жизни. Он понимал, что научиться пользоваться этой сетью – золотая жила знаний, только ребёнку надо её показать, и тогда он будет с упорством старателя искать золотой песок. Ему и самому было интересно сочинять все эти игры и детские энциклопедии. Он ушёл в это дело с головой, и оказалось, что его голова востребована даже зарубежными специалистами. Делиться своими идеями в наше время стало легко: черкнул пару мыслей – и уже дискуссия, в которую можно втянуть полмира, за минуту умудрившись пересечь океан. То, что он не один, – его видят, слышат, понимают, и даже есть возможность выцыганить какие-нибудь гранты или приглашение на какой-нибудь большой симпозиум, – усиливало его азарт вязания прочных и добротных сетей, в которые должны были попасться даже самые нерадивые школьники, выходящие в Интернет только для того, чтобы черкнуть у себя в блоге пару матерных фраз и скачать очередной музыкальный клип. Он стал своего рода работоголиком... Его затягивало всё глубже и глубже, это было, как налетающая стихия, цунами творчества, гончий азарт охотника, страсть путешественника и мореплавателя.

Он знал, что когда-нибудь вернётся в Итаку, чтобы быть повелителем, а сейчас его звали диковинными голосами сирены, и он чувствовал, что именно его голоса так не хватает в их хоре...

Он не помнил лица Пенелопы. Вместо лица было светлое пятно без глаз и рта – наподобие того, что рисуют на различных сайтах, где люди знакомятся или находят тех, кто давно исчез из их жизни, растворившись в розовом тумане далёкой юности. Но воспоминания о юношеских предчувствиях мучили его, накатывая и накрывая с головой глубокой волной весеннего ветра. Почему предчувствие того, что в жизни состоится встреча, помнится сильнее? Стоит в памяти, как забитый не до конца гвоздь, который ни вытащить, ни загнать по шляпку, чтобы не мешал... Да и была ли в его жизни Пенелопа? Так, грёзы юности о несбыточном, об идеале; все попытки достичь его разбиваются, как волны об острый камень. Ничто не меняется. Вода бежит и бежит, смывая в памяти все лица, которые могли бы стать дорогими.

Почему так хочется бежать от действительности? Ведь Калипсо рядом. Она молода и лишь немногим старше его дочери, и они вместе пережили стихию, шторм, кораблекрушение. Тучи над ними не рассеялись, а висят, закрывая свет, как выгнанная из своего укрытия летучая мышь, слепнущая от обилия яркого света и всех втягивающая за собой в темноту.

Дора любит его, и он – единственная оставшаяся для неё опора в этой жизни, хотя она и хорохорится, что сильная. И только ли жалость да оглядка на людей и на то, что те скажут, выгони он Дору со своим семейством из его холостяцкой берлоги, удерживает его от разрыва? Почему он чувствует себя мышью в захлопнувшейся мышеловке, ненароком сунувшей в неё свой нос? А сыр так вкусно, так аппетитно пах, так дразнил его обострившееся обоняние!..

34

Войдя в свой серый подъезд, пропахший кошками, Одиссей простуженным носом вдруг уловил запах костра, в котором горели прошлогодние листья, отсыревшие от таяния

глубоких снегов. Их сгребли в кучу и бросили в огонь, чтобы открыть молодую траву и не мешать её росту в небо.

Чем выше он поднимался по лестнице, тем яснее чувствовал, что это не прошлогодняя листва, а какая-то мокрая ткань, источавшая едкий удушливый синтетический дым, который заполнял лёгкие, щекотал нос и заволакивал сознание.

Он быстро побежал наверх, холодея от свинцового предчувствия... В один миг, преодолев три пролёта лестницы и с трудом сдерживая в груди сердце, стучащее в грудную клетку так, что, казалось, оно готово выскочить наружу, дрожащей рукой, подобием выстиранной тряпичной игрушки, повешенной просушиваться на ветру, сунул он в замочную скважину ключ. Ключ никак не попадал в тонкую фигурную прорезь, вставлялся вкривь и вкось, а когда, наконец, вошёл, никак не хотел открывать несмазанный замок. Потом Одиссей понял, что он сунул ключ от внутренней деревянной двери, а открывает дверь железную. Из-под двери выползал едкий дым чёрными кольцами змей, перепутавшимися в клубок...

Когда Одиссей резким рывком отбросил от себя обе двери, то увидел, что Дора стоит в коридоре, окутанная клубами густого дыма, и судорожно крутит диск их старого советского телефона, нервно отыскивая чуткими пальцами ослепшего человека нужную дырочку. Из кухни валил плотный чёрный дым, вызывающий спазматическое удушье.

Звериным прыжком Одиссей достиг кухни, но ничего там не увидел, захлебнувшись и закашлявшись дымом.

Это уже потом, когда приехали пожарные, он увидел оборвавшуюся гардину с оплавленной занавеской; чёрные капли, похожие на застывший гудрон, заляпавшие газовую плиту; выжженные огнём обои, свисавшие с закопчённой оголившейся стены закрученными лохмотьями, будто змеиная шкурка; пол, с которого, словно обгоревшая кожа, сполз ключьями линолеум, ужасая антрацитовыми разводами...

А пока языки пламени, будто дышащая пасть дракона, с весёлым хрустом пожирала всё для них съедобное, что попадалось на пути. Языки пламени плясали, напо-

миная игру в камине его детства, на огонь в котором он когда-то так любил смотреть. И сейчас он застыл, заворо-
жённый пламенем, парализованный, будто укусом змеи, не способный ни на что, кроме мысли, что вот так в один миг сгорают всё, что собирал и копил годами.

Пожарники успели вовремя. Ничего особенно серьёзно-
го не произошло, огонь не перекинулся в соседние комна-
ты, никто не обгорел и не задохнулся, только осталось это ощущение конца и неотвратимости беды, которую нельзя от себя отвести. Это ощущение стояло колом всё время где-то внутри Одиссея, парализовав все его желания.

До его сознания мало доходило происшедшее... Ну, перекинулся огонь газовой горелки на полотенце, которое служило для полуслепой Доры прихваткой; да, побежал по стене и, достигнув занавески, весело обрушил гардину... Не в этом суть. Суть была в том, что по какому-то злому року в один миг выгорели все его надежды на счастливое будущее, оставив после себя выжженное чёрное поле с недогоревшими головешками, уже не тлевшими и не рождающими никакого тепла. Только чёрнота, как у Доры, впереди. Без звёздного неба. Даже чёрный скелет дерева за окном было не различить на стене без мутного глаза фонаря...

35

Ну вот... Дашу частенько посещают мысли о том, что она совсем потеряла отца. Теперь в бабушкиной квартире живёт ещё и сестра Доры. Самое ужасное, что отец никогда не сможет разорвать этот узел, поскольку у этих когда-то чужих девочек, становящихся своими, теперь беда. И Даша ничего не может поделать и никак не может помочь ни отцу, ни себе. Ей не видать этой квартиры, как своих ушей... Это и ежу понятно. На выходные она ездила к маме. Мама по этому поводу сказала: «Как был лохом, так лохом и остался... Жизнь в очередной раз посмеялась над ним. Не надо бегать за голыми коленками...» Как будто папа когда-нибудь бегал за стройными ножками. Да, ему нравились девушки с «не общим выражением лица», но

эта Дора была обыкновенная. А сестра её даже симпатична Даше, но Даша всё равно не понимает, как так можно запросто перевезти всё своё семейство к человеку, который даже не собирается на тебе жениться. Папа добрый просто и мягкотелый, именно за это его так любят все его ученики.

Даша счастлива сейчас, очень. А когда любят, то как бы отстраняют от себя несчастья других, опасаясь, что они могут помешать их счастью. Но она всё равно чувствует, что отец очень одинок... Он никогда не говорит о своих несчастьях ни ей, ни другим; уходит с головой в работу, плутает по сетям «Википедий»... Она знает, что его работа – это то, что его спасает от прозы жизни, вносит в неё ощущение какой-то нереальности, чуда, когда не хочется просыпаться, хотя за окном уже брезжит мутный рассвет.

Когда он последний раз приезжал к ним и ночевал у них в общежитии, она спросила его:

– Если бы ты мог повернуть вспять последние три года, ты бы хотел это сделать?

– Понимаешь, Дашунь, людям всегда свойственно жалеть и сокрушаться о том, чего они не имеют. Когда у человека несколько целей, ему всегда легче, если он в чём-то терпит фиаско. Всего много не бывает. Приобретая в одном, теряем в другом. Вот ты сейчас счастлива, потому что любишь и любима, у тебя интересная тебе учёба, ты пробуешь перо, у тебя всё впервые, тебе всё интересно. Так и я иногда, как молодой пёс, пытаюсь обнюхивать всё, что попадает на моём пути. Мне тоже всё интересно. Только разница в том, что я пёс уже не молодой. Молодость души в моём возрасте – это инфантилизм, наверное. А я – инфант, скачущий с сачком за разноцветными иллюзиями. И пойманная тобой бабочка рано или поздно, если ты оставляешь её жить, плодит мохнатых гусениц, объедающих молодые листья побегов, и сама однажды превращается в неподвижную мумию. Иллюзии становятся реальностью, совсем не похожей на ту, что видели мы в своих рваных снах. А реальность вдруг перестаёт для нас существовать, перестаёт быть значимой. Происходит перестановка ценностей и смещение ориентиров. А потом из мумии выле-

тает новая разноцветная бабочка. И мы снова, спотыкаясь, бежим за ней с сачком.

Когда-то я увидел яркое оперенье твоей мамы. Я был молод и очень одинок, многие мои ровесники уже имели детей. Я бросил всё: родителей, родной город, любимую работу, перспективу быстро получить учёную степень. Я кинулся во взрослую жизнь, как рванулась сейчас ты, потому что был связан по рукам и ногам родительским пристальным оком. Я больше не мог жить в их доме, я задыхался, мне казалось, что это не я делаю свою жизнь, а они делают меня: лепят из меня то, что удобно им, совсем не прислушиваясь к моим желаниям. Наверное, житейская мудрость – это не цепляться за ноги ближних, таща их за собой вниз по глинистому склону. Я вырвался на свободу, но я до сих пор помню это чувство спелёнатых крыльев, которые пеленали в страхе, что дитя полетит либо на огонь, либо натолкнётся на невидимое ему стекло – и разобьётся. Поэтому сам я никогда уже не препятствовал твоей свободе. Это ошибка думать, что можно создать детей по своему образу и подобию такими, какими они нужны нам. Даже, если это и получается, цена, которую детям платить, – это их зажатость и неспособность чувствовать полёт...

У твоей мамы была не только внутренняя, но и внешняя свобода... Мне показалось тогда, что с другой я не смог бы разорвать приковавших меня к земле толстых канатов долга.

Потом, уже прожив с ней несколько лет, я понял, что мы несовместимы: всё у нас разное – и мысли, и чувства, и желания, и цели – мы разошлись очень легко. Легко было разбежаться опять же от редкого чувства свободы у твоей мамы. Я бы не смог так спокойно уйти, если бы у неё не было этого ощущения свободного парения и желания начать жизнь сначала, никогда не оглядываясь назад и не плутая в дебрях своих воспоминаний.

У Доры тоже была эта свобода, как и у многих из нынешнего поколения «пепси-колы». И она опять, как магнитом, просто притянула меня этой своей свободой. Я попался второй раз на ту же самую блеснувшую алым хвостиком серебристую блесну.

Только теперь я чувствую вновь спелёнатые крылья, но освободить их может лишь случай. Сам я на это не способен, слишком проросло в меня это чувство долга, так тщательно прививаемое моими родителями. Им не повезло. Лелеемые ими побеги проросли глубоко в землю много позднее, когда их уже не было в этом мире. И другие будут пользоваться плодами с возвращённых ими деревьев. На своей жизни я ставлю крест. Но я ли в этом виноват или моё воспоминание, что я всегда чувствовал себя провинившимся и боялся попросить билет на новогоднее сказочное представление?

36

Первого апреля Светлана получила письмо от Одиссея.

Одиссей: Какой был полёт во сне! Просто загляденье! Особенно здорово, что постепенно учился работать руками и маневрировать, уходя от электрических проводов. Начал на городских холмах, приземлился где-то на берегу моря. Роскошно! И не разбился.

Светлана: Вы в настоящее время занимаетесь психотерапией самого себя? У меня всё нормально, я молод и глуп, но «прекрасное далёко» впереди, и я смогу достичь всего и даже больше, чем другие, стоит только захотеть... Вот только хочется уже не всегда. Мешает рюкзак жизненного опыта за плечами. Я играю, как двадцатилетние, во все эти ни к чему не обязывающие и поверхностные беседы в пейджерках в телеграфном стиле: только бы ни с кем не соприкоснуться, пролететь мимо, и почти уверен, что пролечу. Я пытаюсь вскочить с перрона на подножку уходящего поезда – но не запрыгиваю. Поезд всё набирает и набирает скорость, но я опять неловко пытаюсь прыгнуть в последний вагон. Я бегу от воспоминаний, от своих близких, с которыми жить становится всё тяжелее, от дисгармонии и неустроенности. Бегства только в работу почему-то не хватает. Хочется понимания и любви. При общении «on line» меня слышат плохо: то ли туги на ухо, то ли специально закладыва-

ют уши и чувства ватой. А я почти кричу: «Привет!» У меня улыбка на лице. Всё будет хорошо. Когда-нибудь. Может быть, на кладбище.

Одиссей: Ради Бога, не воспринимайте мои словеса, как молоком писанные. Иногда, полагаю, бесполезно искать чёрную кошку в тёмной комнате... Или – если хотите – выдумывать новые сущности. Я перед Вами открыт, разумеется, до известных пределов. А пределы эти, как и в разводе, дело только двоих. Конечно, «мысль изречённая – есть ложь», но я повторяю: я перед Вами открыт.

А двойственное отношение к внешнему миру у меня всегда существовало. Сейчас разве только посвободнее стал. Старые комплексы ушли или значительно меньше стали, а новые на их месте еще не успели появиться. Вы написали письмо, полностью меня разоблачающее. Ну, допустили несколько незначительных неточностей. Всё равно, основной текст направлен не в бровь, а как раз в глаз. Вы хотите продолжить общение? А то после Вашего письма я страху натерпелся. Но я готов! Что можно прятать за клоунской маской? Страх отвержения, неприятия, недоверие к людям, стыд, в конце концов. Можно вопрос? А как Вы прячете эти чувства у себя?

Светлана: Заползаю, как улитка, в раковину. Я вообще пессимист.

Одиссей: Пессимист или же оптимист, я считаю, каждый человек рассуждает про себя. Человек ведёт себя в зависимости от настроения как тот или другой. Пессимист уже не живёт. Да и зачем когти рвать, когда и так ясно, что будущее ничего хорошего не принесёт, когда весь мир против тебя, ничего в нём не изменишь, когда легче заснуть и не проснуться? Пессимист упрям в своём заблуждении, что мир должен вокруг него вращаться, а если это не получается (а это никогда не получается), то естественный выход – не жить. Или бороться против всего мира. А эта борьба истощает и в конечном итоге заканчивается тем же самым – не жить! Оптимист пытается изменить мир в соответствии со своим восприятием, мировоззрением, а чтобы это сделать, необходимо прислушиваться к

миру, слышать его, понимать его в своём жизненном объёме и находить компромисс между тем, что ты хочешь, и жизнью. Тогда есть шанс, что «временное» отступление завершится выигрышем. То есть, в конечном счёте, будут реализованы желания оптимиста. А если у оптимиста не выйдет, то он сочтёт, что в чём-то ошибся (ведь всех перехитрить нельзя), сделает выводы – и начнет всё с начала или же отступит от воплощения своего желания.

Вывод: пессимист ставит перед собой авантюристические задачи и потом кого-то обвиняет в том, что те не реализовались. А оптимист оценивает риск, свои способности на пути к цели. Пессимист после каждой неудачи в депрессию впадает, не живёт, а оптимист, пока зализывает свои раны, размышляет, где же он ошибся.

На мой-то взгляд, пессимисты – законченные нытики и неудачники, недалёкие люди, ничего, кроме жалости не вызывающие.

Светлана: Пессимисты мне милее. Я пессимист убеждённый, расценивающий оптимизм как недалёкость. Оптимисты, надевающие розовые очки и прячущие голову в песок, чтобы не видеть окружающей действительности и своего будущего, они ведь сильнее всех реагируют на то, что в их жизни произошёл облом. А пессимисты, когда на их голову сваливается снежный ком неприятностей, думают: «Ничего другого я и не предполагал». И уже не так больно. А потом, когда потеплеет и ком растает, – радость: «Жизнь не так плоха, как я предполагал и настраивался».

Одиссей: Видимо, пришло время рассказать Вам всё о своей жизни.

Светлана: А я почти всё знаю, кроме Ваших мыслей. Современная жизнь с её возможностями бывать на личных страницах Интернета позволяет подглядывать в замочную скважину. Можно даже мысли подглядеть, только если человек хочет ими делиться, выставлять на всеобщее обозрение. Вы вот не всегда делитесь. Но всё равно о многом догадаться можно.

* * *

*Как тетерев токует на току,
Твердим своё,
Других совсем не слыша,
Что колет под лопаткой и в боку, –
И тяжело, неровно, нервно дышим.*

*А градусник стоит всё на нуле:
Кусай подушки край,
Кусай свой локоть,
А чтоб прожить в приемлемом тепле,
Ломай не к месту выглянувший коготь.*

*Ведь знаем: ничего не изменить.
Не рухнут стены,
Хоть и хлопнем дверью;
Не разорвать натянутую нить –
Вернёмся подметать и пух, и перья.*

*А для чего?
Так давит духота
И острых всех углов столпотворенье.
Так в лайнере испуг и глухота
Сопровождают резкое снижение.*

Одиссей: Остаётся только набираться мужества и всё это терпеть, терпеть и терпеть – и нет всему этому ни конца, ни края. Но каждому на роду выпадает какое-нибудь горе... Очень боюсь, что настоящее моё горе – ещё впереди, и надеюсь, что это не так.

37

Всё вернулось на круги своя, преждевременная весна сменилась апрельскими морозами. И хотя было ясно, что это ненадолго, что лето уже не за горами, возврат холодов как бы подрезал Светлане крылья, опустил на землю. Стоит ли совершать перелёт в родные края, если туда вернулась зима?

Весной всегда ощущаешь себя как витязь на распутье. С одной стороны, жаждешь перемен, а с другой, на эти перемены просто не остаётся ни времени, ни сил. Вся – словно выжатая тряпка. Даже лета уже не хочется.

Она опять перестала чувствовать свой возраст. Хотя все о нём знают, но ты пока прячешь голову под крыло, как страус, гордо стоя на одной ноге.

Светлана теперь редко вспоминала мужа, вернее, вспоминать-то вспоминала, но как какую-то икону, которой можно поклоняться. Он почти ушёл из её сновидений, лишь иногда выныривал из тяжёлой толщи сна... И тогда она пугалась своего непонимания, что это сон... Впрочем, иногда в её снах появлялись и её родители, и бабушка, и дедушка: они жили там в реальном времени, и, когда она просыпалась, она долго не могла понять, как же она только что с ними разговаривала, ведь они умерли. Но во сне они были молодыми и живыми. Сон проделывал с ней какой-то такой фокус, что она переставала помнить о том, что они умерли.

Сегодня она проснулась в ожидании счастья. Она сидела на крыльце на даче. Поздним августовским вечером. Над головой был огромный колокол звёздного неба, в бездонность которого она так любила смотреть в начале августа, пока ещё не зарядили дожди. Ощущение того, что это последние тёплые дни, было настолько сильным, что хотелось плакать. По саду разливался сладкий запах переспелого розового налива, который с мягким стуком то и дело падал на землю, выводя её из оцепененья. Муж сидел рядом. И это ощущение тепла, надёжности руки, которой он обнимал её, отводил грядущую осень, было настолько реальным, что она подумала: «Значит, чудо возможно. Это ничего, что у природы осень; время года – в нас самих».

Она медленно возвращалась в холодный мутный расцвет, означавший настырный звонок будильника, рвущий иллюзии, и начало трудовой суеты. Но ощущение счастья всё равно просачивалось из сна, как будто солнечный луч в щель не наглухо задёрнутых занавесок, оставляющий полоску света на рассохшихся паркетных досоч-

ках. Как будто ничто уже не могло отменить этого счастья, как будто оно было предрешиено свыше, как и всё то, что с ней происходило раньше. Странно... Муж умер. Впереди медленное угасание, одиночество и безрадостная немощная старость на захламлённых задворках жизни, где всё давно поросло лопухами и верблюжьими колючками, цепляющимися за тебя и напоминающими в любой обстановке о том, что впереди будут только они, эти маленькие колючки, запутавшиеся в твоей памяти и вызывающие боль о несбывшемся и несостоявшемся.

Она в третий раз за эту зиму (весна теперь казалась ей продолжением зимы) переносила грипп на ногах: мутно болела голова; слезились, как от едкого газа, глаза; ныли и отекали ноги, которые она закидывала дома (благо её никто не видел) на стол или высокую тумбочку, а своё ватное тело располагала в кресле. Из распухшего носа текло, в горле першило, ничего не хотелось делать, и она через силу с инерцией автомата заставляла себя выполнять отлаженную программу. На работе она всё время была как туго закрученная пружина, готовая сорваться и выпрямиться в полный рост, а дома шарниры её крепежа слабели, из глаз, как из форсунки, постоянно брызгала солёная влага.

Она чувствовала себя железной и неживой, которой заказано даже уйти на больничный, чтобы иметь хотя бы краткую возможность чуть-чуть отоспаться и отлежаться под мягким одеялом.

И тут вдруг какой-то мутной волной вынесло на берег из глубоководной памяти строчки из Дориного дневника: «Болезнь – иногда счастье. Болезнь – это чай в постель с малиной, мёдом и оладушками. Это – «ничего неделанье». Это – любимый рядом».

А вот рядом с ней никого. Тишина, от которой закладывает уши. Иногда она начинает думать о старости: как так получилось, что её старость будет безрадостна и пустынна? Хорошо, если она сможет ощупью по стеночке дошаркать до кухни и туалета, а если нет? Она задвигает эту пока не очень её тревожащую мысль подальше и вздыхает, что она уже никогда не напишет такого, как Дора.

Странно вообще слышать это из уст слепнувшей женщины. Любимый рядом – это счастье... Но болезнь – это разве счастье? Не было бы счастья, да несчастье помогло? Можно и в крошечной темноте купаться в лучах света и нежности? Болеть с блаженной улыбкой на лице – улыбкой от того, что тебе несут чай в постель?

Хорошо бы умереть легко, как муж или мама. Лучше, как мама, сесть на кафедру после лекции на стул – и умереть. Никого не измучив и сама не поняв, что всё: черта подведена. Десять минут – и тебя уже нет, и приехавшая «скорая» только констатирует факт и вызывает другую бригаду. Но она знает откуда-то, что это не её вариант, о её варианте вообще лучше не думать.

Её любят на работе. Если на работе вообще можно кого-то любить... Скажем так, к ней относятся нейтрально, терпимо. Она иногда выбирается вместе с коллегами в театр или на концерт, но про себя знает, что возникни конфликтная ситуация на службе – её подставят и сдадут. Сегодня ты сидишь вместе с ними в кино, упиваешься высотами человеческого духа, а завтра пишешь объяснительную, потому что твоя вчерашняя спутница пожаловалась на тебя начальству, хотя можно было никому ни о чём не говорить... Интересно, это только у русских так заведено? Во все времена: и в 37-м, и в начале 50-х, и теперь... Сегодня это называется «борьба за выживание». Или все её коллеги настолько чувствуют себя несчастными и ущербными, что любой маленький реванш, когда другой низвергнут наземь и его пинают и топчут ногами, возвышает их в собственных глазах? Добиться и добить имеют один корень?

И сама она, кажется, становится раздражительной и временами ядовитой, как крапива: коснутся её случайно, а потом покрываются красными волдырями и долго чешутся.

Раньше люди раскрывали душу случайному попутчику под стук колёс, монотонно твердящий: «Это всё временно. Скоро новая станция. Новый пейзаж, и твой недолгий попутчик скоро выйдет в незнакомом тебе городе, в который ты вряд ли приедешь когда-нибудь; окунётся

в свои заботы, нахлебавшись холодной мутной воды, и даже не вспомнит о тебе никогда и мимоходом. Не отложится в памяти ничего из того, что выплеснул на него гелевыми чернилами. Обесцветится на свету. Сотрётся из памяти, как с магнитофонной ленты». Это почти всегда знал тот, кто наспех, торопясь, выворачивал наизнанку, швами вверх, душу. Но всё равно спешил, захлёбываясь, рассказать о том, в чём мог признаться лишь себе. Стягивал с лица присосхнувшую к нему маску, такую привычную обступившим его плотным кольцом людям, по которой его идентифицировали и без которой он боялся упасть в грязь. Зачем? Откуда внезапно возникало это желание рассказать свою жизнь, малоинтересную окружающим, которые всё равно никак твою жизнь в другое русло не повернут? Почему после того, как забродившие прошлое и настоящее, вырвавшись из-под плотно пригнанной крышки, выливались на случайного попутчика, вероятность встречи с которым в этом мире ещё раз стремилась к нулю, с души сваливался камень, будто груз для квасящейся капусты? Словно выпускали из закупоренной, неплотно закатанной банки газы брожения, распирившие эту банку, грозя её разорвать. Почему дышалось потом легко, будто после грозы, когда давление и жара, разразившись ливнем, спадали?

Светлана подумала, что Интернет – это тот же поезд: за окнами бегут неизвестные тебе станции; мелькают своими похожими стволами перелески; проблёскивают лужицы застоявшейся воды, словно солнечные зайчики от водительского зеркала; дымят чёрными трубами городишки: дым рассеивается и исчезает, как наши воспоминания.

И всё больше людей упорно ищут случайного попутчика, родственную душу в надежде, что хоть кто-нибудь услышит их «птичий язык». Рыщут, накрыв лицо таинственной карнавальной маской или ажурной вуалью, из дымки которой вырывается душа со всеми её тревогами, обидами, надеждами, тоской и печалью о том, что ты так и не был услышан, и одновременной боязнью быть прочитанным окружающими тебя в реальном мире.

Всё больше пожилых пытаются поведать миру в различных блогах о своей брэнной жизни, нелёгкой, но набитой событиями, как кошёлка на рынке, в надежде задержать мгновения, утекающие, как песок между пальцев, чтобы быть развеянными по ветру. Ну, а молодые... Это не время проходит, проходим мы. Скоро и они будут читать свои записи и думать: «Ну и дурак же я был, но как искренне верил в «прекрасное далёко», которое не состоялось». Не так далёк тот день, когда они будут смотреть на лица своих постаревших одноклассников и радоваться, что через столько лет можно запросто найти человека из своей юности.

И всегда можно просто исчезнуть, удалиться, сойти на ближайшей станции, потеряться в сетях и не вернуться туда, откуда начинал свой путь. Вы меня слышали? Спасибо Вам. Но меня уже нет, я высадился. Не догонишь... Как полёт облаков, как тени от ветвей на стене, по которым хлопещет ветер...

А близкие рядом... Застегнёмся на молнию, для надёжности накинув сверху ещё и крючки; выстроим хотя бы гипсокартонную перегородку, создающую иллюзию отгороженности...

В юности она очень любила вечернее купание в заходящем солнце. Она раздевалась, чувствуя босыми ногами остывающую землю и уходящее из неё тепло, осторожно входила в воду, поёживаясь, пока вода не начинала бережно гладить её бёдра, а затем бросалась в неё, задерживая дыхание, отрываясь от земли и отдаваясь в её могучие руки. Она плыла по огненной или янтарной полоске света, раскатанной ковровой дорожкой, стараясь плыть прямо по ней, никуда не сворачивая. К её счастью, выходило так, что дорожка никогда не убежала далеко в море, а всегда держалась береговой черты. Она плыла спокойно и безмятежно, думая о том, что вот эти мгновения скоро кончатся и лето проходит... А пока надо просто жить и наслаждаться этим безвременьем и праздностью. Она плыла, ни на шаг не приближаясь к ярко-огненному раскалённому шару, хотя её и не сносило назад течением. Дорожка почти всегда мед-

ленно выгорала, как свет в фонарном луче, когда садится батарея; огненный шар западал за серую мутную кромку горизонта, и она поворачивала назад. Возвращение было неизбежно и предрешено. Она быстро выходила на берег, насухо вытиралась, в оседающих сумерках переодевалась в сухое – и легко шла в гору, чувствуя себя отдохнувшей и обновлённой. Всё окружающее на глазах теряло свои очертания, а цвет пропадал, будто накрытый угольной пылью. Но ощущение того, что завтра солнце легко смоем эту пыль, было удивительно в своей неповторимости.

* * *

*Равнодушная катит река –
Год за годом
Плывут пароходы.
Устаёт, затекает рука,
Силась ветки пригнуть с небосвода,
Их ломает от сочных плодов,
Что увидело цепкое око.
Где те ветки, что ниже голов,
Где июль, где не столь одиноко?
Я всё та же:
Ещё молода.
Я не верю, что солнце – к закату...
Каждый год – возвращаюсь сюда,
Только годы идут без возврата.
Смело яблони в небо растут,
Оплетая веранду ветвями.
Облаков оживает лоскут,
Словно парус, надутый ветрами.
Лишь за кромку озёр унесло
Столько близких, стоявших стеною.
Под верандою сгнило весло
От воды, подкатившей весною...*

* * *

*Бесмысленно руки устало тянуть –
Чужую звезду никогда не приблизить.
Рассыпаны по небу звёзды, как ртуть,
Что капельки яда –
Не надо бы видеть.
Мерцают холодной своей белизной,
В июльской ночи, как роса, испаряясь.
Вновь мир поражает своей кривизной,
И та кривизна так близка нам – на зависть!
И всё-таки мы отразились не так,
И снова не поняли близкую душу.
И луч от звезды прячем в потный кулак,
Боясь, что вдруг выскользнет мигом наружу.*

* * *

*Опять тревога на душе.
Всё меньше видишь в жизни света.
Ведь всё сбылось навек уже,
На возвращенье в юность – вето.
Покрылось поле лебедой.
Нет слаще горечи полынной.
А всё живое выжег зной –
Так мне покажется, наивной.
Сухой травинкой на ветру
Себе ты кажешься, безвольной,
Что не обрежет поутру,
Не обожжёт внезапной болью
Тех пальцев,
Что грозят сорвать,
Как шёлк, траву перебирая...
...И надо возраст осознать,
И то, что ты теперь другая.*

Одиссей: Лучше потерять одного, чем быть одному.

38

Даша зашла в вагон – как слепая, забралась на верхнюю полку, осторожно отогнув накрахмаленную скатёрку на столике в купе, и отвернулась к стене. Слёзы душили её. Она подумала, что это очень хорошо, что колёса стучат так громко. Попутчики её не услышат. Что такое нашло на неё? Какая муха укусила? Вспоминать свой визит к отцу не хотелось. Как так получилось, что эта девочка встала между ними, умудрившись порвать все нити, связывающие её с папой? Может быть, их ещё и можно связать, но это будут уже натянутые нити.

Никогда она не ощущала себя так одиноко, словно гостя, когда хозяева ждут не дождутся, чтобы она уехала.

Впервые она чувствовала, что мешала их скомканному быту. Она-то думала, что у отца нет никого роднее её. А он курлыкает не только со своей Дорой, а и с этой её сестрицей. Ей даже спать пришлось с ней вместе в комнате на раскладушке. В доме всё переставлено, разбросано, захламлено. Эта девица часами переписывается в чатах с какими-то придурками на папином компьютере, выселив его на ноутбук. Потом вообще явилась домой навеселе в половине третьего ночи с какими-то двумя бой-френдами и подружкой с ночной дискотеки, заявив, что тем далеко до дома. Компашка начала в комнате курить, а папа им ничего не говорит... Стали взахлёб обсуждать прошлую поездку к ним на дачу. Почему она живёт так, будто это её дом, её дача, её папа?

Утром один из них зеркало в ванной разбил. Все испугались. Подавленно обсуждали происшествие за завтраком... Как будто кому-нибудь надо длить жизнь этой женщины, превратившейся в бревно, что лежит на клеёнке в бабушкиной комнате? И самой этой женщине это не надо. Иногда лучше умереть. Это тот случай, когда иногда... Она сказала

об этом папе. Что тут началось! Что он не предполагал, что у него такая бесчувственная дочь, что это она – полено, а не Дорина мать. Что ему становится жутко от мысли, кого он воспитал. Она заорала, что он и не воспитывал. Ловил паутину в Сети, вместо того, чтобы деньги зарабатывать и их с мамой кормить! Смылся от них на свободу. Вот и получил эту свою свободу, и ещё получит! Так ему и надо! Дора с Сарой ворвались в комнату и стали орать, как ей не стыдно! А им не совестно? Устроились! По жизни отца – бульдозером. Ехали бы на свой Север. В свою квартиру, а не зарились на чужую. Живёт же она в общежитии. А эта Сарочка не может? Ей, видите ли, надо учиться платно, а денег все зарабатывают мало, чтобы квартиру снимать. Да и Доре помогать надо ухаживать за старухой. А почему её папа должен всё это выносить? Висят часами обе на телефоне, с мужиками разговаривают: сю-сю-сю, сю-сю-сю... «Ах, мой Джекушка!» Больше она к ним не приедет.

Почему так бывает, что отчужденная жизнь в одиночестве рушится? Почему папа, который был самым родным человеком, хотя и не жил с ними давно, но всё равно был роднее мамы, стал чужим? Ей даже говорить ему ничего не надо было. Так он понимал её... А теперь от него веет каким-то холодным ветром, относящим её крик в сторону. Услышит ли он когда-нибудь хотя бы её эхо? Вернётся ли в этой пустоте к нему её слабое эхо, когда её вопль, наткнувшись на стену, отлетит, как мячик, догадкой, что его родная дочь, дороже которой у него всё равно никого нет, заблудилась в тёмном лесу, потерялась в бегстве от диких зверей, терзающих её ещё незрелую душу?

Даша долго всхлипывает, радуясь тому, что стук колёс заглушает её сдавленные рыдания, а соседи и на нижней, и на верхней полке, что напротив неё, храпят, будто выдувают лемеха какие-то, как ветер в трубе завывают, словно слоны трубят, завидевшие самку.

По стене бегут огни пробегающих станций, прочерчивая стены неверными, в мгновение исчезающими лучами. И опять возникают новые жёлтые полосы, пляшущие в дикой пляске под бубны шаманов и напоминающие о том, что всё в нашей жизни быстротечно и неуловимо.

Ах, как Дора любила театр теней, когда лиц не видно, а только движение... Только догадка, только предчувствие. Это – как танец, пантомима, балет, только чётче и резче, как рисунок грифелем или углем по белому ватману... Это когда цвет совсем не нужен, он только мешает, только отвлекает... Когда важна сущность, а не детали. Это полёт в невесомости, когда и сам становишься почти прозрачен и бесплотен.

Почему ей так нравился этот театр? Как будто знала, что из её жизни может исчезнуть свет. Привыкала к отсутствию цвета, когда правит царство теней. На тень можно наступить, но убежать от неё нельзя.

Она как-то уже давно, в начале её совместной жизни с Одиссеем, увидела Дашины фотографии. Сказала ему тогда: «Что, у неё нет цветного фотоаппарата? «Мыльницу» хотя бы подарил ей, что ли? Ребёнок видит жизнь в сером цвете!» Она не поняла тогда ничего. Но потом как-то в отсутствие домашнего, так она его называла, она вернулась к этим фотографиям и осознала, что в них было что-то такое, что заставляло к ним вернуться. В них был свет, но свет этот шёл откуда-то изнутри, как из-под закрытой двери пробивался; словно из глубины подземного грота, в который хотелось заглянуть. Фотографии манили своей неразгаданностью, притягивали тайной, которая пряталась в уголках губ, сложившихся в полуулыбку. И она поразились тогда тому, что эта девочка, которая была всё же больше, чем на десятилетие, моложе её, могла знать эту тайну, постигнуть которую было выше Дориных сил. Такое же чувство неразгаданности возникало у неё и когда она смотрела спектакль в театре теней. Мечутся по стене тени, как птицы, и не видят лиц друг друга – так у многих не бывает лиц в различных чатах – даже маску надевать не нужно, чтобы спрятаться за неё. Всё обнажено, все нервы оголены, как на рентгеновском снимке или УЗИ.

А она теперь свет видит, различает цветовые пятна, а вот контуры и очертания потеряны... И их дом превратил-

ся в театр теней, где лица скрыты, как у невидимых собеседников в Интернете, тех, кто не хочет показывать своих лиц. Лицо открывать – это опасно, становишься слишком незащищённым.

А на компьютер ей Одиссей установил программу, которая монотонным, неживым и дребезжащим, словно заржавленный механизм, голосом читает ей вслух веб-страницы. Это Доре помогает, но она всегда чувствует себя голой и незащищённой даже в наушниках: а вдруг кто-нибудь услышит, по каким дорожкам она прохаживается.

А ходит она к своим друзьям, что не знают о её горе, так как живут далеко, в чужих странах и на незнакомых ей землях. И говорит она с ними, как будто летает на сцене, играя в театре теней. Танец завораживает и затягивает, как сон, она погружается в сновидения и не видит ни зрителей, ни партнёров. Только полёт! Только полёт! Волны тёплого воздуха подхватывают её, будто руки прогретого моря, и она плывёт... Она плывёт, как плыла её мама.

Мама в детстве всегда восхищала её. Она была такая красивая, так нарядно одета, всегда так вкусно пахла какими-то диковинными ароматами, неуловимыми, как солнечный зайчик на шершавой стене, кружащими её голову и будящими непонятные желания.

Она так любила в отсутствие взрослых прокрадываться в мамину комнату и примерять её концертные костюмы. Особенно ей нравились те, про которые мама говорила, что это для танцев фламенко. Юбки для этих танцев напоминали гофрированные бумажные новогодние гирлянды. Она залезала в такую юбку, подвязывала её шёлковым шарфом и гордо выхаживала перед зеркалом, подметая юбкой весь пол их нечасто прибираемой квартиры. Потом подходила к комоду, открывала по очереди красивые разноцветные флакончики с туалетной водой, которых обычно было несколько, и осторожно прыскала себе на волосы, одурманиваясь их разливающимся ароматом. Затем наступала очередь примерять парики. Особенно ей нравились те, что с длинными прямыми волосами, такими мягкими и совсем не похожими на её нерасчёсываемую копну, напоминающую мочалку для мытья сковородок.

Она танцевала по комнате и знала, что когда-нибудь она будет парить на сцене, окруженная юпитерами и поклонниками, складывающими под её ноги цветы.

Быть танцовщицей ей запретила мама, когда при осмотре у окулиста у неё обнаружили предпосылки к её нынешней беде: прыганье ей было заказано. Как она её тогда ненавидела за это! Она вообще не терпела малейшего покушения на свою свободу ещё в детстве.

Уже студенткой она всё же записалась в студию ирландских танцев. Тайно от родителей. Она знала, что на профессиональной сцене ей не танцевать, но так хотелось побыть птицей, ощутить ветер перемен и парение над суетой... Освоив пластику и душу танца, она стала жить с той лёгкостью, что ощущала в вихре пляски. В ней поселилась музыка, рождающая полноту счастья и чувство неповторимости бытия.

А тогда в детстве она тихо плакала, отвернувшись к стене, на которой тени веток с отживающими листьями, освещёнными тёплым янтарным светом фонаря, похожего на луну, только не распластанную и приклеенную к небосводу, а объёмную, – двигались в диковинном языческом танце. Она всхлипывала в подушку и ненавидела маму, которая, благоухая неземными ароматами, брала в руки чемодан и, ласково поцеловав дочь, уезжала на гастроли.

Какое-то непонятно откуда взявшееся чувство говорило ей, что мама рада, что танцевать Дора не будет никогда, и мама всегда будет в полёте на той высоте, на которую Дора посягнуть не посмеет.

Мама просто не даст ей подняться на её высоту. Её власть и взгляд свысока на них, детей, мешали Доре расправить оперяющиеся крылья. Она чувствовала необычную внутреннюю свободу и полное отсутствие воздуха даже, чтобы дышать, а не только, чтобы летать. Она втайне примеряла на себя мамины платья и мамины танцы, боясь быть застигнутой врасплох не только за примеркой нарядов, но и тем, что её мысли прочитают. Дома ей всегда хотелось съжаться до размеров булавочной головки, которую не замечают. Тогда она чувствовала себя в безопасности и потихонечку пробовала расправлять крылья.

Именно поэтому, как только она устроилась на работу, Дора ушла из дома, ушла со скандалом, объявив о своём совершеннолетию и свободе, свободе – не только внутренней, но и внешней, сняв недорогую комнатуху на окраине города, где она больше не чувствовала себя со спелёными крыльями.

В первое время она пошла в разнос. Ходила на ночные дискотеки и в ночные клубы, стала завсегдатаем ресторанов и кафе, приглашала к себе шумных друзей.

Но мама звонила ей, обрывала мобильник, стояла под дверью и ждала, когда Дора придёт. Смешно! Большинство её знакомых родители отпускали, куда глядят их глаза и рвётся их душа.

Отчасти поэтому она и кинулась в чужой город к Одиссею. Ей показалось, что это будет бегство в другую, свою новую, взрослую жизнь, где родители будут далеко, а у её мужа хватит ума и терпения перешагнуть через власть её близких.

Она и была с ним счастлива. Конечно, между ними был какой-то барьер, психологический. Она никогда не могла с ним общаться так легко, как со своими мальчиками. Он относился к ней во многом, как к ребёнку. Но в нём совсем не было диктаторства, как в маме. Одиссей чем-то напоминал ей отца, который почти совсем исчез из её жизни, посылая только изредка письма и фотографии. Правда, иногда Дора могла услышать его голос, но эти пятиминутные междугородные разговоры не приносили ей ничего, кроме ощущения пропажи, когда вместо человека остаётся телеграфный бланк от него.

Её очень удивляло и обижало бегство Одиссея из их совместной, казалось, тогда ещё очень счастливой жизни, когда просто радуешься, что любимый человек рядом. Но он снова собирался – и уезжал в командировки длиной от недели до года... Больше всего её обидели эти две его командировки на несколько месяцев за границу. Нет, он, конечно, ей звонил и говорил с ней из-за океана чаще и дольше, чем папа, но её не покидало ощущение, что его жизнь – там, а не с ней, такой молодой и красивой. Он присылал ей по электронной почте фотографии океана, кото-

рый был бескраен и безбрежен, но какой-то чужой – серый и безжизненный. Но Одиссей писал, что ему всё там у океана нравится. Она обиделась тогда и спросила:

– Даже моё отсутствие?

А он ответил:

– Малыш, человеку свойственно убегать от судьбы, чтобы побыть наедине с собой.

Она не поняла тогда, что он хотел сказать. Да и сейчас не совсем понимает, но чувствует, что разгадка близка, она мучает её, как назревающий чирей. Хочется всё время возвратиться – потрогать набухающий и твердеющий прыщик: не созрел ли? Сколько будет ещё расти и болеть?

Но ведь она в отсутствие Одиссея тоже жила своей жизнью и радовалась, что может ею жить? Снова ходила в ночные клубы и на дискотеки, в кафе и в рестораны, в театры и на концерты. Записалась в кружок танцев народов Севера... И никто из её родных об этом не знал и потому ей не мешал. Она была свободна, как птица... но догадывающаяся, что возвращенье в родные края неизбежно.

И вот теперь мама лежит на сбившейся простынке в соседней комнате, в чужом ей доме, на окраине жизни, улететь из которой можно только в одном направлении.

А Дора снова связана по рукам и ногам тем канатом, оборвать который не только невозможно, но и просто нельзя. Как тогда и с каким сердцем жить дальше? Почему судьба, послав ей Одиссея, сразу же у неё так много забрала взамен?

Инсульт у мамы случился на гастролях, когда она, прожив краткую жизнь диковинной птицы в малиновом оперенье, махнув развевающимся огненным крылом, наступила на шлейф своего чарующего летящего наряда и рухнула, сражённая выстрелами аплодисментов. Подняться она уже не смогла. Её унесли со сцены перепуганные коллеги под перекрёстный шквал аплодисментов, доносящийся из-за спешно задёрнутого занавеса, казалось, стекающего в зрительный зал и разделяющего жизнь на ту и эту.

Светлана проснулась посреди ночи от того, что пристальный лунный свет вглядывался ей в глаза. Она зажмурилась и инстинктивно заслонилась от него, как от солнца, ладонью, затем перевернулась к стене. И проснулась. Вместо чёрного скелета обугленных ветвей она так ясно увидела, что ветка ощерилась маленькими копьями листочков и была похожа пока на колючую проволоку, за которую путь заказан.

Но она знала, что это уже ненадолго. Наутро она шла по зазеленевшей улице и улыбалась тому, что так внезапно в одну ночь всё переменялось. Тополя распушились ещё клейкими свежими листочками. Она улыбалась тому, что всё шло своим чередом. Ей навстречу в обнимку шли двое, по-видимому, проглядевшие на лунный свет всю ночь, по возрасту напоминающие ей её нерождённых детей, и она снова подумала, что её жизнь уже пошла на убыль. И ничего-то уже хорошего в её жизни не будет никогда...

Лето всегда приходит внезапно, когда его уже и не ждёшь. Вот уже и вишнёвый цвет на ветвях. И листьев-то настоящих нет, но голые ветви все за ночь стали усыпаны розовым цветом, совсем не думающим о том, что холода могут вернуться. Деревья почувствовали душное тепло – и за день их почки набухли и раскрылись, чтобы дать завязь плодам... И никто не хочет верить в заморозки, которые обещают синоптики.

Светлана привстала на носочки, дотянулась до ещё не отягощённой плодами ветки и обломилась её, чтобы поставить дома в вазу обрастать листочками и беречь душу мыслями об ушедшей молодости.

У неё было «никакое» настроение. Она чувствовала себя какой-то неживой шестерёнкой, несущей важную функцию, без которой отлаженный механизм выходит из строя. У неё не было своей жизни, а была работа, из которой вырваться даже в майский отпуск на праздники не получалось. Она уныло спрашивала себя: «Для чего это и зачем? Для чего это буйное цветение, бердящее душу, если

душу лучше не растревлять, коль ты ничего не в силах изменить в своей жизни. Надо просто жить, не оглядываясь...»

В праздники она побывала на кладбищах у родителей, бабушки с дедушкой, мужа... Она красила резную оградку и думала о том, что человек так быстро привыкает к исчезновению из его жизни самого дорогого. Она давно не была на природе. И почему-то вместо печали испытывала странное чувство эйфории от свежего воздуха, наполняющего её лёгкие... Ласковый солнечный ветер дул ей в лицо, пахло некошеными травами, и хотелось бежать скорее куда-нибудь на дачу.

Частокол почти одинаковых крестов свежих осевших могил пугал своей необозримостью. Казалось, что даже до конца квартала, в котором выросли памятники, чем-то напоминавшие ей обугленные деревья, не добрести никогда. Она испугалась, что заплуталась – и не сможет засветло выбраться из этого квартала. Кресты были так похожи друг на друга, что становилось страшно от мысли, что под ними лежат совершенно разные, столь отличные друг от друга люди, которые теперь уравниены в своих возможностях и отсутствии желаний. Её поразило, что очень много молодых... Ей показалось, что здесь каждый второй – молодой... А если в могилах так много молодых, значит, с нашей жизнью что-то не так? Ведь не война же. Там всё понятно, как бы бессмысленна и жестока ни была война. А почему так много погибших в расцвете лет без войны? Почему так много матерей, переживших своих детей и обречённых на одинокую старость, как и она, не проведшая ни одной бессонной ночи у кровати ребёнка?

Почему она, ещё молодая женщина, должна стареть в одиночку, и её любимый никогда не увидит морщин на её лице? Их нанесёт не он, прочертят другие...

И стоит ли рваться ввысь, пытаться чего-то достичь, чтобы быть подстреленным в полёте?

Но солнце было по-летнему приветливо, и боль задвигалась глубоко внутрь, чтобы потом вынырнуть где-нибудь в бездонной ночи, когда тревожный лунный свет начнёт заглядывать в окна.

<http://odissei.livejournal.com/>

5 мая 2009

Желание смыться пришло незаметно.

<http://aisedora.livejournal.com/>

15 мая 2009

Отчёт о майских праздниках

Первые праздники прошли бездумно, любимый хворал, на природу не выезжали, на вторые праздники вообще свалил с дочерью в Альпы почти на две недели, а затем прямо из Москвы отчаливает на конференцию... Ничто не напоминает о моём дне рождения. Хандрю и скучаю без него, что неправильно.

Светлана подумала вдруг: «Почему человеческие отношения и чувства оказываются короче человеческой жизни, любовь не выдерживает испытаний бытом и задыхается под грузом свалившихся в одночасье несчастий?.. И человек опять остаётся наедине с разгулявшимися ветрами? Впрочем, быть может, люди и идут долго вместе именно потому, что не держат друг друга на коротком поводке?»

41

Всё, больше дома Одиссей находиться не мог. Так бывает. Ему постоянно теперь казалось, что стены вздрагивают, чувствуя уже не первые подземные толчки набирающей силу катастрофы, и ещё мгновение – и он окажется заживо замурован в бетонном саркофаге.

Полтора года тому назад он решил, что больше путешествовать ему не придётся никогда. И вот он сидит в автобусе, впереди в кресле дремлет его дочь, положив голову на плечо своему юному супругу, и думает о том, что всё ещё не так плохо, раз ещё можно сорваться с круга...

За окном открывается панорама гор во всём своём великолепии водопадов и заснеженных вершин, которые ещё не начали лизать тёплым языком солнечные лучи, а

только пока оценивающе их осматривают. Да и тают ли эти снега вообще? Или остаются вечно в поднебесье, не желая сливаться с голубой водой озёр и терять по каплям свою сущность. Вот и «сказочный король» Баварии Людвиг II так и остался жить один в своих чарующих замках, затерянных в облаках и смотрящих прямо в кипящую воду водопада... Не потому ли, что боялся утратить свою целостность в побеге за шлейфом женского платья? Всё – как в сказке, из которой возвращение неизбежно, ты об этом знаешь, но до этого ещё пока далеко...

Глядишь немигающим взглядом на мощный поток Рейнского водопада и думаешь, что сопротивляться течению вот этой ревущей воды бессмысленно. Чему быть, того не миновать, и не стоит тратить силы даже на то, чтобы прибиться к берегу. Бессмысленно.

Даша боязливо ходит по плоскому камню, обкатанному летящими день за днём брызгами... Каменная площадка, сплошь залитая обжигающе ледяной водой... Она осторожно ступает, боязливо заглядывая через ограждающие перила в кипящую воду; потом так же медленно, будто идёт по жёрдочке над бурлящей стихией, подходит к любимому... Он обнимает её за плечи, как бы пытаясь сказать: «Не надо и близко подходить к этому сумасшедшему потоку... Ну, разве взглянуть одним глазком, ну, съёмочку на память сделать, чтоб знать, а не догадываться о тех вещах, которые надо обходить стороной...» Эти двое стоят, слившись в одну тень, а Одиссей чувствует себя почему-то одиноко и незащищённо, будто находится на голом осеннем поле, заросшем лебедой и чертополохом... И тени от него нет вообще, поскольку солнце не пробивается сквозь свалывшийся серый ватин облаков.

Ощущение, что ты всего лишь песчинка мироздания, вернулось к нему... Оно преследовало его и когда он плыл над бездной – в люльке цвета пожарной машины – на вершину скалы, чтобы потрогать рукой никогда не тающие снега... Только что ведь было совсем тепло, в рубашке ходил! Полчаса восторга – и вековой холод, изваявший ослепляющие красоты, высекающие из глаз ядовитые слёзы.

...А потом был Ченстохов с его храмом монастыря Паулинов... Со всей Европы съезжаются сюда люди, чтобы загадать желание, которое должно сбыться непременно... Надо только дождаться открытия чудотворной иконы Чёрной Мадонны – и тебя услышат. Сколько здесь оставленных костылей, пролитых слёз и распутившихся, как цветы по затянувшейся осени, улыбок!

Одиссей смотрел, как медленно опускается золотой щит, открывая лик плачущей Божьей Матери Ченстоховской, и вдруг неожиданно для себя попросил, что он хочет стать снова счастливым и самореализоваться. Попросил – и сам испугался этих своих подспудно всплывших желаний... Нет, он искренне собирался молить Богоматерь о прозрении для Доры до конца её дней, а также лёгкой и скорой смерти для её мамы (если сможет решиться произнести хотя бы про себя это желание...). Но почему-то, стоя в одурманивающей духоте, пропахшей воском и благовониями, сдавившей голову тяжёлым обручем, который, казалось, кто-то продолжал стягивать гигантскими болтами, почувствовал, глядя на проползающих на коленях под алтарём детей и взрослых, такое напряжение, что что-то в нём незаметно отключилось... Он был близок к обмороку и думал только о том, как бы не осесть тяжёлым кулём, зажатым потными людскими телами, на холодный каменный пол, отшлифованный миллионами ног и колен. Ведь не должен же здесь он был упасть, наоборот, тут люди встают на ноги и расправляют крылья!

42

Ну вот, её любимый опять от неё сбежал. В который раз уже. Раньше Дора и сама от него смывалась, например, к своей студенческой подружке в Германию. А ведь она могла бы поехать с ним – мама всё равно в больнице. Она могла бы отдохнуть и всё забыть хоть на десять дней. Это бы её проветрило и подняло её упавшее настроение. Но нет. Не захотел. Ухватился за дочь, будто утопающий за соломинку. Это скверно – ревновать. Он столько для неё делает! Он

мог бы не согласиться на то, чтобы она перевезла маму, он мог бы воспротивиться тому, что она поселила в его квартире сестру. Но он молчит. Гордится своим благородством, а она чувствует всё время свою вину, что сделала его жизнь безрадостной и неудобной. Все её друзья говорят, что он всё равно никогда не выгонит её, разве что сам уйдёт. Порой она думает, что он может это сделать. Это, когда он мрачный, и не разговаривает ни с кем... Сидит, уставившись в компьютер, закрывшись в своей комнате.

И что она будет делать без него? Вернётся назад в Сибирь? Но она не хочет назад, да и сестре надо образование получить, а там, Бог даст, выскочит замуж!.. У неё ветер в голове пока. Одни кафе и дискотеки. Впрочем, давно ли и она сама была завсегдаем этих заведений?

И ещё Дора понимает, что такая разница в возрасте, как у них с Одиссеем, это много, барьер существует всё равно, но, должно быть, к старости он начнёт потихоньку разрушаться.

Временами она начинает ненавидеть Дашу за то, что та хочет похитить у неё Одиссея. Улыбается мило – а потом Сева срывается и уезжает, забыв обо всём. И регистрировать их отношения не хочет... Она столько раз заговаривала об этом.

Недавно Дашка напустилась на сестрицу: как та посмела выставить в Интернете фото с видом из окна их квартиры? Шипела, что это не Сарин дом и пусть она не пудрит мозги своим бой-френдам. А сестра-то у неё чудесная!

На улице стоит какой-то душный сладкий запах черёмухи, от которого хочется плакать или бежать. И всё же почему он не захотел взять её с собой? Из-за Даши, из-за сестрицы? Он будто бежит от них куда глаза глядят, как она срывалась из дома навстречу взрослой жизни. И не звонит совсем.

Какой же всё-таки душный запах у черёмухи! Раньше она могла о чём-то поговорить с мамой, пусть не о главном, но о каких-то проблемах могла, а сейчас у неё никого, кроме Одиссея, который ей показался настоящей родной душой рядышком... И вот уже и его относит подхватившим течением...

Ну и шут с ним. Они с сестрой в Питер поедут к старым друзьям.

Вот он и снова дома... Как хорошо, когда тишина и никого нет... Только вещи все разбросаны. Ну, ничего, он сейчас приберётся. Свободной жизни у него остаётся почти двое суток. Ах, хорошо, как в сказке очутился. Думал, что уже и не побывает никогда.

Самое ужасное, что иногда ему кажется, что умри сейчас тёща, то лучше не будет. У Доры будет просто больше времени на её друзей. И сестра её чувствует себя в его доме, как рыба в воде. Вот только что с Дашей делать? Она плакала и говорила, что он её совсем забывает. Как он может её забыть! Глупенькая, маленькая его кровиночка!

И рассказать об этом некому, никто его не поймёт и не услышит...

Как незаметно прибыл день, сумерки набегают поздно, светает рано, а в жизни его становится всё темнее. Словно разрослись стволы леса, что из светлой берёзовой рощи плавно перетёк в непролазную чащу, почти не пропускающую свет сквозь свои густые кроны. Прохладно. И только по голубизне неба можно понять, что солнце ещё высоко.

Он набрал номер Светланы и позвонил.

Её голос вдруг показался ему полноводной рекой, в которую можно окунуться – и отдаться воле её течения. Он успокаивал, расслаблял, ласкал. Ему показалось, что он плывёт, наслаждаясь тем, что плывёт по течению, не напрягаясь, не стараясь справиться с потоком воды и встречным ветром, что овеивает лицо. Он плывёт безмятежно и наблюдает бег кучевых облаков, похожих на стадо белых барашков, из шерсти которых можно связать носки.

...И вдруг подумал, что жизнь продолжается, если эта женщина, которая на закате молодости похоронила любимого, так спокойна. Может быть, это уже старость с её отсутствием желаний, когда ничего не надо? Как заведённые часы, которые отзвонили, сколько положено, и спокойно тикают в тишине.

Но если это так, тогда почему старики так цепляются за близких?

Через два часа он сидел у Светланы и ловил себя на мысли, что ему совсем не хочется возвращаться к себе домой. И действительно, почему возвращение неизбежно? Почему в этом тёмном туннеле-лабиринте, в котором он уже давно плутает, не может забрезжить просвет, почему лишь тёмная паутина свисает с его потолка, да летучая мышь хлопает где-то крыльями, о чём догадываешься по странным звукам, будто полощется бельё на ветру?

Позвякивала ложечка в стакане, мешающая сахар, и так легко было просто молчать. Его пока понимали без слов. И не хотелось думать о том, что завязываемые узлы часто приходится разрубать. Сейчас ему хотелось зубами рвать канаты, ведущие к якорю, глубоко закопанному в песок. Не сам ли зарыл? Даже ничего можно было и не рассказывать о поездке.

Ложечка брнчала о стакан. Повествуя о путешествии, Одиссей опять, как павлин, «распушал хвост» – и озирался на себя со стороны. В раскрытую дверь балкона залетал первый тополиный пух. Он поразился тому, что всё наступает так быстро. Вот и пух тополиный полетел... То, что вчера казалось тяжёлым и важным, пригибающим к земле, становилось прозрачным и невесомым, гонимым лёгким дыханием ветра.

Ему захотелось потрогать первую седеющую прядь ещё молодой женщины, погладить рукой, почувствовать губами, накрутить на палец.

Женщина улыбалась. Чем сильнее она улыбалась, тем резче становились лучики, бегущие от глаз, словно веер...

44

Сегодня надо сразу взять маму из больницы. Дора пытается читать купленный в дорогу детектив, но буквы прыгают, словно гуттаперчевые фигурки на батуте... А за окном опять мелькают огни городков и деревушек, напоминая о том, что праздник кончился, и вся наша

жизнь — череда дней, похожих на скособоченные невзрачные домики, покосившиеся от оползающего под ними грунта.

Зато как она оторвалась! Питер это что-то! Вот уж тут она по всем друзьям походила, и во всех кафе побывала, и по городу погуляла с его дворцами и оживающими после зимы парками. Особенно ей понравилась экскурсия по ночному городу, когда один мост разводили за другим. У них экскурсовод попался прямо поэт какой-то. Так вот он говорит: «Посмотрите на мосты: они, как люди, расходятся... Только что было целое, а вот уже расстояние между ними всё больше и больше, и ничего-то нельзя с этим поделывать. Никак не остановишь. И до розовой полоски, что расплывается ягодным пятном на восходе, ещё очень-очень далеко – тогда половинки моста сойдутся снова, чтобы быть полноценным звеном нашей суетной жизни. Но ненадолго. Ночью – им снова разойтись, чтобы пропустить большие теплоходы, похожие на наши сны, освещённые яркими огоньками на бортах, будто в рождественскую ночь город... Эти корабли идут вереницей, словно запруженный поток вдруг вырвался... Преграды мы не видим, пока мы вместе... А потом большие корабли уходят – и снова чёрная водная гладь, в которой равнодушно отражаются две половинки разведённого моста, усыпанные в ночи сиянием огней, и сиротство... »

А Севу в его отпуск она всё равно раскрутит на поездку куда-нибудь на заграничный курорт... Без девиц. Только бы старшая сестра согласилась приехать и с мамой побыть. Хорошо, что Одиссей с Дашкой укатил, а то он человек увлекающийся... Окрутит его какая-нибудь длинноногая нимфа, из тех, что благородных кровей и похожа на леди...

45

Сестрёнка закончила школу. Дору на родительском собрании заставили расписаться, что школа больше не несёт ответственности за воспитание выпускников, хотя ЕГЭ были ещё впереди.

Через два часа после того, как Дора взяла на себя ответственность за судьбу сестры, та ушла из дому, сказав, что ночевать не придёт.

– Я молодая, я хочу жить, а не умирать вместе с Вами, в этой квартире, пропахшей мочой и кислой капустой из щей, которые пролились у тебя на плиту! Не надо меня хоронить вместе с собой! Вспомни себя, как ты спустя год после окончания школы умотала на частную квартиру, чтобы спокойно шляться по ресторанам! Я тоже хочу! А теперь зудишь! Ты мне дышать не даёшь! Вцепилась! Перетащила меня сюда в сиделки из Красноярска! Я и там прекрасно жила! Где твой разлюбимый? Смотался в очередную командировку, не захотев даже поглядеть на тебя, после нашего Питера. Что-то он к очагу своему не торопится? Опять у Дашки в общаге околачивается. Потому что наш дом – давно не очаг! А ты делаешь вид, что ничего не видишь! Даже если ты и слепая, но не глухая же! Не смей покушаться на мою жизнь! Это моя жизнь, а не твоя! Я помогаю тебе во всём, я у тебя как собачонка, которую можно погладить, а можно пнуть! Я задыхаюсь в этом чужом доме, особенно, когда приезжает Дашка! Я – как будто воровка и приживалка!

Ты подслушиваешь мои телефонные разговоры и просматриваешь мои письма! Какое тебе дело до моих друзей? Заруби себе на носу, что это мои друзья, а не твои! И жизнь моя, а не твоя! Мало тебе, что Одиссея к себе цепью за ногу приковала, так ещё и меня хочешь! Я любить хочу и жить!

...Дверь хлопнула, будто выстрел какой из ружья, заряженного холостыми патронами, чтобы поугагать... А вдруг не холостыми, а вдруг это серьезнее? Просто пуля пока пролетела мимо... На пол с привычным грохотом посыпались из косяка куски штукатурки, будто от бомбёжки какой... А любимый, действительно, домой не торопится... А за окном осенний дождь и холод, хотя почему-то всё цветёт, как в том мае, когда они встретились, и стоит тот же одуряющий запах, будоражащий душу предчувствием перемен. Но почему ей этот запах напоминает сад на кладбище, когда они ездили в мае устраивать могилы бабушки с дедушкой, красить облупившиеся за зиму кресты и ажурную вязь оградок?

Однажды, ещё до встречи с Севой, Дора видела настоящего американского еврея! Тогда у неё родилась мечта стать такой же уважаемой американской гражданкой, как этот молодежавший пожилой человек, нежащий своё пузо на пляжах Кипра. Пожалуй, она даже и очаровалась Одиссеем потому, что он жил в Америке целых два года. Ей казалось, что он сможет и её увезти когда-нибудь в страну её мечты. Она не понимала мать, которая не хотела никуда ехать из своей Сибири и как-то очень спокойно относилась к рассказам своих братьев по крови об их отбывших в тёплые края родственниках. Мать решительно не хотела предпринимать никаких шагов, чтобы оказаться ТАМ, и совсем не пыталась завязать какие-либо продуктивные контакты с еврейской диаспорой. Дора же думала, что они будут жить с Одиссеем в Америке. Они будут обитать где-нибудь в квартале, говорящем на идише, в большом двухэтажном доме с подстриженной лужайкой перед фасадом, похожей на зелёный ковролин с густым ворсом... И все её нынешние подруги будут ей завидовать, что она так ловко устроила судьбу. Надо вот только теперь самой как-то позаботиться о том, чтобы найти потерянные связи со своими бывшими соотечественниками... Теперь же эта мечта становилась ещё более осмысленной: в Америке должны навсегда избавить её от свалившегося на неё несчастья, сулящего видеть только несуетный мир в размытых очертаниях.

Сестра ночами теперь гуляла до рассвета... Дора была ей благодарна, что та, несмотря на свою свободу от занятий, никуда не уехала отдыхать. Да и какой отдых, когда надо поступать ещё в институт?

Мама по-прежнему лежала, как бревно. Раз в месяц вместе с Одиссеем и соседом они стали перетаскивать маму в ванную. Маму намывивали детским шампунем на поролоновой губке и поливали из душа. Мама блаженно улыбалась, невразумительно мычала и строила звериные гримасы, мотая головой, когда душ прекращался. Как только

на неё направляли снова струю воды, она начинала улыбаться и причмокивать, как младенец. Когда её вытаскивали из ванной, она, как могла, сопротивлялась всей своей тушей. На дачу в этот год поехать Дора не смогла, не решилась тащить с собой маму, для «скорой помощи» туда дороги нет.

Одиссей уехал на дачу один. Он был очень оживлён и насвистывал мелодию «Пусть бегут неуклюже...» Два раза в неделю он звонил и справлялся, как у них дела. На остальное время отключал мобильник и говорил, что у него от сырости садится батарея. Да и вообще – он в саду и на реке и носить мобильник ему не с руки.

Однажды вечером в открытое окно в её комнате, которое старались летом не закрывать вообще, чтобы выветрить запах, пропитавший стены, залетела бабочка-траурница. Она подлетела к маминому лицу и села прямо на лоб, сложив свои крылья из бархата цвета антрацита, словно примерная девочка-первоклашка, складывающая перед собой на парте руки, одетые в чёрные нарукавники.

Дора долго не решалась подойти и снять эту бабочку. Бабочка просидела два часа, а потом несколько раз отразившись от стен, улетела.

Привыкаешь ко всему. Человек удивительное существо! Дора снова ходила по кафе и в ночные клубы. Если она очень сильно задерживалась там, то памперсы матери набухали так, что не впитываемую ими жидкость собирала простынка и одеяло, которое мама старалась записать под себя.

47

Наконец-то Одиссей снова был один... Он уже забыл, какое это счастье быть наедине с самим собой. Он вёл какую-то полурастительную жизнь. До полудня спал. Потом завтракал. Потом шёл на реку... На реке часами валялся под развесистым тополем и читал... Или просто смотрел, как летят белые облака, меняя очертанья, перетекая в перистые с лёгких кучевых, предвещая тоску и осенний дождь.

Приезжала Даша с мужем. Они ездили купаться на катере, весело перерезающем зелёные горки волн от теплохода и баламутящем рыжую, словно ржавчина, глину на мелководье, и ловили рыбу, забрасывая спиннинг в быстро бегущую воду. Вдруг какая-нибудь дурёха примет блесну за маленькую золотую рыбку, которую можно проглотить, не догадываясь о том, что через минуту крючок разорвёт ей губу, и она окажется на берегу, чтобы высыхать и глотать окровавленным ртом обжигающий нутро воздух? Ещё ему очень нравилось просто сидеть на носу лодки, слушая зябкий голос уклучин, послушных в руках зятя, и смотреть, как мимо под водой проплывают рыбы, раздвигая колышущиеся причудливые нити водорослей. Он подумал однажды, что вот так и наша внутренняя, скрытая от чужих глаз толщей бегущей воды жизнь иногда становится полупрозрачной и бережит сердце смутными догадками о том, что ты совсем не знаешь ни себя, ни близких тебе людей...

«Сара поступила в институт и уехала с компанией в поход», – сообщала ему Дора.

«Мама задыхается от дыма горящих лесов, и ей постоянно приходится давать кислородную подушку. Я в выходные хожу на пляж. Дома читаю с лупой. Приехал бы, что ли, хоть на пару дней... И меня на природу вывез...»

Одиссей старательно не слышал последнее. В город ему впервые не хотелось.

Год был яблочным. Яблоки – красные, жёлтые, зелёные, в коричневой гнили, в серых пупырышках и червоточинах – падали на землю и бились. Чего-то им не хватало... Кожура, стягивающая сочное переспевшее тело, трескалась; в трещины устремлялись рыжие муравьи, и на траву вытекал сок, пропитывающий воздух сада бродающим вином. Внутреннего покоя не было.

В августе началась череда ливней, хотя казалось, июльские грозы должны были уже отгреметь... Несобранные яблоки подхватил поток мутного селя, внезапно обрушившегося с горы с грохотом гигантского водопада. Спелые растрескавшиеся яблоки, истекающие сладким соком, уносились мутным потоком бурой воды, переме-

шанной с глиной и разноцветными камнями, вниз под гору... Одиссей стоял на веранде, сквозь ветхую крышу которой падали на пол крупные капли пресной воды. Капли со звоном разбивались о подставленные миски и тазики на веера себе подобных мелких брызг. Одиссей смотрел на весёлые струйки, сбегаящие вниз с листов шифера, положенного на крышу, и, ёжась от сырости, думал, что вот так в одночасье стихия и мутный поток подхватывают и людей...

48

Тоска всегда подступает внезапно. Дора давно не чувствовала себя так одиноко. Сара совсем отбилась от рук и пропадала до рассвета. Она ничего не могла с ней поделать. Ладно хоть по дому всё же помогает и в магазин ходит. Одиссей делал дежурные звонки, но голосом врача на обходе перед праздниками: так и чувствовался страх, что его временный покой кончится от какой-нибудь её новости; он торопился нажать на кнопку, пока Дора не сказала ему что-то такое, что сорвёт его из его уединенья. Она и не срывала. Она вспомнила мамины слова, что мужчину надо всегда держать на длинном поводке. Только почему-то ей казалось, что поводок стал резиновый: всё растягивается, растягивается, но как-то необратимо, будто мелкие вшитые в него резиночки просто рвутся. Впрочем, он ведь там не всё время один. В конце концов, надо же и ему пообщаться с дочерью.

Её всегда пугала эта девочка. Ей казалось, что она как-то старше и умнее её возраста, даже иногда взрослее её, Доры. Так она смотрела иногда на неё: сверху вниз, будто знала что-то такое, чего не знала и не могла понять Дора... Так смотрят на человека, который не заслуживает твоего внимания, ну, не интересен тебе человек, и всё... Как стена в чужом подъезде.

А ей вот Дашка интересна, интересна тем, что она не такая, как она, Дора, или Сара. В ней есть какое-то внутреннее свечение, не огонь, нет, а такое, как у современных

фонариков для освещения садов: они накапливают в себе солнечный свет и потом светятся... Как светлячки...

Фотографии что ли её посмотреть, те, что она на страницах журнала постоянно выкладывает, и стихи её почитать? Может быть, так лучше поймёшь, что так удерживает около неё Одиссея помимо того, что она его дочь? Дора знает, что это – не просто физическое родство, это какая-то тяга двух родственных душ...

Она зашла на Дашину страницу и задохнулась, как от ожога... Страницы были полны фотографий Петра.

«А может, злопамятна и зла?», – пронеслось у неё в голове.

На фотографиях был театр теней и пантомимы. Чёрные, распластанные по стене тени, в которых вся жизнь: полёт, боль, отчаяние, любовь, ненависть... Тень человека, пришпиленная к стене... Тень человека, превратившегося в птицу... Взмах руки, как взмах крыла...

49

Это был мужчина, который оставил в Дориной жизни свою тень, что не ушла на дно колодца памяти вместе с ним, а так и осталась распятой, как шкура зверя на стене, – напоминанием о былой её охоте. К этой шкуре можно было прикоснуться руками, закопав пальцы в её мех, и ласково перебирать её жёсткие седеющие волоски.

Впервые она увидела его у себя дома. Это был мамин знакомый, который жил тогда не в Москве, а в её родной Сибири. Он не только играл в театре теней и пантомимы, но и писал пьесы и складные рассказы, впрочем, мало трогавшие её душу: уж очень в них было много «чернухи». Это был жанр не для её души. В душе она была романтической девочкой, мечтающей о принце на большом чёрном «Мерседесе»... «Мерседеса» у Петра не было, но были старенькие «Жигули».

«А, обладательница приятного голоса», – сказал принц (она довольно часто подзывала маму к телефону, когда он звонил маме).

Он был старше её лет на двадцать, и она не думала о нём как о своём мужчине. К тому же, он был женат. Это уже после него она кинулась с головой в омут с Одиссеем... Но не бегство ли это тогда было от себя и от своей боли? Это был мамин коллега, с которым та по часу ворковала изменяющимся голосом по телефону.

Он бы так и остался этим коллегой, если бы не мамина опрометчивость. Мама привезла его к ним на дачу.

То лето было гнилое. Два месяца сеял мелкий осенний дождь без какого-либо просвета в сером ватине облаков. Но обычной тоски, бывающей в такое лето, не было. Пётр вдруг, точно двуликий Янус, в один миг переокрасился из чёрной птицы, распластанной по стене в высоком полёте коршуна, высматривающего добычу, в неугомонного бессловесного актёра. По молчаливому сговору у них началась странная игра. Он играл весь спектр человеческих эмоций. Она должна была их понимать и угадывать...

И она угадывала... Он был драматический актёр, не комик, и старался играть драмы и трагедии... Этим он её и покорила... Она думала о встрече своей судьбы, а он нависал над ней своей чёрной тенью, похожей на грозовую тучу, заслоняющую солнце... Дора пугалась, думая, что от такой тени не укрыться.

Она уже постоянно думала о нём. Нет, это была ещё не любовь, но вспыхнувшая искра интереса, попавшая в небрежно собранный сушняк, должна была сделать своё дело...

Она и сделала... Но не в то лето... Позднее... Потом, когда она стала приезжать в Москву на сессии, а Пётр уехал из Сибири и создал в Москве свой маленький театр. Театр теней, которые плясали теперь языками пламени по её сердцу с Дашиной страницы на экране монитора. Почему жизнь устроена так дьявольски искусно, что рано или поздно отбрасывает нас к нашему прошлому, которое мы не хотим вспоминать? Зачем выгребают залетевшим ветром тщательно замеченные в кусты прошлогодние листья, разбрасывает их по опустевшему саду, бросает их в костёр? Эти листья не дадут тепла, как бы ни было их много... Они полыхнут, но сгорят не сразу, а будут распространять

удушливый запах прелого дыма, от которого слезятся глаза и горло перекручивает спазмом. Хотя это хорошо, что дым такой низкий и непрозрачный... Пусть окружающие думают, что голос перехвачен от дыма...

А в то лето она смотрела спектакль театра теней и думала о том, что в нашей жизни и не нужен цвет совсем. Без цвета всё контрастнее... Всё становится резче и тоньше. Чувства острее, а сердце готово разорваться от собственной боли, хотя эта боль пока что ещё не твоя... Это просто боль, что умеет вызывать искусство, когда сердце сначала воробышком сжимается в комок в предчувствии, а потом начинает гулко стучать в груди, будто раскачавшийся поезд по рельсам...

В то лето было легко. Все были ещё вместе и жили большой семьёй на даче. Они ходили с Петром на берег Енисея и часами смотрели на его быстрое течение, против которого не поплывёшь – снесёт далеко вниз...

«Давай переплывём!» – сказал Пётр... И они поплыли... Это было захватывающе: плыть на середине широкой реки, зная, что дно далеко... Вода в Енисее не морская, она не выталкивает, а утягивает... Но Доре совсем не было страшно, она как бы просто растворилась в этой стихии, зная, что ей ни за что не выйти напротив на противоположном берегу – даже, если взять курс наискось и плыть против течения.

Когда они всё-таки доплыли до того берега, снесённые потоком воды километров на пять вниз по реке, то в изнеможении рухнули на песок и долго лежали и смотрели в синеву неба, которое ей потом долго чудилось в голубом экране монитора. Над головой проплывали кучевые облака, меняющие свой абрис и напоминающие ей о том, что вот так и пролетит её жизнь, ничего не оставив от этого летнего случайного дня с человеком, которому никогда не стать её судьбой...

Назад они вернулись с рыбаками. Это плавание стало для них их первой маленькой тайной, о которой дома нельзя было рассказать...

Потом она стояла на крыльце, красивая мама обнимала её за плечи и махала Петру узкой ладошкой... Ей каза-

лось, что взмах маминой руки как полёт крыла той самой птицы из зарождающегося театра теней, что она увидела на сцене...

Этот прощальный взгляд, когда глаза в глаза, когда их уже совсем не отводишь: «Всё будет хорошо, мы ещё встретимся. Из жизни друг друга исчезнуть уже невозможно». Маленькая общая тайна становилась началом общего, которому теперь суждено было надуваться, словно воздушный шарик на праздничной демонстрации.

Они встретились через час после того, как Пётр покинул их сад, уезжая на недели... Он шёл по просёлочной дороге, а она почему-то привела его не к шоссе, а опять к их даче. Как это получилось, он не понял, но все решили, что это предсказание... Вслух никто тогда ничего не сказал. Все посмеялись – и только... Но потом ночью каждый, лёжа в сбившейся постели и разглядывая полосу лунного света, прочерченную на потолке, словно загадочная дорога, ведущая в никуда, думал, что это предупреждение...

50

А потом была Москва. Она звонила Петру с вокзала, тихо улыбаясь предстоящей встрече. Всё в её жизни было новое. Новый город, новые встречи, новая любовь, у которой не было будущего. Они гуляли по шумному вечернему городу, растворяясь среди завораживающих огней, чувствуя себя крылатыми кленовыми семенами, которые ветер вдруг подхватил и понёс в неизвестном им направлении... Иногда ходили в театры, сидели в кафе, а чаще Пётр просто приезжал к ней в облупленную общагу, которой не коснулась перестройка, с пакетом фруктов и тортом.

Когда они гуляли по городу, она думала: «Сколько людей вокруг... И все куда-то бегут, словно песчинки, гонимые ветрами в пустыне... Хотя Москва – это не пустыня, это праздник жизни... И она ездила в Москву, как на праздник, но чувствовала себя в её толпе, как в пустыне. Только тогда проходило поселившееся острое чувство сиротства –

такое, что хотелось назад, к маме, бабушке, – только тогда, когда появлялся Он.

Она перестала воспринимать Петра в чёрно-белом цвете. Он стал человеком, внёсшим краски в её жизнь... Краски были нанесены неумелым художником: броско, размашисто, как маска мима, за которой спрятано его плачущее лицо...

Она знала, что у него своя жизнь, в которую ей нет никакого входа... Она знала, что она у Петра не одна. Он просиживал вечера в кафе, где собирались потусоваться молодые писатели, артисты, режиссёры. Она была в курсе его семейных дел, хотя он давно был бы рад куда-нибудь сбегать – и сбегал при малейшей возможности... Она часто сиротливо стояла в метро за его спиной, а он с кем-то весело ворковал по телефону изменившимся голосом. Она смотрела на его прямую спину и чувствовала, что её втягивает в себя, как в воронку, поток людей, и стремительное течение толпы грозит утащить от него, унеся с собой. Однажды он, не поворачиваясь, лениво, хозяйским жестом, выдернул её из толпы и притянул одной рукой за рукав к себе... Но ей всё равно казалось, что её поглощает толпа и относит от него в сторону. Она стояла, всматриваясь в протекающие мимо них усталые стёртые лица, ощущая себя гадким утёнком, которому никогда не превратиться в прекрасного взрослого, и думала о том, что и в толпе человек может ощущать себя точно на пепелище.

Это был первый её мужчина, к которому она совсем не собиралась относиться серьёзно, но жизнь взяла и перепутала всё, как ворвавшийся в окно ветер заготовленные к экзамену шпаргалки...

Она постоянно думала, что вот так незаметно может измениться наша жизнь. Только что человек был чужим, а вдруг стал своим, и ты уже не можешь без него жить, только существовать... Как гриб под сосной. Ещё вчера его тут не было, как она его ни искала... а утром он уже стоит, притягивая её руку к своей бархатной шляпке.

Как-то она стояла с ним на эскалаторе на одном из длиннейших спусков метро... Он обнимал её за плечи, а она думала, что эскалатор бежит вниз, как и наша жизнь. Сей-

час он вынесет их на ровную поверхность, и толпа оторвёт их друга от друга...

Оторвала не толпа, оторвала мама.

Мама знала, что они встречаются... Они постоянно звонили ей из Москвы, гуляя по ночному городу... Мама сама частенько просила Петра встретить Дору с поезда и проводить на вокзал, он по-прежнему бывал у них дома, когда приезжал в Сибирь, и, пожалуй, мама иногда поощряла его ухаживания за Дорой и даже, как казалось иногда Доре, готова была иногда принять его как зятя. Пётр был человек её круга, её веры, её мировосприятия, полёта на её высоте, с ним они говорили на одном языке, хотя и летали по разным маршрутам... Это был человек, который относился к маме с придыханием...

Когда и откуда возникла ревность, как гроза, собравшаяся среди стаи погожих кучевых облаков, лениво плывущих среди безмятежного праздного лета, в то время, когда так сладко жевать выдернутую из тугой трубки листа колосающую травинку? Но она бесцеремонно ворвалась в их жизнь, начала хлопать дверьми, и от этих хлопков с грохотом рушившегося дома летела из косяков штукатурка... Она ворвалась с визгливым криком и надрывным плачем; неприличной руганью; разбитыми об пол новыми, расписанными изящными вензелями чашками и тарелками; обрезанными телефонными проводами, разорванными халатами и синяками от щипков... После этих вспышек всем становилось стыдно и казалось, что это какой-то бред... Они нежно разговаривали друг с другом, но скоро всё возвращалось... Ревность прочно обосновалась в их доме, иногда пряталась тенью по углам и прижималась к плинтусам. Но в самый неподходящий момент ревность срывалась с цепи и выбегала из своей конуры, готовая разорвать всех на части... Нет, Пётр не обнимал и не целовал её у них дома, он просто перестал приходить к маме, а стал приходить к ней. Если раньше она серой мышью проскальзывала в свою комнату, стараясь не мешать разговорам взрослых, то теперь она прочно обосновалась в кресле и осмеливалась вставлять свои реплики в разговор... Теперь всё чаще уже мама демонстративно уходила

в свою комнату или гремела на кухне посудой, будто сражалась на мечах...

Однажды она сказала странную фразу, смысл которой Доре до конца не ясен и сейчас: «Ты отняла у меня всё!»

Дора старалась не провоцировать этих странных больных вспышек, но из этого не получалось ничего... Она задыхалась в доме, который был ей родным... Она хотела жить, и своей жизнью, а не чужой! И тогда Дора ушла из дома, сняв маленькую квартиру на окраине города...

Там она почувствовала себя почти счастливой. Никто не стоял у неё за спиной и не сверлил ей затылок, и не хотелось теперь вжаться в кресло... Она перестала чувствовать себя гадким утёнком даже тогда, когда пыталась расчесать перекрученную проволоку своих волос... Там она могла жить, как хотела... Любить, кого хотела и не хотела, говорить по телефону таким же вкрадчивым голосом, как хорошо умела делать её мама, звать в гости друзей и включать на полную катушку музыку, от которой у мамы болела голова.

В зимние выходные они почти не встречались. Пётр катался с крутых склонов на лыжах и бегал где-то на окраинах Москвы по незамутнённому выхлопным дымом снегу. Когда он сказал, что поедет кататься на лыжах в Пущино, так как этот регион ещё им не освоен, она почему-то спокойно подумала, что там живёт его ученица, папа которой мэр. Она даже была уверена в том, что едет он только для того, чтобы столкнуться нос к носу на встречной лыжне с этой девицей, о которой уже была слышана от него как о довольно легкомысленной особе. Значит, ему снова нужна помощь в аренде для его маленькой студии и деньги на раскрутку очередной постановки. Нет, она не ревновала нисколько. Она просто горестно констатировала факт, что с этим поделаться она тоже ничего не сможет. Стоит ли бороться с ветряными мельницами?

Через полгода мама сказала ей, что Пётр развёлся и вынужден снова жениться по «залёту» на семнадцатилетней дочке одного из довольно крупных московских чиновников...

Дора устраивала кран на кухне, который по ночам нудно стучал по жести звуком, разламывающим душу, и капли падали из её глаз, издавая о раковину тот же изматывающий звук. Но его она не слышала...

А ещё через полгода она сорвалась на праздники в чужой город, ставший ей родным...

51

Началась какая-то новая безумная полоса её жизни. Теперь Дора снова спешила жить и успеть от жизни взять как можно больше радости и праздника. Иногда она ходила в кино, хотя сейчас и стало возможным всё посмотреть на дисках... Но большой экран есть большой экран... На нём всё веселее и более зримо. Но обычно, наскоро сменив памперсы и накормив мать, она просто шла, как в недалёком её прошлом, в какую-нибудь кафешку или ресторанчик, брала стакан вина с какой-нибудь закуской, закуривала сигарету, и ждала, что к ней кто-то подсядет или пригласит её танцевать. И снова в её жизни были огни... Шампанское пузырилось переливающимися и взрывающимися в такт музыке пузырьками, янтарное вино солнечным теплом растекалось по ногам, уставшим за день от беготни по лестницам, красное вино смешивалось с застоявшейся кровью, хотелось любви и приключений... Снова в полутьме зала перекатывались разноцветные лучи, похожие на те, что она иногда видела, когда тяжёлая пелена закрывала ей глаза, но свет пытался прорваться в глубину её рваных снов, и она просыпалась в эйфории, что всё в её жизни, как прежде. Она снова скакала в непритязательном танце, совсем не заботясь о том, что её глазам, возможно, совсем и не полезны эти прыжки...

Это было так упоительно: сидеть, положив ногу на ногу, ловя внимательные взгляды мужчин. Она хорошо знала, что эти взгляды ненадолго, её судьба – Одиссей, но это так чудесно – чувствовать на себе жадные мускулистые руки, совсем не похожие на сучья сломанного грозой дерева,

крепко прижимающие её в неуклюжем танце... Так и сам танец ведь и не танец был вовсе, а просто чужие, краденые и торопливые объятия, которые как догадка о том, что где-то есть и другая жизнь, полная взрывающихся разноцветными огнями петард, следы от них оседают в памяти кружочками конфетти, а кружочки эти потом никак не вымести из памяти до конца, словно цветные бумажки – из щелей разошедшегося паркета...

52

Вот и снова началась осень. Одиссею впервые так не хотелось возвращаться в город. Но всё проходит. И лето тоже прошло.

Через день после своего возвращения, придя с работы, он услышал истеричную перебранку за своей дверью. Его женщины снова ругались. Он развернулся около двери и быстро побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

Выйдя на улицу, он глотнул осеннего воздуха, поднял воротник куртки, посмотрел на серое небо, похожее на стаю голубей, кормящихся насыпанными на асфальте крошками, поёжился и набрал номер телефона Светланы. Гулять часами сквозь висящую в воздухе изморось не хотелось. Изморось проникала в лёгкие, перехватывала дыхание и сжимала грудь. Он не задыхался, но горло перекручивало спазмом, и хотелось уткнуться, зарыться, как в детстве, в тёплые женские мамины колени и чтобы его обязательно гладили по голове. А потом поили горячим чаем с какой-нибудь успокаивающей мятой, запах которой напоминал о дачных просторах, а не о пропахшей мочой квартире. И он отогревался весь – до кончиков заколеченных пальцев и оледеневшего сердца...

...Одиссей вернулся домой уже поздно вечером, прислушался – за дверью было тихо. Осторожно открыл замок, стараясь не звякать ключами, снял ботинки и в одних носках прошёл на цыпочках в свою комнату. Говорить с домашними не хотелось.

Через пять минут в комнату зашла Дора. Глаза её были воспалены, белки оплетены красной паутинкой прожилок, нос распух и напоминал недозревшую помидорину-сливу.

– Гуляешь? Я звонила тебе. Зачем ты отключил мобильник? Сара беременна. Стоило поступать в институт! Чёртова девка! Дошталась!

...Саре определили двойню. Дора осторожно выпрашивала зарёванную испуганную Сару, кто же отец ребёнка: у сестрицы было много друзей, и Дора терялась в догадках, кто же из них... Оказалось, что это её бывший одноклассник из вполне приличной семьи. Отец его был доктором наук и работал до недавнего времени заведующим лабораторией одного академического института, но год назад умер. Мама тащила сына и пыталась заново устроить свою жизнь. Первое получалось, второе – не очень... Одноклассник поступил в МГУ и дела ему до того, что он скоро станет отцом, не было никакого... Дора смогла выудить у Сары, что они разругались перед его поездкой в Москву, он поменял номер сотового и видеть Сару не хочет.

Интеллигентная мама одноклассника выслушала Дору в прихожей, пожала плечами и сказала:

– Мало ли что напридумывала Ваша девочка. Я её видела: девочка очень импульсивная, ходит по ночным барам и клубам, а мой сын очень домашний. Ему надо учиться и жениться рано. Она ему не пара, и он её не любит. Не портите детям жизнь: их брак будет обречён. Они разные совсем. Даже, если и было между ними что-то – то это только любопытство, а не любовь. Из любопытства детей не заводят. И потом я совсем не уверена, что это он – отец... Сейчас другие времена, чем раньше, и девочки, вступающие во взрослую жизнь, сами должны думать и отвечать за свои поступки. Вы сами виноваты в том, что Ваша сестра столь легкомысленна. На принуждении семью не построишь. Я не буду говорить сыну о долге и чести... Ему выучиться надо сначала.

Про себя мама со всё нарастающей тревогой подумала, что теряет надежды на учёного сына и возможность иметь

свою личную жизнь. Все её иллюзии, что как-нибудь всё в её жизни ещё образуется, рухнули, как игрушечный домик. Ей совершенно не нравилась эта хваткая легкомысленная еврейская девочка, и она отдавала себе отчёт в том, что одна она этих детей не потянет, да и не кончится сей скоропалительный брак ничем хорошим... Разбегутся... Её пугало и то, что у девицы не было жилья в этом городе. А старшая-то, видать, хороша, стерва: сумела не только устроиться сама на чужую жилплощадь, но и сестру сумела поселить и, вроде, даже мать. Воистину, влюблённые мужики не ведают, что творят... Теперь вот придётся дальше жить с ощущением, что ты очень виновата в том, что твой внук будет безотцовщиной... Зачем надо рожать? На смирении счастья не построишь... Рано или поздно свежая трава раздвинет прошлогодние листья...

Аборт делать было уже поздно. Сара ходила притихшая, похожая на тень... Днём она ещё бывала на занятиях в институте, а по ночам скулила в подушку. Дора слышала этот собачий скулёж, но настолько сама за день уставала, что сил встать, чтобы погладить сестрёнку, у неё не было.

Ветви снова начали терять листья и становились для тусклого света фонаря всё прозрачней. Рисунок на стене комнаты снова приобретал чёткие и безжалостные очертания, будто узор был сделан углем на фасадной стене дома. Иногда она начинала думать, что, возможно, это судьба... Ей нельзя завести своего ребёнка, а дети сестры свяжут их с Одиссеем окончательно. Впрочем, стрелка на её часах давно отклонилась, и время начало свой странный ход, похожий на рывки поезда на перегонах станции.

Сестра чувствовала себя плохо. Токсикозы замучили её, после каждого куса еды её тошнило, и она, давась, бежала в туалет... Вечерами жёлто-зелёная, словно трава, вздумавшая расти в сыром тёмном подвале, она лежала на диване и молча изучала узор из трещин на облупляющейся побелке потолка, прочерченный, словно детской рукой.

С мамой Доре теперь надо было снова справляться одной.

Одиссей, казалось, весь ушёл в работу, стал мрачен, неразговорчив, часами просиживал за компьютером, пытаясь заработать дополнительные деньги, а при малейшей возможности сбегал в подвернувшуюся командировку. Доре казалось, что он специально их выискивает...

Доре было даже уже не до Одиссея. Она так уставала, что скучать без него ей было теперь некогда. Началось какое-то отупение её чувств. Она постоянно срывалась на домашних. Сара с криком, перемешанным с плачем, убежала к себе в комнату и закрывалась на щеколду, чтобы Дора не пыталась туда войти... Дора чувствовала потом свою вину за то, что не даёт и так чуть живой сестре проходу и покоя. Но ничего не могла с собой поделать. Злоба каждый раз незаметно подкрадывалась к ней и накрывала с головой своим гигантским сачком, в котором Дора билась в истерике, словно какая-нибудь потерявшая ориентировку бабочка. С крыльев осыпалась пыльца. Скоро бабочка и взлететь не сможет.

Сара чувствовала себя всё хуже и хуже...

53

Порой Одиссей ловил себя на мысли, что именно несчастье сделало невозможным их расставание с Дорой. Всё начиналось так легко и непринуждённо, с ощущением, что всё это не навсегда, что в любой момент всё можно будет опять разорвать, ни о чём не жалея... Идея безмятежного расставания парила в воздухе, залетев в его расхристаный дом в их первый общий день, не улетая ни на миг, лишь иногда только загадочно пряталась где-то среди их вечного бедлама. Жениться он не хотел, о чём прямо сказал Доре ещё в период их романтических встреч. Он знал, что в его жизни это ещё не главная женщина, это просто выход из затянувшегося одиночества... Это просто объект, которому было предназначено заполнить образовавшуюся пустоту в его жизни.

Его развод не был для него лёгким. Да, он бежал, он смылся, но воспоминания и чувство вины, в основном,

перед дочерью, постоянно давили и не давали дышать. Почему он женился на её матери? Была ли это любовь? Или просто молодое томление тел, помноженное на комплекс руки, где пальцы напоминают сухие щепки, руки, которую всё время хотелось спрятать под стол подальше от глаз прекрасных женщин?

Его жена была очень непохожая на толпу. Поэтому она, вероятно, и задержала на себе его взгляд, взгляд умного юноши, работающего в женском коллективе, где одна лучше и краше другой. Но из толпы всегда трудно выделить одно, да ещё так, чтобы толпа этого не заметила. Его будущая жена была экстравагантна, но обладала какой-то настолько чудовищной безвкусицей, что магнитом притягивала к себе глаза всех прохожих. Притянула и его взгляд. Но как она смогла вызвать к себе долгий интерес интеллигентного мальчика, подающего надежды, – интерес такой, что тот бросил кафедру и полетел за ней в провинциальный город работать рядовым школьным учителем? Ему сейчас смешно, что такое могло произойти. Но произошло же... Людям свойственно совершать иногда непредсказуемые поступки.

Не раз ему хотелось потом всё повернуть назад, но он уже по уши завяз в колее, и двигаться можно было только изо всех сил давя на газ и сжимая сцепление, в одном направлении... Но в жизни всё кончается. И половодье чувств, и затянувшиеся, похожие на мелкую рыбацкую сетку дожди, – и тогда наступает сушь. Колея высыхает, покрывается страшными, будто глубокие морщины, трещинами, и только мутная вода на дне пересохшей дороги напоминает о былом увязании. Всё – путь свободен. Теперь можно ехать и вправо, и влево... Налево пойдёшь – коня потеряешь, направо – головы не сносить, а прямо – ноги больше не идут, подгибаются...

И вот снова колея... И все дороги развезло и его постоянно заносит в сторону, ту, где начинается крутой глинистый склон к полноводной реке, медленно и равнодушно текущей мимо...

Мобильник заиграл «Полёт Валькирий»... Звонила Даша.

– Ты только не волнуйся, – сказала дочь. – Я взяла документы и ушла из института. Главное, вовремя уйти из искусства. У меня всё хорошо, у меня каждый день замечательный, каждый день как подарок. Я буду перепоступать на бюджетное отделение.

54

Даша была его иконой, его любовью, которую никакие другие женщины заслонить не могли. Это благодаря ей они прожили с женой целых двенадцать лет, разговаривая на совершенно разных языках. Он никак не мог собраться с духом всё оборвать, понимая, что видеть Дашу придётся чрезвычайно редко, урывками, комкая встречи и расставания.

Пять решительных лет взросления пролетели без него. Они почти не виделись. Лишь два раза приезжал он в город, в который сорвался почти четверть века назад, следуя неизвестно откуда взявшейся страсти.

Почему мы выбираем из массы возможного именно этого человека? Откуда берётся любовь, налетающая неотвратимо, как грозовая туча? Смотришь на горизонт: она далеко совсем. Думаешь: пронесёт стороной, не заденет и краем, ан нет, её вдруг гонит каким-то неуправляемым и невидимым потоком прямо на тебя. И глядишь: ты уже мокр до нитки, ничего не видишь, кроме этих тугих струй, сбегających с небес и стоящих стеной водопада, заслоняющего от тебя всю другую жизнь. И слышишь оглушающий рёв низвергающейся воды, которая не успевает уходить в песок, а устремляется по склону, чтобы слиться с полноводной рекой и утратить своё кипение...

Но гроза скоро кончается. И вот ты уже зябко ежишься, хотя ещё так недавно задыхался от жары. А теперь дышится легко и свободно. Только почему-то в охрипшем горле встаёт непонятный ком, который силишься протолкнуть – и не можешь.

И ты снова куда-то бежишь, стараясь разогреть себя движением... Снова бежишь на поиски вечного и недости-

жимого состояния счастья, которое так быстро исчезает, словно след самолёта в синеве...

Они гуляли с Дашей в тот его приезд по её маленькому и плоскому, как ладонь, городку, где все говорят громко и никто никого не слышит, и ели мороженое. Она, захлёбываясь залиvistым смехом человека, у которого всё-всё впереди, рассказывала о своей замечательной жизни.

Его задело тогда, что она счастлива и без него. Нет, она его не вычеркнула из своего мира, искрящегося огнями ежедневного фейерверка, фейерверк был лишь прыгающим отражением фар проезжающих автомобилей и неоновых-аргоновых реклам в искривлённом зеркале. Просто её мир был так густо населён, что для Одиссея не было там ежедневного места. Он мог приходить туда в гости – и тогда его радушно встречали, выставляли лучшие угощения и старательно развлекали.

Его поразила тогда её уверенность в своём «прекрасном далёко». «Мы молоды и талантливы...» – написала она под одной из своих фотографий, на которой была со своим молодым и лёгким другом, вскоре канувшим в забвение. Их глаза были широко распахнуты, волосы трепал шальной ветер недюжинной силы, а по лицу бегали солнечные зайчики.

Он позавидовал ей тогда, вот этой её уверенности в том, что она будет танцевать по жизни счастливой, любимой, известной, перелетающей, как перламутровая бабочка с цветка на цветок в саду реализующихся возможностей.

Сам он тогда, хотя и наслаждался свободой и независимостью, всё чаще начинал ощущать груз возраста и одиночества. Даже за далёким океаном страны, увидеть которую он мечтал всю свою жизнь, стал чувствовать он этот холод осенней дачи, когда и словом перемолвиться не с кем...

Анализируя холодным рассудком это своё тогдашнее состояние, он спрашивал себя уже не раз: «Только ли физическая страсть и головокружение от молодого тела толкнули его к Доре? Не было ли это новой неуклюжей попыткой побега из будущего, где пустынно и безрадостно, а шорох опавших листьев под кошачьими лапами прини-

мается за человечьи шаги, пугающие своей неожиданностью?»

Теперь они стали видеться с дочерью не так уж редко. До Москвы было по нынешним меркам рукой подать.

И снова, как в Дашином детстве, когда он был ещё счастлив с её матерью, они бродили по городу, где все говорят громко и никто никого не слышит, вдыхая слипшимися лёгкими расплавленный июльский воздух и разговаривая обо всём и ни о чём...

Мог ли он рассказать дочери, что у него на душе такой же разор и бедлам, какой поселился в их доме? Впрочем, в доме всегда был бардак, но этот бардак ему как-то не мешал: он был неотъемлемой частью его бытия, над которым он легко мог подниматься, точно в подвесной кабинке канатной дороги. Он плыл далеко над землёй, теряя за низкими облаками её очертания... И рядом был совсем другой пейзаж, полный гармонии и законченности.

У дочери тоже был кавардак, но она была счастлива. В её маленькой общежитской комнатухе, где она обитала вместе со своим молодым супругом, Одиссею приходилось переступать через стопки книг и журналов, лежащих на полу. Все свободные поверхности были завалены разломатившимися тетрадками; сложенными в стопки книгами; листками исписанной бумаги, лежащими раскрытым веером; глянцевыми фотографиями и журналами; дисками; предметами женского туалета и слесарными инструментами. Но эти двое жили в своём крутящемся, как скоростная карусель, мире; в нём царила такая гармония, что не почувствовать лёгкую печаль от невозможности вернуться в своё утраченное «далёко», где сердце билось в один такт с чужим, было невозможно...

Он подивился тому, что его дочь готова была пожертвовать годом учёбы, лишь бы стать студентом-бюджетником, не нуждающимся в родительской субсидии. Вспоминая себя в её возрасте, он подумал о том, что, хотя в годы его юности образование было бесплатным и котировались лишь знания, ему и в голову не могло прийти, чтобы перейти, скажем, на вечернее или заочное отделение. А его девочка думала о том, как облегчить ему тяжесть влива-

ний в карман институтской новой профессуры. Другое поколение! И профессура другая, совсем не как во времена его молодости!.. А он, хоть и бороздит ежедневно часами океан Интернета, существо вымирающее, и все его философские, нравственные конструкции покосились и, того гляди, рухнут от постоянно налетающего ветра...

55

Человек удивительное существо. Он привыкает ко всему. Дора будто перестала жить своими несчастьями. Она загрузила на все свои сайты фотографию младшей сестрицы вместо своей и взахлёб общалась с её ровесниками. «Что она хочет этим доказать?» – думал Одиссей. Даже на Дашиных страницах он нигде не встречал такого трёпа, какой он находил у Доры. У Даши в её журнале были фотографии – очень художественные, профессиональные – смотришь на них и удивляешься, что их делала совсем юная женщина, такая в них непроглядная глубина, за которой можно угадать не одно подводное течение... У Доры был глупейший трёп про пиво, хомячков, мужиков и балдёж. Было странно, что его подруга, которая силою обстоятельств, казалось бы, должна была шагнуть далёко за свой уже не очень-то юный возраст, словно утопающий за соломинку, хваталась за все эти мыльные пузыри внешней яркой жизни, полной новых иномарок; вырастающих, как грибы, кафешек и ресторанчиков; лоснящихся молодых людей, неизменным атрибутом которых была банка иностранного пива, к ней те поминутно прикладывались – и идя по городу, и разъезжая в своих подержанных иномарках... О чём она разговаривала со своими друзьями? Да ни о чём... О каких-то новых музыкальных ансамблях, названий которых он не знал; о «чуваках» и «крутых»; о прикидах, разговоры о них казались ему очень странными, так как Дора одеваться не умела (полинялые еле натягиваемые и застёгиваемые джинсы, из-под которых выползал голый живот, и какой-нибудь безвкусный свитерок, расшитый иностранными буквами китайским люрексом, фосфорес-

цирующим в ночи, словно морда собаки Баскервилей). Одиссея так раздражали эти её разговоры, полные счастливого щебетания и конского ржания.

Хлопнув дверь, он закрывался у себя в кабинете, погружившись в мерцающий экран монитора. Он редко выходил на сайты, не нужные ему по работе, но общение по службе давно стало неотъемлемой частью его жизни, где кучка стареющих молодых людей создавала детский мир в картинках... Создание обучающих игрушек настолько поглотило его, что он просто давно не представлял себе другой жизни.

Его сердце начинало подпрыгивать теннисным мячиком в предвкушении очередного обучающего проекта. Он как бы видел тех детей с распахнутыми глазами, вперившимися в его сложные красочные конструкции, которые вдруг хоть на час начинали заменять им многочисленные «стрелялки» и «бродилки».

Ему больше не хотелось разговаривать «ни о чём». Раньше с ним такого не было. Теперь общение в Интернете стало заменять ему живую речь... С одной стороны, это была, конечно, самодостаточность, но, с другой, он всегда мог перемолвиться парой фраз с далёким, чужим или близким ему человеком даже на другом конце планеты.

Иногда он общался со своими одноклассниками. Запросто можно было перешагнуть через десятилетия, разделявшие бывших друзей, и начать разговор – будто расстались только вчера. Взять – и просто поведать о своих печалях, как случайному попутчику по купе.

Может быть, ему просто надо было выговориться, выплеснуть содержимое души, переполнявшее её, и поэтому он и втянулся в эту странную переписку со Светланой? Эта женщина не была похожа ни на его коллег, ни на его сокурсников. С ней хотелось разговаривать... Хотелось писать ей длинные умные письма, положить свой распалённый сверлящей болью висок на её мягкие колени – и чтобы его обязательно погладили по голове, как в детстве гладила мама.

Он не изменил Доре, но с усмешкой подумал, что, если сердце начинает радостно стучать в надежде получить послание от чужого человека, то это уже измена.

Жизнь человеческая слишком долга для одной любви... И всё чаще думал он о том, что было бы неплохо собрать чемодан и закатиться к этой совсем ещё чужой женщине. И никуда больше не уходить из комнаты в мягком оранжевом свете, который сочится из огромного шара абажура, похожего на раскалённое заходящее солнце, прикрытое лёгкой дымкой облаков. И неотрывно смотреть на этот абажур, как на западающее в море светило, отдаляя блаженную минуту, когда придётся встретиться с чёрными магнитами зрачков, отражающих этот солнечный шар... Он знал откуда-то, что из этого туннеля зрачков ему выбраться не суждено, но там, как в туннелях далёкой Скандинавии, живёт внутренний голубой свет, рассеивающий страх мчащегося по нему...

Дора всё чаще приходила поздно, и от неё пахло вином. Он с детства ненавидел этот запах, который иногда по праздникам приносил его отец.

Его вдруг стали пугать некоторые Дорины разговоры... Они как бы шли вразрез с его нравственными представлениями. Она, например, искренне считала, что девочки, живущие в соседней квартире, отданной хозяйкой внаём какой-то сутенёрской фирме под бордель, имеют такую же нужную и обычную профессию, как и множество людей, с утра до ночи вкалывающих на производстве, в лаборатории, в школе, в больнице. «Мне всё равно, чем человек занимается, лишь бы был человек. Не всё ли равно как зарабатывать?» Когда он слышал такое, он впадал в ступор и с горечью думал о том, что он просто был трамплином в Дориной жизни к какой-то другой, полной приключений и светящихся огней. Но так получилось, что прыжок оказался неудачен. И теперь «горнолыжница», случайно словившая хребёт, вынуждена быть привязана к одному месту, которое почему-то оказалось его домом.

Всё чаще хотелось ему разорвать этот круг, куда он сам себя заточил, ослеплённый огнями праздника и фейерверка, смешавшегося с шумной толпой, где все говорят громко и никто никого не слышит...

Он методично стал высылать свои предложения в международные обучающие проекты, в тайной надежде на то,

что ему опять отыграется какой-нибудь грант, как было уже однажды... Всё чаще снится ему белый огромный лайнер, несущий его над океаном...

Как-то раз Дора высказала своё желание начать бегать с ним труппой по улице. Это вызвало у него такое бешенство!.. Он не мог сказать ей «Нет!», но то, что эти часы его своеобразного уединения будут, несомненно, нарушены, что он не сможет больше бежать, летя по причудливым волнам своей памяти и своего воображения, вывело его из колеи... Он подумал о том, что этот бег был скорее бегом от себя, чем поддержкой своего стареющего тела в форме, полётом над суетой в самодельной гондоле, в которой можно было спокойно лежать на плотном дне корзинки так, что тебя никто не видит, и, отдыхая, наблюдать, как плывёшь сквозь рваные клочья облаков. Теперь у него отняли и эту возможность...

56

Почему он молчит? Он теперь всё время молчит. Неужели он не видит, что она нуждается в его обожании! Что она ещё молода и ей хочется праздника! А что впереди – вообще неизвестно... И Сара у неё на плечах, и этот ребёнок, которого та зачем-то решила рожать... Отговорить её было невозможно. Маленький хорёк со своим характером! И непонятно совсем: как они жить будут? Саре всё же надо получать образование... При всём том Доре ещё повезло! Как бы ещё сложилась её, Дорина жизнь, не встретить она Севу? Только он какой-то совсем чужой последнее время... И эти его дурацкие сцены ревности, когда он говорит, что ему вообще всё равно, с кем она шляется, но почему он должен кормить с ложечки её мать? Неужели он не понимает, что Дора ещё молодая совсем и ей хочется праздника!

Полумрак, цветомузыка играет на лицах, пузырьки поднимаются в бокалах вина, сигаретный дым струится красивыми кольцами, похожими на локоны, и к ней подсаживается шикарный мужчина с тремя золотыми печат-

ками на пальцах... А потом они сплетаются в тесном танце, и он жарко шепчет на ухо такое, что Одиссей не прошепчет никогда... Нет, ей не нужен этот мужчина... Но это же так интересно – чувствовать себя соблазнительной женщиной, приковывающей к себе взгляды... Она всегда хотела быть леди, но у неё не получалось никогда... Надо побольше лёгкости в жизни, как в танце. У неё ведь была эта лёгкость, только близкие цепляются за ноги и отяжеляют... Она так устала! Вчера вот целый вечер просидела в блаженстве, глядя футбол. И матч так себе... обычный, не то что чемпионат какой-то. Но это так кайфово валяться на диване, грызть солёные орешки, запивать их пивом и смотреть телевизор, никуда не торопясь! А Одиссей даже не присел с ней рядом, заперся в своей комнате... И что ей ещё предстоит, когда она станет тётей?

Может быть, Сарин мальчик ещё и женится на сестрёнке, когда увидит ребёночка... Это было бы хорошо. Тогда можно будет прописать сестру у него...

А вообще недурно им было бы перебраться куда-нибудь всем в Америку! Вот только мама...

Втайне от Одиссея она нашла далёкую американскую родственницу и родственницу поближе, в Израиле. Рассматривала фотографии, присланные ими по электронной почте, расспрашивала их о жизни и мечтала о том, что когда-нибудь, когда мама окажется в лучшем мире, Дора очутится в другой стране, где живут в доме, перед которым обязательно надо стричь лужайку!

Почему ей вдруг так захотелось оказаться там? Ведь её родители никогда не стремились туда. Да и Одиссей, который уже дважды там побывал, говорил, что у них другой менталитет и что у него было чувство, что он как в больнице: то же ощущение нереальности и мысль: «Когда же это всё кончится!» Но ведь потом это прошло, когда он своих друзей встретил. И русских евреев там очень много... Надо только капать Одиссею об этом на мозги, говорить о том, что он растрчивает свой талант здесь впустую, что бы он захотел туда...

А пока он говорит о том, что чужая страна всегда будет чужой, и дом у человека один. Он уже однажды жил в чу-

жом городе, а потом понял, что больше не может, что он там задыхается, и поэтому вернулся. Но она вот не задыхается и живёт тоже в чужом для неё городе, как в своём. Хотя и вспоминает иногда о Красноярске, и о северном посёлке своего детства вспоминает... О друзьях вспоминает, но ведь сейчас с друзьями и по Интернету общаться можно.

А дом и родина – это твои близкие. Близких своих она уже наполовину сюда перетащила...

А вчера Одиссей сказал, что его дом – это уже не его дом...

57

Дора приходила всё позже и позже... Она будто хотела нагуляться, прежде чем родится племянник. Сара тоже ушла к подруге. Теща тихо лежала в своей комнате, так тихо, что Одиссеей казалось, что она уже ТАМ... И снова Одиссей радовался тишине и возможности побыть почти одному.

Он позвонил Даше, и они целых полчаса болтали ни о чём. Это так здорово: говорить без свидетелей и даже – с родным ребёнком... Он никогда не думал, что его разговоры с дочерью могут вызывать какую-то ревность, однако он всё чаще слышал, как Дора начинала исступлённо звенеть на кухне кастрюлями, будто дралась на рыцарском турнире. Хлопала дверью так, что из расшатанного косяка опять с грохотом летела штукатурка, и с твякающим визгом передвигала по паркету стулья. Нет, она редко вмешивалась в его разговор, но он чувствовал себя как голый на ветру, выставленный на всеобщее обозрение любопытных глаз... Боялся сказать Даше лишнее нежное слово, всей кожей чувствуя летевшие от Доры невидимые искры, выводящие его из состояния равновесия... Иногда он даже уже хотел, чтобы эта искра попала в кучу сваленного мусора, – и гори всё синим пламенем! Но инстинкт самосохранения всегда удерживал его, и он опять, как испуганная птица, прятал голову под крыло... Всё-таки ему повезло с

дочерью! Вот кто почти не ревновал его! Даша жила какой-то совсем отдельной от него жизнью и, казалось, её мало задевало то, что в жизни отца существует женщина намного моложе её мамы, женщина, которая поглотила большую часть его жизни, которую он не собирался ни с кем разделять. Вышло всё так незаметно... Не хотел ни приручать никого, ни быть приручённым... Одного брака хватило с лихвою... Но как-то очнулся опутанный такими канатами, которые вдруг оказались сильнее печати в паспорте!..

Неужели наша совесть – это якорь, который удерживает нас от выхода в синее море, по которому хочется плыть и плыть, чтобы всё же заглянуть в то место, куда пропадает солнце?

Затем он набрал номер Светланы, удивляясь своему странному мальчишескому страху, когда робеешь так, что думаешь, что лучше бы на другом конце провода трубку не взяли. Но трубку сняли – и очень ему обрадовались. Он это понял каким-то своим внутренним слухом. Вроде бы ничего и не произошло особенного, а день снова заиграл всеми красками радуги после грозы...

После этого он сел работать и думал, что такого хорошего настроения у него не было давно.

Он даже не заметил, как за окном сгустились сумерки и стали светить уличные фонари, похожие на прибрежные маяки...

Потом очнулся, поглядел на часы и пошёл кормить тещу. Тещу приходилось кормить, как ребёнка, с ложечки и поить из кружки для минеральной воды. Но струйка сладкого чая всё равно стекала по подбородку, оставляя липкое пятно на рубашке. Он вытер полотенцем ещё не старческий подбородок одутловатого женского лица, похожего на пожелтевшую от времени бумагу, лица, временами принимавшего малоосмысленное выражение, и с раздражением подумал, что его девушкам давно пора быть дома.

Тут же позвонила Сара и сказала, что останется ночевать у подруги. Он обрадовался тому, что тишина продолжится, никто её не спугнёт, и – тому, что не надо будет выходить в сырую ночь, чтобы встречать загулявшую девушку.

Потом набрал мобильный Доры. Дора весело прощепетала, что ещё не вечер... Спустя два часа, чувствуя нарастающее беспокойство, он позвонил снова. Всё-таки его подруга (у него никак не поворачивался язык даже мысленно называть её женой, почему-то всё в нём протестовало против этого) оставалась человеком с ослабленным зрением, и кто знает, в какую ситуацию она могла бы попасть... Трубку не взяли. Чувствуя нарастающее беспокойство, он звонил каждые десять минут, но теперь равнодушный женский голос ему объяснял, что абонент временно не доступен.

Он обзвонил дежурные больницы, ничуть не успокоившись тем, что женщин, похожих на его Дору, туда не поступало.

Нервно меряя комнату неровными шагами, он прислушивался: не хлопнет ли в подъезде входная дверь, но слышал только периодический клацающий железный лязг соседской двери, выпускающей очередного клиента.

Он несколько раз зачем-то подходил к окну и смотрел на пустынную проезжую часть, тёмный коридор которой прорезали редкие фары машин. И снова луна лила свой равнодушный безжизненный свет, похожий на скальпель хирурга, ампутирующего гангренозную конечность. Он поёжился от этого безжизненного света, бьющего ему в лицо своей определённой, и подумал, что у оперируемых людей не остаётся выбора: либо сгнить целиком, либо жить усечённым, неполной жизнью, но жить...

В половине шестого утра, когда луна начала бледнеть, а чернильная темнота выцветать, будто залитая пергидролом, совершенно обессилев от ожидания неизбежного, он стал набирать номер милиции, но вдруг услышал неверный поворот ключа в замке... Ключ сначала повернули, закрыв замок ещё на один оборот ключа, и только потом открыли. На пороге стояла раздурманившаяся весёлая Дора, пропахшая чужим сигаретным дымом и вином: «Ты не спишь разве? А мы так чудно погуляли!»

Одиссей, не в силах совладать с захлестнувшей его, словно цунами, яростью, взял Дору за кружевной воротник, развернул, чувствуя, как нежный ажур затрещал под его

деревянными пальцами, будто случайно зацепившись за сук заросшего сада, и вытолкнул её в подъезд, выстрелив закрывшейся дверью и с силой забивая в косяк задвижку.

Ещё два часа он вынужден был слушать, как звонок кукует кукушкой, и терпеть крики тётки, похожие на мычание забиваемой коровы...

58

И всё же им надо завести ребёнка. А то в один прекрасный день Одиссей просто скажет, что им надо расстаться, что он устал и не хочет с ней больше жить. А куда она пойдёт? Уезжать обратно в Сибирь? И денег она никогда не заработает, даже если разменять их квартиру в Красноярске. Но сёстры и брат на это не пойдут, похоже... А маму куда? А тут всё есть. И квартира – такие хоромы, и дача, и машина, хоть и старенькая уже... С Одиссеем она чувствует себя всё равно защищённой. Он взрослый, надёжный. Как она одна будет маму перекладывать? А потом, может быть, они махнут с ним в Америку, домик там купят. Тётка Соня их уже приглашала в гости. Там ведь целая еврейская улица.

Он стал так раздражителен и молчит всё время... Говорят, что ей не надо рожать, но ведь можно и кесарево сделать. Но Одиссей на ней даже жениться не хочет. Как только она заговаривает об этом, он тут же уходит к своему компьютеру, вперяется в голубой экран, и его уже не дозовёшься. А когда она подходит к нему и кладёт руки на плечи, взбрыкивает, как конь, которому накинули уздечку, и огрызается: «Не мешай мне. Неужели не видишь, что я работаю!.. И деньги, между прочим, зарабатываю...» Подумаешь, тоже мне деньги... Смешно! Она знает, что он сидит за монитором просто потому, что ему там интереснее, чем с ней. А ей так хочется, чтобы её пожалели и приласкали!..

Она, конечно, совсем не готова к рождению маленького. Она так устала с мамой! Но... Все говорят, что она может потерять Севу. Одной молодостью не удержишь.

А Сева маленького совсем не хочет: говорит, что зарплата мизерная и он не может их всех содержать. Но она всё равно что-нибудь придумает. А то вдруг она ослепнет совсем, а тогда как она в старости будет? А без ребёнка он и не женится на ней никогда... Надо решаться. Мужчины потом смиряются. Сева не из тех мужчин, которые бросают своих детей. Он детей любит. Вон как Дашку свою обожает. Никто ему не нужен, когда та приезжает!

59

Наконец-то он один. Думал ли он раньше, что в его жизни наступит момент, когда он будет наслаждаться одиночеством? Целый месяц одиночества!

Одиссей ухватился за предложение вести летнюю практику в элитном детском лагере, как за протянутую ему соломинку, представив, что это бревно... Доре он объяснил, что практика – это неплохой приработок, но он лукавил. Она это понимала, но промолчала, боясь нарушить еле достигнутое шаткое равновесие своим упреком. Надо было балансировать дальше...

Целый месяц свободы! Целый месяц он мог никуда не бежать, лениться, смотреть немигающим взглядом на завораживающее пламя костра и зеркальную гладь озера, совсем не искажающую его покрывшееся золотистой пылью загара лицо, и думать про вечное...

Больше всего он любил ночное купание. Можно было заплывать на самую середину озера и, перевернувшись на спину, смотреть в бездонное небо, похожее на огромный старый дырявый зонтик, изъеденный кожеедом, на который он наткнулся в кладовке на даче. В августе звёзды иногда стремительно падают вниз и сгорают, не долетев до земли. Пока они летят, можно загадать желание, про себя зная, что оно не сбудется никогда... Вода была как парное молоко, хотя воздух ночью уже остывал так, что становился таким сырým, будто висел мокрой пылью мелкий осенний дождь. Хотелось натянуть на свитер ещё и

куртку, что он и делал. Но ночное купание – это было как какое-то очищение от всей налипшей суеты... Он плавал далеко и подолгу, разгребая упругую воду, будто ворох прошлогодних листьев... Он снова становился юн, полон сил и несбывающихся желаний. И снова луна лила будоражащий душу свет, оставляя на чёрном атласе озера светящуюся дорожку, по которой хотелось плыть, будто по серебряному лучу, ведущему в неизбежность. Он плыл и думал, что молодость миновала, что не стоит ничего больше уже в этой жизни ждать и надо быть благодарным тому, что имеешь. Тому, что живёшь, что видишь этот завораживающий холодный свет, по которому нельзя уплыть за край горизонта... Ну разве что махнуть на другую сторону озера...

На берегу чванливо квакали лягушки, но их он не слышал. Сейчас их голос был не в резонансе с его внутренней мелодией. Какие лягушки, когда птицы поют, несмотря на август, совсем не думая о долгом и трудном скором перелёте, из которого многим из них не суждено будет вернуться?

Иногда он просто сидел на трухлявом пне и вдыхал густой хвойный запах, успокаивающий и расслабляющий. Можно было закрыть глаза, уставшие от блестящей глади озера, и слушать, как шумят вековые сосны. Ему казалось иногда, что это тихий плеск прибоя. Но эту иллюзию разрушал мягкий стук сосновых шишек о мох. Сосны уходили так далеко вверх, что нельзя было не думать о вечном... Но и у сосен бывает свой век. Бродя по берегу, круто идущему в гору, с которой было легко сбегать, но устаёшь подниматься, он поразился, что этот крутой склон, несколько лет тому назад усеянный только разноцветными полевыми цветами, был густо заселён молодыми сосенками вперемежку с берёзами. Их никто не сажал, конечно. Просто жизнь и дикая природа брали своё. Легкокрылые семечки, подхваченные попутным ветром, перемещались в неизвестном им направлении, и некоторым из них посчастливилось не спилотировать на волнующуюся поверхность озера, а остаться и прорасти здесь. Он подумал, что, наверное, и от человека не всегда зависит место, где ему

предстоит катапультироваться... на всё воля случая... И надо быть благодарным всему.

Было же в его жизни сибирское лето, когда он шалел от мысли, что он может быть интересен молодой девице, чьи губы сладко пахли собранной земляникой... Случилось же в его жизни и лето, когда раз! – и туча, подхваченная ветром, спешащим с юга, надолго открыла солнце. Как затвор у фотоаппарата щёлкнул. Раз! – и возник в его жизни волшебный очаровывающий свет, щедро льющийся сквозь карликовые кроны сибирских сосен, таращащихся на него своими иголками...

И вот теперь снова этот диковинный свет, но Одиссей радуется тому, что он один, и никто не может нарушить его внутреннего отшельничества. Внешне он был с детьми и с коллегами, но купался в этом свете один, уходя в марафонские заплывы в своих не очень-то весёлых думах. Но надо быть благодарным и грустным мыслям. Тоска – это начало пути, пути от того, кем был, к себе новому...

Это лето было удивительно щедро на невесомых бабочек и стрекоз. Бабочки порхали прямо около лица, задевая его своими трепещущими крылышками в диковинных разводах, гладили его мохнатые брови, садились ему на плечи и грудь. За ними не надо было бегать с сачком и радоваться, что настиг и накрыл тяжёлой марлей самую красивую.

«Инфант, скачущий с сачком за многоцветными иллюзиями», – говорила когда-то его мама...

В это лето за бабочками он не бежал. Но нерадостные мысли рассеялись, как туман пополудни, и неизвестно откуда снова возникало ощущение какой-то эйфории от всего этого цветения, благоухания и щебетания...

«Ах, стрекоза, мне бы твои фасеточные стереоскопические глаза, глядящие с 360-градусным размахом! Я бы уж точно увидел свою судьбу. А ты «лето красное пропела...» Бог с тобой, пари над легковесными цветками, подставляя свои всегда распостёртые слюдяные крылышки под лучи палящего солнца! Пари, пусть солнечные лучи отражаются от крыльев, как от двойного окошка, заставляя прыгать на нежных лепестках цветов солнечные зайчики...»

Одиссей давно забыл, что у него бывает день рождения. Да и был он только в детстве. Тогда все дарили ему подарки. Мама с папой, бабушка с дедушкой, тётя Таня. Потом это всё ушло... Ушло гораздо раньше, чем ушли близкие. Он и не вспоминал о дне рождения никогда. Так, обычный день, после которого в анкетах пишется новая цифра... Правда, его поздравляли время от времени ученики. Цветы иногда дарили. Красные гвоздики, которые он жутко не любил. Напоминали они ему почему-то похороны... «Красная гвоздика, спутница тревог...»

А тут вдруг надумали привалить и поздравить его друзья, с которыми они не раз проводили летнюю школу для одарённых детей. Он недоумевал: почему решили так вдруг? Ведь никогда не приезжали. Неужели существует нечто, что можно выловить из его скупых деловых строк только по работе? Неужто что-то прорвалось? «Умереть на бегу? Бегай!» Но наш век давно стал веком отчуждения людей друг от друга. Хотя и появился этот суррогат общения через голубой экран монитора. Впрочем, говорят о себе здесь чаще даже больше, чем при общении «тет-а-тет»... «Тет-а-тет» – это всегда страх, что не выдержишь чужого взгляда и груза, который пытаются на тебя взвалить. А тут можно отключиться от Сети, всё взвесить, подумать, собраться с духом и ответить, задвинув свои эмоции подальше... Неужели мы ещё способны скучать по живым людям, мысли которых суждено прочитывать меж строк?

Приехала и Даша с мужем.

День рождения справляли дома. Дача была уже готова к зиме. И Доре совсем не хотелось расконсервировать её, чтобы затем снова убирать подальше от зимних непрошенных гостей посуду и бельё.

Пели под гитару и спорили на философские темы. Всё было хорошо. Одиссей снова был горд, что ему удалось оторвать такую молодую подругу, чуть старше своей дочери...

Дора, к счастью, почти не участвовала в их дискуссии. Но он испугался вот этого своего «к счастью». Неужели он стесняется её незрелых детских высказываний, которые легко соскальзывали с её языка, точно подтаявшие леденцы? В этих разговорах даже непосвящённому становится слышно, что летают они на разной высоте... И маршруты у них разные... Не по прихоти ли того взрывавшегося фейерверка оказались они в одном месте и времени пространства, из которого, возможно, уже не убежать? Поколение завоевателей... Мы такими не были... Пришла, толкнула его в грудь, будто в дверь, сбила с ног – он так и остался невыпрямленным... Ведь не был же он очарован, не был!

А сейчас она накладывает полные тарелки салата его друзьям, низко наклоняясь, так, что в глубоком вырезе видны два песчаных холмика. Он заметил, что его друг смущённо отвёл от них глаза, пускаясь в философские рассуждения...

«А давайте я вам станцую что-нибудь из норвежских танцев», – сказала Дора.

И через минуту уже другая женщина вошла в комнату, женщина, которая была не здесь и не с ними... Она поставила диск незнакомой музыки, странно сжимающей сердце тисками, и поплыла куда-то к горным вершинам, на которых блестят снега так, что приходится надевать чёрные очки, чтобы не ослепнуть...

И снова всё у них было замечательно. И Даша всех их фотографировала. Остановись, мгновенье! Оно и останавливалось, запечатлённое суровым объективом, чтобы потом возникнуть на страницах Сети на любопытство знакомых и будущих внуков.

«Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб друзей мы своих не теряли, постарайтесь себя не терять...» – это была песня его юности. «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя...»

Где вы, те глупые счастливые лица с широко распахнутыми глазами? А теперь его дочь фотографирует глаза, от которых щедро бегут лучики морщин, будто от пуле-

непробиваемого стекла после того, как его всё-таки пытались пробить навывлет...

Остаться на несколько дней у них дочь не захотела. Сказала, что чувствует себя здесь неуютно, точно при стихийном бедствии.

Он проводил её со всеми друзьями на поезд, посадил в вагон, и ощутил такую неприкаемую пустоту в сердце, какую надо было срочно заглатывать валидолом.

И снова было беспристрастное, холодное, не прикрытое и флёром облаков, полнолуние. Рельсы серебрились, будто лунная дорожка в ночи, ведущая куда-то за краешек земли по морскому заливу. И снова поезд плыл мимо, всё набирая скорость, унося любимых и близких, встреча с которыми обещана в скором будущем лишь в Гольфстриме Интернета.

Его возраст на страницах Сети теперь стал на один год больше.

61

Когда-то давно, в его юности и на заре компьютеризации, он один из первых пришёл в этот компьютерный мир, что звали тогда «информационные технологии...» Пришёл – и остался тут жить... Его отец относился к его интересу снисходительно, а у мамы почему-то это вызывало необъяснимое раздражение. Она не могла понять, почему её сын, сидевший дома, находится где-то не с ними. Её маленький Сева медленно уплывал от неё в неизвестном направлении, гонимый непонятно откуда взявшимися ветрами. Нет, это была не женщина, что было бы вполне в соответствии с его возрастом и что вполне укладывалось бы в доводы холодного рассудка: все сыновья рано или поздно уходят к другой женщине. Её сын смотрел прозрачным невидящим взглядом мимо неё на голубой экран монитора, похожий на безмятежный океан, и сосредоточенно что-то писал про всякие «скетчи» и «фитинги». Она бесшумно подходила к нему, пытаясь понять, что же гонит его по этим волнам и по-

чему скупое общение с другом, находящимся далёко за океаном, оказывается ему интересней звонка бывшей сокурсницы.

Потом появились школьники, с которыми он, словно ему двенадцать лет, начал играть во всякие игрушки...

Иногда мама думала о том, что не любовь погнала его из родного города, а возможность реализоваться в новом ещё мало кем познанном и непонятном деле. Мать его жены потом жаловалась ей, что Сева ночами сидит и что-то пишет, уплывая и барахтаясь в гигантских Сетях, пытаясь связать паутину в надёжные нити облаков... Это потом она уже гордилась им, когда он начал получать гранты от зарубежных коллег. Но и тогда она не стала понимать его. Он уплыл, уплыл окончательно. И, возможно, поэтому, а совсем не потому, что не хотела разрушить его семью, не звала она его вернуться домой даже тогда, когда осталась одна и уже знала наверняка, что и ей остаётся недолго.

И женился-то он как-то скоропалительно и ненадёжно... Просто потому, что вдруг оглянулся и увидел, что его друзья катают уже детей в колясочках... А тут эта провинциальная учителька со столичными замашками и подвернулась. Она всегда не любила свою сноху. Она всегда казалась ей глуповатой и амбициозной, способной позаботиться лишь об освещении своей сцены. Тут уж она была мастер-осветитель!.. Весь спектр разноцветной подсветки пускался в ход, лишь бы не слиться с окружающим миром.

Она и учительницей-то стала, вероятно, потому, что дара для настоящих подмостков не было, а в школе была тоже сцена, освещённая десятками прожекторов детских глаз.

Но Севу вот не удержала, не сумела. Или не захотела? Неправда, что это мать его, тающая день ото дня, позвала его к себе, просто от света яркого он устал. От мигания новогодних лампочек всегда устаёшь. Этого мигания мы все ждём, словно чуда, и даже когда ёлка уже теряет свои иголки так, что гирлянда разноцветных огней начинает соскальзывать по оголившимся ла-

пам на пол, всё равно оттягиваем момент, когда придётся их убирать. Хотя от мелькания разноцветных сполохов света в глазах давно уже снуют чёрные и огненные мушки и хочется спокойного ровного домашнего света, что сочится из-под абажура, похожего на розовый гигантский мак.

62

По осени приходит тоска. Она подкрадывается тихо и закрывает твои глаза своими потными ладошками. Ты даже не пытаешься сопротивляться и ловить солнечный свет сквозь щёлочки между пальцев... Тоска о том, что молодость миновала, а жизнь всё убыстряет и убыстряет ход. И ждать от неё подарков – непозволительная наивность. Но Светлана вдруг снова начала ждать невозможного. Так бывает. Несбывшееся начинает преследовать по ночам, заставляет тебя днём сверлить взглядом стену и не слышать собеседника, смотрящего тебе в глаза.

– Ау, ты где?

– Я не здесь... Я – снова в облаках, хотя они летят так низко над землёй, что можно забраться на крышу – и достать их рукой... В жизни снова нет теней, но цвет не исчез: он просто не такой яркий, как в юности и мае... Он более спокойный и уверенный в себе...

Тоска – это ведь тоже цвет и вкус. Вкус жизни, начало дороги... Это – когда хочется всё переиначить... «Ты не плачь, не плачь, не плачь, куплю солнечный калач...» – когда-то говорила бабушка... Светлана всегда думала: «А почему солнечный?» А теперь поняла: это когда в жизнь начинают впускать свет.

<http://odissey.livejournal.com/>

5 сентября 2009

Боль! Боль телесная, боль душевная, боль разлуки и расставания, боль поражения и боль от любви! Боль забытая и воскресшая... Где она начинается и где заканчивается? Умение читать жизнь, вот что

избавляет от боли! **В жизни ничего не делается просто так**, все жизненные ситуации направляют Вас туда, где Вы должны быть, а боль... боль – это то, куда ненужно больше идти, если она Вам не нравится! Или же боль – это то, через что Вы должны пройти, дабы оказаться на том самом, Вашем пути?

Встреча с любимым человеком особенна! Суммируя все встречи, долгие или мимолётные, произнесённые фразы, совершённые поступки, понимаешь, что всё делается почему-то! И сама суть слов: **«Что ни делается, то к лучшему!»**, – настолько правильна, что можно **проверить!** Боль подталкивает человека к правильным поступкам, если человек живёт по общим моральным, человеческим, принципам! **«Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они с тобой поступали!»** Сильный человек никогда не сделает больно другому, потому, что это больно! Он знает, насколько это плохо, и как тяжело тем, у кого есть эта боль! **Только сильный духом человек умеет и может прощать боль, потому как ненавидеть легко, а простить действительно трудно!** Слабых людей нужно отпускать! Судьба сама столкнет их лбами! А через боль познаётся и ценится всё то, к чему мы стремимся! **Только пройдя через боль, мы понимаем, что было ради чего её терпеть!** Учитесь читать жизнь!

10 октября 2009

Без неё никак

ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека БЕСЦЕРЕМОННЫМ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека ЖЕСТОКИМ.

ПРАВДА без любви делает человека КРИТИКАНОМ.

ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека ДВУЛИКИМ.

УМ без любви делает человека ХИТРЫМ.

ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека ЛИЦЕМЕРНЫМ.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ без любви делает человека НЕУСТУПЧИВЫМ.

ВЛАСТЬ без любви делает человека НАСИЛЬНИКОМ.

ЧЕСТЬ без любви делает человека ВЫСОКОМЕРНЫМ.

БОГАТСТВО без любви делает человека ЖАДНЫМ.

ВЕРА без любви делает человека ФАНАТИКОМ.

ЖИЗНЬ без любви – СУЩЕСТВОВАНИЕ...

Любила ли Светлана мужа? Наверное... Они жили долго и дожили до любви, которой было суждено распуститься полным цветом, когда одного внезапно не стало... Распуститься и остаться стоять в вазе на столе засушенным букетом, изменившим свой цвет и утратившим аромат...

Она вышла замуж за коллегу – и не потому, что была влюблена, а просто ей было уже двадцать семь, захотелось вырваться от родителей и иметь свою, отдельную жизнь. Большинство подруг давно нянчили детей.

С детьми не получилось... Но в её жизнь пришло новое ощущение, что она – не одна, что у неё есть половинка, с которой они хоть и не целое, но люди-то воспринимают их как целое... Потом всегда есть родная душа рядом, на которую можно во многом положиться и которая может тебя услышать, даже рассеянно глядя на белый пух облаков, проносящийся над головой...

И вдруг в один день старательно выстроенный домик рассыпался, как от налетевшего смерча... То, что давно перестали ценить и замечать, что казалось уже безвкусным, как вода, внезапно исчезнув из жизни, начало вырастать до небоскрёбов, заслоняющих от себя всё. Оказалось, что без воды человек просто погибает.

Она не погибла. Она нашла, чем жить. И даже, пожалуй, у неё не было времени, чтобы отдаваться воспоминаниям, которые предательски обступали её по ночам, сжимая кольцо всё теснее и теснее, так, что из него уже хотелось вырваться: такой сплошной стеной высился лес из воспоминаний, взявшихся за руки и водивших около неё хоровод. Иногда ей казалось, что воспоминания расцепляют руки и отбегают на безопасное расстояние, но потом они снова судорожно хватались за руки, будто боялись потеряться в этом мире, и всё плотнее сжимали кольцо вокруг неё. Заглядывали в глаза, пытаясь дотянуться вспотевшими руками до донышка её души, и жарко дышали в лицо...

Иногда она думала, что ей повезло. У них с мужем не было долгого мучительного прощания, когда один уже там, а другой здесь, когда понимаешь, что любимый че-

ловец медленно тебя покидает, и нет никакой надежды что-либо изменить или хотя бы поправить... Повезло, что не было того физического состояния чудовищной усталости, когда становится почти всё равно и даже начинаешь думать, что скорей бы всё кончилось... Просто жизнь взяла – и переломилась на две части, что уже никогда не склеить: одна была та, что – до того, другая – после. И в этой жизни «после» она жила, а не существовала... Хуже всего было то, что тоска всегда подкрадывалась внезапно и неминуемо. Спрятаться от неё было нельзя... И тогда сердце начинало покалывать так же, как затёкшая под головой на подушке во время сна рука, когда её вытащили из-под головы. Она пыталась протолкнуть воздушную пробку, запершую крик в её горле – и не могла...

Кому: *odissey@mail.ru*

Как Ваше состояние усталости и загнанности? Отошли немного? Или отпуск только сгустил печаль? В повседневной суете на печаль не всегда остаётся время, поэтому мы пытаемся её запрячь подальше не только от чужих глаз, но и от себя тоже, а в отпуске выпускаем её расцветать пышным цветом...

У меня вот это чувство сладкой грусти – неизменное в каждое лето, когда живёшь на даче, где прошли твои детство и юность, где жили твои близкие, которых уже нет... Хорошо знаешь, что это ощущение неминуемо, даже, если не будет холодов и затяжных дождей, а будет светить солнце и можно будет плавать в день по несколько километров...

Когда плывёшь долго и никуда не торопясь, куда-то уходит вся суета и медленно всплывают, как придонные рыбы, всякие мысли, печальные и не очень, о том, что это не время проходит – это проходим мы... Знаешь, что это состояние неизбежно, а всё равно стремишься сюда, оставляя дальние страны и эйфорию на потом...

Начинают выныривать из памяти лица, мимо которых прошёл, не оглянувшись, но которые почему-то зацепились в памяти и, оказалось, бережно хранимы от забвения. Вот Ваше опять вынырнуло. И я подумала: а что мне мешает черкнуть несколько строк? Жизнь человеческая не так уж длинна, чтобы всегда глу-

шить, как рыбу, подобные желания, рыба-то, бывает, иногда очучивается и не всегда всплывает кверху брюхом. И я, возможно, не самый тривиальный собеседник в виртуальной реальности, к тому же, существующий в «реале».

А Вы, кажется, чуть-чуть испугались самого себя, каким оказались немногим меньше года назад, и своего настроения – и удалились от всяких «философских контактов»? «У меня всё нормально» – к маске привыкаешь, с нею срастаешься... А мне показалось, что это не так... И почему-то захотелось послать сигнал то ли маяка, то ли встречного теплохода в нерассеивающемся тумане... Ау... Вас слышат! Ваш внутренний мир интересен, и всё совсем не так, как иногда начинает казаться...

Только не говорите, что Вы в отпуске не наслаждались, как ключевой водой, одиночеством, ощущая вкус родника; не плавали, растворяясь в тишине озёр, как я; не смотрели в колокол неба, набитый звёздами, думая о скоротечности жизни; не слушали ночного пения птиц и стрекота кузнечика, не вздрагивали от стука яблок, шишек, которые сбрасывают вековые сосны, продолжая зеленеть, когда другие теряют даже листья, становясь прозрачными...

Увы, всё кончается когда-то...

63

Вчера она сообщила Севе, что у них будет ребёнок. Дора почти три месяца молчала, боялась, что он будет против этого ребёнка... А теперь уже рука не поднимется у него что-то менять. Он воспринял её сообщение очень странно. Промолчал и ушёл в свою комнату. Но не сел за свой экран, а лёг на диван и стал смотреть в потолок. Лежал так часа два. Она обиделась и даже не хотела к нему заходить... Весь вечер не разговаривал почти...

Потом она пришла к нему, когда он сел уже за свой компьютер, и села к нему на колени.

– У нас будет очень талантливый мальчик, как ты... – сказала Дора. – И игрушки свои ты будешь придумывать не для чужих детей, а для своего...

– Да, да... Конечно, у нас будет очень талантливый мальчик, – и погладил её по волосам, зарылся в её нерасчёсываемую копну, похожую на чёрного барашка...

– Нам надо будет расписаться, ребёнок должен знать, что он родился в законном счастливом браке и был желанен.

Но Сева снова молчал и ничего ей не сказал...

– И с Сарой нам будет веселее растить детей.

Он только опять погладил её по голове и вновь устался в свои сетевые проекты...

Потом она прочла среди его деловых переговоров с коллегами фразу: «Что-то мне опять грустно... Может, мне микроэлементов не хватает?»

64

У Доры началась почти новая жизнь. Теперь она должна была думать о её маленьком. Она заставила Одиссея сменить раритетную колонку; журчащий унитаз с ржавым бачком поменять на компакт, сделанный под «чёрный мрамор»; выкинуть жёлтую раковину с отбитой эмалью, будто усыпанную чёрными оспинами; отремонтировать кухню, ванную и туалет; купить новый диван, покрытый синим велюром с многочисленными сиреневыми подушками и пуфиками, и такие же кресла с огромными бархатными подлокотниками... Он пытался ей возражать, что родительские сбережения не бездонны и деньги им ещё понадобятся, но Дора настояла на своём. На все её разговоры о регистрации их отношений он по-прежнему реагировал молчанием каменного утёса.

Она выклянула у него поездку на неделю в Египет, плача, что она так устала с мамой, Сарой и с ним, и вообще теперь у неё возможность съездить куда-нибудь – неизвестно когда ещё появится...

Это было так здорово перенестись из дождливой холодной осени, когда деревья уже потеряли почти все листья и стали совсем прозрачными, в страну вечного

тепла и южных ветров, где море было горячим, как воздух или ненадолго позабытый чай... Воздух по ночам уже остывал, темнело рано и беспросветно, но море было как в ванной дома... Она никогда так долго не плавала... Плавать в этой воде было легко. Будто десятки нежных мужских рук выталкивали её на поверхность и качали над землёй. Ей снова было спокойно, и она знала, что Одиссей уже никуда от неё не денется. У неё всё получилось, как она придумала. И дальше всё получится. Единственно, что могло омрачить её поездку, так это постоянно подступающая дурнота и набегающие мушки, которые прыгивали с изумрудной ряби и начинали мельтешить яркими светлячками у неё в глазах. Мир тихо качался в такт набегающим волнам, верх уплывал вниз, а низ вверх, и она думала: «Как это маленьким детям может нравиться убаюкивание в коляске?» Она лежала на спине, всем телом ловя солнечные лучи и впитывая южный аромат чужого ветра, и думала, что жизнь так прекрасна! И ей повезло очень, что её занесло в ту блаженную весну в чужой город, становящийся родным... Но хорошо, вообще-то, было бы как-то внушить Севе, что за океаном им будет гораздо лучше... Купят маленький домик, ребёнок будет гулять на постриженной лужайке, Одиссей будет профессором тамошнего университета, а она женой господина профессора...

Ребёнок пока был тих и незаметен, и никто о нём не догадывался, но ей уже хотелось растрезвонить о нём всему миру. Она стала ступать осторожно и вперевалку, точно уточка, забросила каблуки, хотя нужды в том ещё пока не было...

Раз в неделю они ходили с Одиссеем теперь в бассейн, где она подолгу плавала, подумывая о том, не рожать ли ей в воду. Бассейн, хотя и пропах хлоркой, был наполнен такой прозрачной бирюзовой водой, через которую просвечивала белая кафельная плитка дна, напоминающая операционную. Бассейн как рукой снимал усталость и душевную, и даже физическую: мгновенно проходили отёки на ногах, и ноги переставали ныть и болеть. Хотя домой

она возвращалась в изнеможении, но душа её парила по зеркальной глади, которую Одиссею так нравилось взрывать беззаботными брызгами. Когда родится малыш, она обязательно будет его с первых дней купать в большой ванне...

Одиссей стал снова внимателен, заботлив, нежен и даже купил несколько забавных детских игрушек, хотя покупать такие вещи раньше времени, говорят, дурная примета. Но ведь он никогда не верил ни в какие приметы...

65

Ну вот, его жизнь приобретает очерченность и определённую, никаких смутных женских силуэтов, померещившихся за занавеской; размытых летними дождями акварелей, по которым так интересно прочитывать: а что там было нарисовано и что предназначено? Ты же знал, что молодая твоя подруга рано или поздно захочет иметь детей. Что же ты теперь растерян и зачем вспоминаешь свой первый брак, когда с рождением Даши их жизнь, хоть и стала осмысленней, но начала раскачиваться, как плот, брошенный в море? Вроде бы надёжно держишься на плаву – да вот стоять как-то не очень ловко. Всё время норovit шатнуть тебя в сторону... Сыро и неуютно, особенно если солнце за облаками. Того и гляди, смочит что-то для тебя важное равнодушно набегающей волной... А волна-то может быть совсем не от встречного ветра, от какой-нибудь шальной моторки, с ухарским рёвом проносющейся мимо.

Как так получилось, что, казалось бы, мимолётное его увлечение становится судьбой? Он всего лишь хотел посмотреть Сибирь. И было ему грустно и одиноко. Казалось, что жизнь прожита и ничего хорошего в ней уже не будет. Кому нужен сухорукий, стареющий, мало зарабатывающий мальчик, придумывающий компьютерные игрушки? Смешно. Оказалось, что нужен... Ему необходима была женщина, и он её нашёл. Что же грустно-то как? Молодость повторяется. Его ровесни-

ки становятся дедушками, а он снова отцом. Надо же радоваться. Не такое у него уж безвыходное материальное положение. Ну, отдохнуть не будет ездить. Но за гранкомандировки-то останутся... Нет, не от этого он грустит. Просто ему опять казалось, что это не навсегда... Но дети-то не навсегда не бывают... Дора повзрослеет, должна повзрослеть, а он будет стареть. Радоваться же надо, что рядом будет молодая женщина, почти как дочь... А он грустит, думая о том, что он опять летает не на той высоте и не по тому маршруту... И вынужден снова разговаривать на чужом языке, даже не пытаюсь объяснить что-либо, зная, что всё равно его не поймут и не услышат... Она же любит тебя! Чего стоят только одни её влажные глаза, смотрящие на тебя взглядом преданной собаки! Такого в твоей жизни ещё не было. Она же была в тебя влюблена и, как щенок, повизгивая и виляя хвостиком, бежала тебе навстречу. В твоей жизни такого ещё не было. Ты не много мог дать материально, когда был молодым отцом и мужем, но ты был исполнительным маленьким безголосым домашним рабом и заботливым отцом, готовым разделить даже все скучные хлопоты. Никто никогда там не думал о том, есть ли обед в холодильнике, или о том, что твой свитер усыпан мелкими шариками свалявшейся шерсти, а локоть уже стыдливо просвечивает через его истончившуюся вязку... А Дора, хоть и не всегда тоже готовит обед, но грустит и печалится, когда ты срываешься в свои командировки и путешествия, оставляя её одну... Она ждёт твоих звонков и писем по электронке, покупает к твоему приезду что-нибудь вкусненькое, бросается тебе на шею и ластится, точно мартовская кошка... Это ведь всё было и до её несчастий... Только теперь к её любви прибавился ещё и страх, что рано или поздно ты всё равно не выдержишь... Не этот ли страх – причина её патологических вспышек ревности, причин и оснований для которых нет пока никаких? Странно лишь то, что тех, от которых на самом деле исходит потенциальная опасность прописаться в твоём сердце, Дора в упор не видит? А к его студенткам ревнует... Злится даже, когда

он с ними шутит... Бесится, когда он на летнюю практику уезжает... Смешно... А может, и не смешно вовсе? Сама-то она была такой же не очень далёкой студенткой-пышечкой, надевающей на экзамены джинсы до пупа, оголяющие её нежный живот... Безвкусно, но взгляд притягивает, как магнитом. Вот и он с его умом попался, как одинокий волк, в капкан, замороженный заячьим петлянием меж кустов... Его же никто так никогда не любил! Его любили студенты, он нравился женщинам, но чтобы вот так непосредственно кричать о своей любви к нему, как это делала Дора? Нет, никогда... И закружила она его именно этим своим восторгом... Да, конечно, ему было очень одиноко после смерти мамы, и у него не было женщины... Если в сердце вакуум, то в него может втянуть любого, кто попадается по дороге...

А теперь у тебя будет ещё и сын. Он будет обязательно умным, вы будете вместе придумывать развивающие компьютерные игры, играть в шахматы и бегать по пустынным вечерним улицам, тренируя мускулы и сердце. Скоро он будет обнимать тебя нежными игрушечными ручонками и, как тайфун, опрокидывать всё в твоём и без того опрокинутом доме... Куда хуже, когда человек не имеет будущего... А у него будущее уже есть.

66

Живот рос, а настроение почему-то было совсем не очень. Ходить по кино и кафе ей было всё тяжелее, о ребёнке не думать уже было нельзя, сестра же умудрялась где-то до сих пор пропадать по вечерам. Мама спала и ела, ела и спала, и это становилось уже привычным и почти не мешающим ходом жизни.

Одиссей по-прежнему либо бегал где-то – неизвестно где, либо сидел и писал свои программы. К нему было лучше не подходить в такое время. Дора скучала, ей казалось, что она всеми забыта и стала никому не интересна. Она

начала разыскивать своих одноклассников и знакомых, перебрасывалась с ними, как мячом, сообщениями, и в этом тоже было нечто, вносящее в её жизнь какое-то разнообразие. Ей нравилось «хулиганить»: загрузить свою детскую фотографию или мордашку сестры и написать какому-нибудь старому приятелю. Ещё она очень любила вывешивать на стенах своих веб-страниц матерные стишки на английском языке, трясясь от смеха и предвкушая, как её друзья будут всё это со словарями и «переводчиками» переводить... Сообщить нечто вроде того, что она хочет в туалет...

Она почти перестала готовить и стирать, ссылаясь на то, что её тошнит. Да Одиссей и не требовал от неё ничего. И Одиссей опять, как было в первом его браке, нацепив на себя фартук из болоньи, по которому сквозь синеву скользили оранжевые и жёлтые кленовые листья, готовил что-нибудь вкусненькое... Пёк блинчики или зажаривал в духовке курочку, нацепленную на бутылку с водой. И с предупредительной улыбкой официанта разносил всё это домашним по комнатам, думая о том, что хорошо бы смыться в какую-нибудь командировку.

Дора стала раньше ложиться спать, погружаясь в тягучий, засасывающий, как патока, сон, в недоумении просыпаясь, когда Одиссей приходил, или пугаясь того, что опоздала на работу. Но за окном была чернильная темь, прорезанная разноцветными театральными вывесками на домах, похожими на ёлочные гирлянды в новогоднюю ночь, да одинокими прожекторами от фар запоздавших и заблудившихся машин. Ветки снова сбросили листья и отражались на стене, напоминая исчёрканный в гневе чёрным фломастером листок пожелтевшей бумаги.

67

Вот он и снова удрал. Они гуляли с Дашей по Москве. На набережной под старинными фонарями, похожими на керосиновые лампадки, стояли деревья, будто сделанные из серебряной проволоки и хрусталя. Обледеневшие их

ветки, убегая от лёгкого ветра, нежно касались друг друга и, казалось, мелодично звенели, напоминая звон бокалов в новогоднюю ночь и о том, что скоро зима... что лучше зима сразу, чем вот так оттаивать в одночасье и леденеть на ночном ветру... И ребёнок был послан им, может быть, для того, чтобы не леденеть, отвернувшись к теням на стене или голубому монитору? Или всё равно процесс охлаждения необратим? И они только отсрочат агонию? Луна опять была полной и тоже, как спящее серебряное блюдо, разливающей холодный и безжизненный, точно инструменты хирурга, свет...

Но рядом была дочь, которая, казалось, не замечала его отрешённости и беззаботно щебетала, точно воробей, которому вольготно тогда, когда певчие птицы отбывают на юг... Под ногами был настоящий каток, блестящий, как спокойное озеро. Ноги разъезжались, он зацепился за Дашу, и их несло потоком толпы, устремлённой к входу в метро... Дочь захлёб рассказывала о своей учёбе. И он подумал, что это подарок, если твой ребёнок счастлив в самореализации. Как так срослось, что его дочь увлеклась вдруг делом, совсем чужим для них с женой, и теперь живёт им, и он думает, что долго будет ещё им жить, даже тогда, когда всё другое может потерять? А ведь он никак не пытался возвращать этот интерес дочери к творчеству. И её мать не пыталась. Откуда он взялся, этот интерес, который забрезжив призрачным силуэтом в молоке тумана, погнался ребёнка завоевывать Москву? Хорошо, что жена не пыталась подрезать ей крылья...

Он случайно поднял голову на крыши близлежащих домов – и ужаснулся. Они были удлинены почти на метр огромными ледяными козырьками, с которых кое-где росли вниз гигантские сосульки. Одна из них росла как-то странно, она будто стучалась в низлежащее окно, горевшее цветом спелого абрикоса. Он подумал, что вот так людей на последней стадии оледенения бросает ветром к теплу и свету...

С крыши дома, что был впереди, с металлическим грохотом полетел гигантский кусок льда, разорвавшийся на асфальте, словно бомба, отправляющая свои осколки на

все четыре стороны... Он резко потянул дочь к проезжей части.

Даша замолчала, словно внезапно отключили звук у телевизора, резко вырвалась вперёд, развернулась на 180 градусов и взяла отца за плечи, заглядывая ему в глаза: «Теперь ты меня забудешь? Будешь приезжать редко-редко, и всё будешь делать для своей новой семьи? В твоём сердце – уже не я... Я никогда так не была расстроена с того самого времени, как ты уехал от нас... Но там ты всё равно был со мной, а сейчас нет... Я говорю, а ты не слушаешь, думаешь о своём... И Дора твоя мне никогда не нравилась, я её терпела, она глупа для тебя, даже я уже умнее её. И как ты мог очароваться голыми коленками и майками на бретельках, под которыми ничего? А ещё в школе преподавал. И студентам лекции читаешь. Бедный, бедный папа, совсем поглупевший на старости лет...»

На него смотрело его молодое чужое лицо... Голос звенел, как обледеневшие деревья, а губы были точно обсыпаны инеем...

«Да не переживай ты так! Всё будет замечательно», – Одиссей притянул к себе Дашу, но та вдруг поперхнулась и, глотая слёзы, резко отстранилась от него. Дальше они пошли к метро, разделённые невидимой стеной метровой толщины.

68

И чего она вдруг разрыдалась? Ей так захотелось побыть маленькой девочкой, у которой есть мама и папа, любящие друг друга... Когда родители ругались, Даша так переживала раньше. Стояла за дверью, прислушиваясь к их ругани, и тихо плакала, страшно боясь, что её услышат... А услышали бы её поскуливающий голос, так, быть может, и прекратили бы ругаться. Нет, она тихо стояла за дверью или за шкафом, вдыхая лаковый запах и вся сжимаясь в комок от мысли, что её родители разъедутся, стояла, затаившись и стремительно уменьшаясь в размерах, как медуза, выброшенная на берег штормовой водой...

Кричала обычно мама. Кричала громко, обзываясь всякими обидными словами. Сначала это были просто упреки, а затем всё по нарастающей, всё громче и обиднее... Самое ужасное, что она говорила отцу то, что про него никто никогда не мог вообще даже подумать... Даша понимала, что мама такое и не думает, она просто завелась и не может остановиться, как паровозик на игрушечной железной дороге. Пока не проедет весь путь, положенный ему туго закрученной пружиной от поворота серебристого ключика, пока пружина не ослабнет, паровозик не сбавит скорость и не остановится. А потом всё – весь пар вышел. А отец вообще молчал, не реагировал никак. Ложился на кровать с тетрадкой и готовился к занятиям... или делал вид, что готовился.

Родители уже вслух обсуждали возможность развода, когда Даша заболела после гриппа... У неё очень долго держалась температура около 37° С, месяца три, наверное, а потом у неё оказался миокардит – и её положили в больницу. Когда врач, толстый добродушный доктор Айболит, сказал, что её кладут в больницу, Даше всё казалось, что она спит, проснётся – и здорова, бегаёт по двору «в догонялки» и прыгает через скакалку. Вот таким же сном казался Даше и родительский развод. Ущипни меня! Пусть больно, но я проснусь! Было больно, но сон не кончился почему-то... Папа собрал большой кожаный кофр и уехал... Хотя он потом за книжками всякими своими приезжал ещё пару раз... Когда папа уехал от них, мама стала совсем невыносима. Даша всей своей шкурой чувствовала летящие от неё искры, дом был как наэлектризованный; и Даша старалась стать маленькой и прозрачной. То, что раньше доставалось папе, теперь сполна получала она... Папа был громоотводом... Теперь молнии летели прямоком в Дашу, и Даша научилась тихо исчезать за входной дверью и бродить в тишине улицы... Иногда она думает, что отчасти эти молнии погнали её в столицу... Здесь в общаге она чувствовала себя более свободной, чем дома. Но почему-то до сих пор стоит в ушах этот мамин крик, приглушённый выстрелившей дверью: «Гадина!»

Одиссей куда-то пропал. Почему наша жизнь так устроена, что только начинаешь привыкать к человеку, готова его уже полюбить, а он исчезает, будто тень, когда заходит солнце? Нет, тень не исчезает совсем. Она просто тихонечко уходит и ложится около сердца. И на сердце не то, чтобы нелегко, а просто как-то беспросветно становится.

Светлана устало открывает <http://www.odnoklassniki.ru/> и смотрит на серые безжизненные фотографии. Нет, фотографии вроде бы цветные, совсем не как у Даши, но цвета в них нет всё равно... А у Даши в чёрно-белых был свет. Фотографий немного: четыре штуки всего. Сложены они в альбом с надписью «Наша свадьба. Счастливы вместе». На обложке альбома фотография Доры и Сары, в альбоме она последняя. Сара держит цветы. На первой фотографии альбома появляется Одиссей. Светлана видит серое, хмурое, землистое, цвета мешковины лицо Одиссея и ужасается, сколько у него уже оказывается морщин, а ведь он совсем не смеётся, а морщины бегут, пересекая друг друга, будто треснувшее стекло, в который нечаянно брошен детский мячик... Под глазами серые, отвислые мешки, и взгляд устремлён на стену с каким-то газетным объявлением аршинными буквами, но понятно, что он совсем не читает это объявление, а просто смотрит в никуда... Одиссей в джинсах, похожих на те, что она видела на нём на похоронах мужа, и в вельветовом чёрном пиджаке. Из-под лацканов пиджака выделяется стариковская белая рубашка в серо-чёрную мелкую клеточку, на которой блестящей змейёй улёгся чёрный галстук. Светлана вздрагивает, ужасаясь тому, какой Одиссей на фотографии: сутулый старик совсем... «Господи, неужели и я такая уже?» – думает Светлана. «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя...» Позади, метрах в трёх от Одиссея, Дора. Она счастливо покраснелась, но смотрит Одиссею почти в спину. На её лице Светлана впервые видит очки в массивной чёрной квадратной оправе, делающей её значительно старше, чем Светлана привыкла ли-

цезреть до сих пор. Дора – тоже в джинсах, но светло-голубых, белой мятой мужской рубашке, на которую намотана нитка крупных голубых бус, напомнивших почему-то Светлане цвет монитора, и в чёрном сарафане, мягко очерчивающим большой живот. Под фотографией подпись Сары: «Так и хочется сказать: Сева, не поздно ещё отказаться...» На другой фотографии Одиссей склонился над толстой амбарной книгой, а Дора ехидно на него смотрит. И к ней опять комментарий Сары: «Ты и тут на него давишь». На третьей фотографии дорога в гору, к дому, наверное... Дора идёт по белому снегу и победно улыбается, в руках у неё внушительный букет из белых цветов, напоминающих зелень, на которую преждевременно лёг и налип снег, склоняя зелёные листья к земле. В полуметре от неё понуро бредёт Одиссей. На белом рыхлом снегу отчётливо видна уже накатанная колея. Дора идёт по дорожке от одного колеса, Одиссей по дорожке от другого...

Светлана думает: «Вот и всё. Круг замкнулся. Всё закономерно. Ты же знала, что это скоро случится, и каждый день ждала появления этих фотографий. Так что же ты снова чувствуешь тошнотворную пустоту, как при спуске самолёта, попавшего в воздушную яму?»

И почему мы зачастую вынуждены проживать не свою, а чужую, не нам предназначенную жизнь? Отчего наша судьба – проживать чужую жизнь, и даже если очень хорошо понимаешь, что это – не твоя судьба, то бываешь не в состоянии вырваться из незатейливых сетей обстоятельств, что оказываются сплетёнными из невидимых нитей, разорвать которые становится невозможным? Они оплетают, опутывают тебя, как паутина бабочку, не заметившую невесомую сетку, налипающую осенней изморосью на твоё лицо, затуманивающую и заклеивающую твои воспалённые глаза, залепляющую твой пересыхающий рот, утяжеляющую и крепко связывающую шёлковые крылья, обдирая с них защитную пыльцу, без которой не взлететь».

Зачем случайные обстоятельства оказываются сильнее того, что, возможно, нам предназначено свыше? По-

чему мы оказываемся не в силах разорвать замкнутый хоровод дней, очерченный неверной рукой, похожий на серые доски в заборе? И даже натягиваем на этот забор в три ряда колючую проволоку и вешаем замок помассивнее на узенькую калитку, в которую можно протиснуться только поджарым боком. Не подходи: это моя крепость!.. Но так легко перемахнуть через колючую ограду – надо только кинуть на неё ватник да пару стареньких лоскутных одеял...

Почему Светлана утром в понедельник, в полусне, похожем на холодный утренний туман, после бессонной ночи, проведённой над школьной тетрадкой, заполненной корявым почерком строчками собственных стихов, снова вверчивается в толпу спешащих прохожих, боящихся опоздать? Всё равно ведь поезд уже давно стучит по рельсам, быстро отсчитывая колёсами минуты, и она болтается в тамбуре у окна, покачиваясь в такт неостановимому маятнику движения, наблюдая мелькания сменяющих друг друга картин, которые во многом напоминают друг друга... И зачем мы снова проживаем жизнь, которая оказывается нам тесна, сковывает наши движения, давит камнем на грудь, но мы опять боимся распахнуться и попасть в фокус косога взгляда? А может быть, это и не наша судьба?.. А свою судьбу мы опять проворонили... Унеслась, оставляя следы на песке, высыхающем на глазах, чтобы потом весело лететь подхваченной потоками окрепшего ветра. А может, она скрылась в ближайшем перелеске и скулит, как сказочное чудовище, боясь заглянуть нам в глаза и быть отвергнутой навсегда, и старательно ищет «аленький цветочек», чтобы хотя бы попытаться протянуть его нам? На возьми, не бойся...

* * *

*Как странно, что снова судьба
Придумала встречу под вечер,
Когда фейерверка пальба
Изысканней делает речи.*

*И надо всего ничего.
Сплошь тени цветные на лицах.
И хочется сразу всего,
Но вновь ничего не случится.
И колокол праздно гудит.
И свечи плывут вереницей.
От холода сильно знобит.
Под куполом неба – зарницы
Гуляют средь звёзд и тоски,
Иллюзию чуда рождая.
И розовой краски мазки
Румянят лицо, освежают.
Замёрзшие щёки горят.
Восторгом душа задохнулась,
И стразами блещет наряд,
И сказка из детства вернулась,
Где чудище
Алый цветок
Мне тянет в холодных ладонях.
И жарко горит лепесток.
И сердце – в любви словно тонет.*

70

Так случилось, что Одиссей вернулся с работы пораньше. Он снова уезжал в командировку. Пришёл с печальными думами, что лучше бы не возвращаться. А когда появляются такие думы, надо бежать... Он всё чаще ловил себя на тайной мысли, что хотел бы вернуться не домой, где прошло его детство и жили его родные, а в уютную квартиру женщины, с которой они когда-то давно, почти в юности, просто встречались глазами, пробегая по широким институтским коридорам, но почему-то никак не пересекались...

Зайдя на кухню, он увидел Сару. Сара сидела на полу, положив голову на табуретку. Глаза её были закрыты. Лицо напоминало серую запылённую штукатурку их старого подъезда. Губы сложились в два безжизненных обор-

выша серенькой бельевой верёвочки. Она почти не дышала. Одиссей нажал на синюю ниточку на её запястье, потрогал ледяной, словно кафельная стена, лоб – и вызвал «скорую».

Через пятнадцать минут пришла Дора, через полчаса приехала «скорая» и увезла Сару.

Потом Одиссей с Дорой сидели два часа в коридоре, ведущем в отделение реанимации. Дора казалась себе неживой. Одиссей крепко обнимал её за плечи и прижимал к себе, но Дора ничего не чувствовала. Она будто окаменела, а сердце как провалилось куда-то вниз, так больше и не поднималось. Одиссей так крепко и так надёжно её уже давно не обнимал, гладил её руку, пытаясь не её успокоить, а своё волнение унять... Ей уже давно казалось, что они живут, будто на расколотой льдине. Льдина треснула – и они оказались по разные стороны от пугающей чёрной ледяной бездны. Они видят ещё друг друга, даже могут дотянуться кончиками пальцев, но перепрыгнуть на соседний кусок льда? Нет, это чревато тем, что оба окажутся в ледяной воде, от которой заходится дыхание, сводит всё тело и останавливается сердце. Они хорошо видят, как медленно их относит друг от друга, но пытаются примириться с этим. Вот сейчас один из них попадёт в несущийся весенний поток... И всё... Скроется из глаз другого... исчезнет, растворится в океане забот, как и не было ничего... Как и не было сбившегося дыхания, которое одно на двоих; как и не было ослепляющего фейерверка огней, взрывающихся в груди сотнями маленьких петард, когда хочется весь мир обнять от захлестнувшего счастья... Как и не было чувства, что чудо возможно... Чудо невозможно... Чудо – это наша иллюзия, которой мы себя лечим, чтобы выжить... Как в детстве верят сказке с хорошим концом...

Они совсем потеряли уже время в ожидании страшно-го. Из-за белой двери вышел моложавый холёный врач и сказал, что родилась двойня: один ребёнок умер неделю тому назад и почти совсем отравил мать и брата.

– Мать пока очень слаба. Другой ребёнок жив, но у него нет одной ручки и отсутствуют некоторые рефлексy, ха-

рактерные для новорождённых, но это, возможно, потому, что он недоношен и отравлен трупным ядом. Его поместили в барокамеру и, даст бог, всё будет хорошо. Девочка Ваша, видимо, не хотела рождения этих детей и травила их таблетками.

Одиссей по-прежнему крепко держал Дору за плечи, когда они спускались по гранитным ступенькам больницы на воздух. Он уже давно так крепко её не держал. В последнее время Доре казалось, что её друг способен держать только связку разноцветных воздушных шариков и блаженно улыбаться про себя, думая, что она его улыбку уже всё равно не видит.

Предательская пелена начала наползать на её глаза, дробя и размывая яркий свет на множество хрустальных бусинок. Дора глотала слёзы. Вдруг бусинки стали резко увеличиваться, дрожать и лопаться, будто пузыри дождя на реке. Все очертания побежали, как мелкая рябь на воде. А потом – будто камень с души свалился и ухнул в воду вслед за пузырями дождя. И она – вслед за камнем. Всё. Опять под водой. Темнота. И только причудливые неральные очертания колышущихся водорослей и придонных рыб. Театр теней, где все тени размыты и смазаны. Остаётся только догадываться обо всём... А свет, он где-то далеко, на поверхности, через несколько метров толщи воды, бегущей куда-то в одном направлении к большому синему морю. И только она одна на дне воронки. Не выбраться. Барахтаешься что было сил – и только совсем без сил остаёшься, и медленно погружаешься всё ниже в эту беспросветную толщу воды, почти не пропускающую свет...

71

Неестественно огромная луна, гипнотизирующая, похожая на огромную летающую тарелку, висела, распространяя вокруг себя люминесцирующую ауру, рождающую невыносимую тревогу и бессонницу. Одиссей посмотрел на луну и внезапно увидел тёмные и неровные

пятна, будто это коррозия на начищенной латуни. До сих пор он, прожив почти полвека, наивно полагал, что тёмные пятна бывают только на солнце. Это была – азбука, букварь света и теней. Луна же, как казалось ему, всегда давала ровный и безжизненный свет, как у лазера хирурга. Вдруг луна резко начала бледнеть, но не очень сильно, аура становилась всё шире и шире, словно зрачок от света (только здесь всё было наоборот), но, достигнув определённого предела, замерла в оцепенении. Тёмные пятна были подвижны, и их несло куда-то ветром, будто лёгкую паутину, перемешанную с тополиным пухом. Он долго не мог понять физическую природу это явления. Да и нужно ли было её понимать?.. Не упрощаем ли мы жизнь, пытаюсь понять её законы? Так нам проще и спокойнее, когда всё объясняет наука, ведь чудес на свете не бывает, и ждать их неоткуда. По небу плыли лёгкие перистые облака, что бывают к ненастью. Плыли стремительно, чуть приглушая свечение луны, но увеличивая размеры светящегося люминесцентного круга до инопланетного явления. Теряя в одном, прибавляем в другом. Недавняя победа оборачивается поражением. Недостижение того, что ты когда-то хотел, оказывается лучшим подарком судьбы. И никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдёшь. Вечная игра света и тени.

Он глубоко глотнул сырого осеннего воздуха, в котором кристаллизуется изморось, оттаивающая в твоих лёгких, легко оттолкнулся от асфальта и побежал. Он бежал сквозь ночной город, залитый неоновыми и аргоновыми огнями разноцветных реклам, круглый год похожими на ёлочные гирлянды, бежал мимо чёрных, сливающихся с небом домов, напоминающих остатки подсвеченного римского Колизея, в котором бушевало пламя, но огня не было видно, о нём можно было только догадываться... Окна горели, как огненные заплатки. Жизнь была скрыта от посторонних глаз, это был не океан Интернета, это была холодная осенняя улица, на которой люди застёгивали свои куртки на молнии, а дома – на двойные замки и узорные решётки, оставляющие свои тени среди пляшущих языков пламени.

Он старался бежать так, чтобы облака сложились у него в постоянный узор и никуда не улетали. Но пятна на луне постоянно перемещались, меняя очертания и величину. Он бежал и думал, что молодость миновала и всё чаще этот его ритуальный бег кажется бегом белки в колесе на потеху наблюдающим.

72

Природа снова задумала шутить шутки. Глубокий рыхлый снег, нападавший за декабрь, как обрывки разорванных писем, дневников и рукописей, который скрыл все напрочь опавшие листья, вдруг весело начал смывать грозовой ливень, родившийся непонятно где и налетевший неясно откуда. Но молния была... Ослепительно-рыжая, раскалывающая небо на две части огненной трещиной, зарывающейся где-то поблизости в сугроб, от которой тот мгновенно таял, обнажая почерневшие и обугленные листья, так и не успевшие вспыхнуть ярким ровным пламенем, вызывающим весеннее половодье.

Перед самым Новым годом опять ударил 30-градусный мороз. Деревья застыли под сиреневым светом раскачивающегося от ветра фонаря и шевелили своими стеклянными ветками, на которых играли «лунные» зайчики, совсем не похожие на солнечные: они были ледяными, как свет ртутного светильника, и очень красивыми, напоминающими талантливую и чарующую игру камней горного хрусталя, грани его были ещё не отшлифованы рукой умельца.

Светлана в задумчивости подошла к окну, наполовину заросшему изнутри диковинными ледяными узорами зимнего леса, сквозь дебри которого можно было выглянуть в лиловую ночь, только если старательно оттаивать их своим учащённым дыханием, и потрогала тёплой ладонью сначала выпуклый рисунок шершавого занавеса на стекле, ощущая шёлковыми подушечками пальцев ледяное покалывание, незаметно заползавшее в часто бьющееся сердце, грозящееся остановиться от открывающейся из

окна красоты, а затем погладила тёплое сплетенье ветвей на стене, половина которого бесследно исчезла, стёрлась ледяной витражной коркой окна.

Она взяла свою выцветшую, измятую, с неровно загнутыми по углам, будто гусеница завернулась в зелёные листья, клетчатými страницами тетрадь – и качающимися, заваливающимися буквами, похожими на прохожих на обледеневшем после дождя тротуаре, написала:

* * *

*Жизнь вошла в колею.
И зима
Накатала лыжню среди ёлок.
И нисколько не надо ума,
Чтоб искать в сене блеск от иголок.
Что упало – пропало,
Не плачь! –
Не отыщешь в листве прошлогодней.
Жизнь – цепочка потерь и удач.
Ну и что, что потеря сегодня.
Ну и что, что следы замело,
Что ключи потерялись от дома.
Оглянись: посмотри, как бело –
Это в юности было знакомо.
Всё сначала.
С горы – под откос,
Чтоб потерянный дух захватило!
Лишь скуёт вдруг дыханье мороз,
Да слеза на глаза накатила.*

Потом она медленно подошла к компьютеру; глубоко утопила указательным пальцем серебристую кнопку, зажигая синий стеклянный глаз, похожий на огонёк газовой конфорки; прочитала приветствие; подождала, пока значки всех загружаемых программ выстроятся на экране монитора ровными подстриженными рядами на фоне пейзажа, где по серым камням лениво катался голубой океан, напоминая о раскалившейся гальке лета; подклю-

чила Интернет, набрала логин и пароль и стала медленно перечитывать историю «сообщений», пытаюсь разгадать то, что так и осталось неразгаданным и почему-то всё время не давало ей покоя.

<http://www.odnoklassniki.ru/>

Светлана: В Новый год тепло и зелено?

Одиссей: Да. Ну, относительно тепло. Но снега до Нового года не было, и трава лежала зелёной.



СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

Голубой океан

Тени на стене 7

Тени на занавесках 35

Голубой океан 127

Литературно-художественное издание

Галина Борисовна Таланова
(Галина Бочкова)

ГОЛУБОЙ ОКЕАН

Издательский проект *Валерия Сдобнякова*

Вёрстка *Виктора Антоновича*
Корректор *Владимир Важдаев*
Художник *Дмитрий Мезенцев*

Подписано к печати 5.07.2010. Формат 60*84^{1/16}.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Школьная. Уч.-изд.л. 10,5. Тираж 200.

Автономная некоммерческая организация
ЛХЖ «Вертикаль. XXI век».
603105 Н. Новгород, ул. Ванеева, 18

Отпечатано в типографии «Спектр-НН».
Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13